



**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ**

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет»

**«СТЕНЫ И МОСТЫ»–III
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИДЕИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ**

«Гаудеамус»
Москва, 2015

«Академический проект»
Москва, 2015

УДК 930
ББК 63
С79

Печатается по решению Ученого совета Российского государственного гуманитарного университета

Проведение конференции и издание сборника осуществляются при поддержке РФФИ, проект 14-06-00467

Техническое редактирование: К.В. Кирилова, Б.М. Мельниченко

С79 «Стены и мосты» – III: история возникновения и развития идеи междисциплинарности: материалы Международной научной конференции, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, 25–26 апреля 2014 г. / Г.Г. Ершова (отв. ред.), М.М. Кром, Б.Н. Миронов, И.М. Савельева, В.А. Шкуратов, Е.А. Долгова; Центр междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ. — М.: Академический проект; Гаудеамус, 2015. — 335 с.

ISBN 978-5-8291-1727-6 (Академический проект)

ISBN 978-5-98426-148-7 (Гаудеамус)

В сборник включены материалы III ежегодной Международной научной конференции «Стены и мосты»: история возникновения и развития идеи междисциплинарности, прошедшей в Российском государственном гуманитарном университете 25–26 апреля 2014 г. К участию в конференции были приглашены историки, социологи, политологи, психологи, лингвисты, обращающиеся в своих исследованиях к исторической проблематике.

УДК 930
ББК 63

ISBN 978-5-8291-1727-6
ISBN 978-5-98426-148-7

© Коллектив авторов, 2015
© Оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2015
© «Гаудеамус», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: постановка проблемы	9
Археография в междисциплинарном контексте. <i>Афиани Виталий Юрьевич</i>	10
Этническая семиотика: междисциплинарная проблема. <i>Ершова Галина Гавриловна, Шесеня Александр</i>	19
Междисциплинарность и кризис каузальности в современной исторической науке. <i>Кром Михаил Маркович</i>	41
Географический детерминизм: против и за. <i>Миронов Борис Николаевич</i>	54
За стенами академии: социальные ученые в медийной среде. <i>Савельева Ирина Максимовна</i>	69
Междисциплинарность в социокультурном контексте (проекты исторического синтеза и новой истории во Франции) <i>Шкуратов Владимир Александрович</i>	85
Теоретические основания междисциплинарных и полидисциплинарных исследований	103
Экономическая история: <i>ceteris paribus vs ad fontes</i> . <i>Володин Андрей Юрьевич</i>	104
Визуальная антропология vs визуальные исследования. <i>Гайдук Владислава Леонидовна</i>	115
Идеологема. Концепт? Понятие! (К вопросу о минимально значимой единице исследования в рамках историко- семантического анализа). <i>Калашников Михаил Васильевич</i>	124
Меметика как подход к изучению историографии и методологии истории. <i>Фокин Александр Александрович</i>	134
Коммуникативные науки как междисциплинарный вызов в социально-гуманитарном познании. <i>Клягин Сергей Вячеславович</i>	142
Союз по умолчанию: студии памяти в междисциплинарном пространстве. <i>Киридон Алла Николаевна</i>	149

О необходимости и возможности междисциплинарного исследования группового сознания российской интеллигенции. <i>Бакиштова Екатерина Валерьевна</i>	163
Репрезентация прошлого в популярной музыке: междисциплинарный подход popular music studies. <i>Колесник Александра Сергеевна</i>	172
Визуальная история России: теория и образовательная практика. <i>Братолобова Мария Викторовна</i>	181
Исторический опыт междисциплинарных и полидисциплинарных исследований	189
Историческая наука 1920—1940-х гг. в контексте советской семиосферы (опыт первичного анализа). <i>Тихонов Виталий Витальевич</i>	190
История одной защиты: профессорский диспут П.А. Сорокина в 1922 г. <i>Долгова Евгения Андреевна</i>	201
Питирим Сорокин о социокультурном подходе к пониманию истории: от кризиса к альтруизму. <i>Долгов Александр Юрьевич</i>	208
«Научно-популярная междисциплинарность» Анатолия Мариенгофа. <i>Сидорчук Илья Викторович</i>	216
Этноистория в США: от междисциплинарности к трансдисциплинарности. <i>Карачкова Елена Юрьевна</i>	224
Развитие идеи междисциплинарности в американской исторической науке во второй половине XX в. <i>Рагушштейн Ольга Викторовна</i>	234
Теория морских оснований Андской цивилизации в современной историографии. <i>Острирова Елена Сергеевна</i>	246
Практика междисциплинарных и полидисциплинарных исследований	257
Источниковедческое исследование произведений русской иконописи как междисциплинарная проблема. <i>Сукина Людмила Борисовна</i>	258

«Смеяться, право, не грешно...»: опыт историко-психологического анализа смеха (на примере Петра I).	
<i>Мухин Олег Николаевич</i>	268
Гражданин города N — мещанин Российской империи.	
<i>Серета Надежда Владимировна</i>	279
Актуальность изучения салонных практик российского дворянства XIX в. в контексте отечественной новой культурной истории.	
<i>Азерникова Ирина Павловна</i>	290
Конструирование городских достопримечательностей на рубеже XIX—XX вв.: на примере Парижа в русскоязычных путеводителях.	
<i>Захарова Евгения Андреевна</i>	298
История детства с точки зрения междисциплинарности: из практики исследования.	
<i>Лярский Александр Борисович</i>	307
Междисциплинарные исследования при изучении истории «провинциальной психологии» на примере Нижнего Новгорода.	
<i>Стоюхина Наталья Юрьевна</i>	316
«Пермь как стиль»: опыт междисциплинарного исследования одного регионального проекта.	
<i>Лысенко Олег Владиславович</i>	325
Сведения об авторах	334

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

АРХЕОГРАФИЯ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ

Афиани Виталий Юрьевич
Архив Российской академии наук,
г. Москва

***Аннотация:** Статья «Археография в междисциплинарном контексте» посвящена взаимодействию археографии с другими историко-филологическими дисциплинами, ее структуре, междисциплинарному характеру археографии, интегрирующей вопросы публикации исторических источников на разных физических носителях информации, а также введению в практику преподавания дисциплины курса «общей археографии».*

***Ключевые слова:** междисциплинарность, дисциплинарное поле, историко-филологические дисциплины, археография полевая, камеральная, эдиционная, текстология.*

В дискуссиях вокруг археографии и в советский, и в постсоветский периоды на такие проблемы, как статус археографии в ряду других научных дисциплин, взаимодействие между ней и другими дисциплинами, внешние и внутренние связи, обращалось сравнительно мало внимания¹. Участники дискуссий стремились точнее и четче очертить границы археографии, отгородиться, возвести стены между ней и другими дисциплинами. Это был тренд для определенного этапа развития всего дисциплинарного комплекса, общий тренд в науке, когда активно шли процессы преимущественно дифференциации и специализации в науке. Но уже в XX столетии стали все активнее наблюдаться и процессы интеграции наук, развитие междисциплинарных и мультидисциплинарных подходов. О значении происходящего «на стыке» и «на границах» наук для приращения нового знания уже немало написано, особенно в теоретическом плане. В частности, еще с 1960-х гг. начали говорить о позитивной роли исследований на «стыке» дисциплины (одним из первых был С.О. Шмидт). Но в целом процесс развития междисциплинарных явлений в гуманитарной области, в области историко-филологических наук, на мой взгляд, еще недостаточно осмыслен и конкретизирован.

В определениях археография в авторитетных энциклопедических и справочных изданиях называется исторической или историко-фило-

логической дисциплиной. В последнем случае мы сразу выходим на проблемы междисциплинарности. По-разному определяется и круг ее интересов.

Сам термин, как известно, был заимствован в России из французской научной литературы начала XIX в., но переосмыслен. В него был вложен иной смысл. В XX столетии, особенно во второй половине, развивалась и усложнялась структура археографии как научной дисциплины, ее внутренние связи, развивалась и саморефлексия, началось осмысление теоретических вопросов, предмета и объекта археографии. Историко-архивный институт сыграл выдающуюся роль в развитии археографии. Здесь в 1930-е гг. начали преподавать археографию, хотя и под другим названием, здесь в 1950-е гг. была создана специализированная кафедра, началось создание учебных пособий по истории и теории археографии, имевших обобщающий характер. В 1950-е гг. академиком М.Н. Тихомировым была воссоздана Археографическая комиссия. Дальнейшее развитие привело к расширению преподавания в других вузах, изучение археографии в научных центрах, теперь уже и других стран, таких как Украина и Белоруссия. Осмысление проблем археографии в XX столетии привело к формированию двух отличающихся представлений об археографии.

Одно из них формировалось преимущественно в архивной сфере, в том числе в МГИАИ, и исходя из задач государственных архивов, ограничивало задачи дисциплины публикацией исторических источников. Другое, развивавшееся преимущественно в академической среде, опиравшееся на отечественные традиции и практический опыт, считало сферой археографической деятельности является поиск, выявление и собирание документальных памятников в среде их бытования (археографические экспедиции), их научного описания и публикации.

В XX в. трансформации подверглись разные дисциплины историко-филологического цикла, подступавшие к тому же дисциплинарному полю, что и археография. У истории и филологии был общий «корень», «критика источника», «критика текста». Но в 1920-е гг. в противовес дореволюционной, буржуазной науке начала формироваться новая филологическая или историко-филологическая дисциплина, получавшая название «текстологии». Кстати сказать, термин «археография» в 1920–1930-е гг. также практически исчез из лексикона советских историков, вместе с Археографической комиссией и Историко-археографическим институтом, видимо, тоже как пережиток буржуазной науки. В послевоенный период и особенно 1950–1960-е гг. термин «археография» вновь

получил право на жизнь, а в филологии, особенно усилиями Д.С. Лихачева, закрепился термин «текстологии». Тем не менее в литературе не раз отмечалась близость этих двух научных дисциплин.

Осмысление взаимодействия между научными дисциплинами — одна из важных методологических проблем. Но понятийный аппарат для изучения этого взаимодействия, а тем более «измерения» разную степень, разные его уровни, еще, на мой взгляд, недостаточно разработан. Известный термин «смежные дисциплины» представляется слишком широким, не учитывающим разную степень тесноты связей между дисциплинами, различную силу их взаимодействия, влияния и взаимовлияния. Желательно конкретизировать, детализировать, выявлять формы и интенсивность такого взаимодействия.

Одним из первых профессором Историко-архивного института Г.И. Королевым было отмечено, что археография (как, впрочем, и другие дисциплины) является системой, обладающей определенной структурой, внутренними связями между отдельными элементами структуры, которые обеспечивают сохранение целостности дисциплины². Он же попытался сформулировать их. Какие же скрепляющие силы называются? Важнейшую роль в обеспечении целостности дисциплины археографии играют *общие принципы археографии*, их применимость в работе по подготовке к публикации источника *любого вида и разновидности*. Еще одним звеном, обеспечивающим дисциплинарную целостность археографии, является *неразрывное единство* разделов археографии — этапов археографической работы: поиск и выявление документальных памятников, отбор (экспертиза ценности для целей публикации), передача текста, археографическое оформление и т.д. Одно не существует без другого. Внутренние связи проявляются в единстве этапов археографической работы — выявление, отбор, передача текста, археографическое оформление и т. п., и в связях отдельных элементов, создающих структуру публикации — целостный объект: предисловие, текст документа, информационно-поисковый аппарат публикации и т. п. Нарушение в одном из этих звеньев приводит к изъянам в качестве реальных публикаций исторических документов, а значит, и в достоверности исторической информации, представленной в форме документальной публикации.

Структуру археографии как научной дисциплины можно рассматривать в разных плоскостях: по *основным направлениям* археографической работы (полевое, камеральное, эдиционное). По видам документальных памятников — актовая археография³, летописная, мемуарная. По форме публикаций — серийные, книжные, журнальные⁴, электронные и т. п.

На каждом ее уровне, на каждом этапе археографической работы возникают свои разграничительные линии и связи с другими дисциплинами, используются и их методы, необходимые для решения археографических задач.

Полевая археография — поиск документальных памятников в среде их бытования, имеет определенное сходство и различия с *архивным делом*, комплектованием архивов документами, особенно в области комплектования личными фондами, коллекциями. Но государственные архивы всегда имели и имеют главную задачу — сохранение, прежде всего, а иногда и исключительно, документов государственных учреждений. «Частная сфера» — жизнь и деятельность человека, длительное время вообще оставалась без их внимания, а личными архивами занимались библиотеки и музеи. Археограф работает там, куда не заходит архивист, в сфере бытования документов и рукописей у населения. Полевая археография в нашей стране первоначально охватывала главным образом старообрядческую среду, где широко бытовали славяно-русские рукописи⁵, но затем стал широко развиваться поиск и описание арабографичных и тюркоязычных документальных памятников⁶.

Много общего по целям, задачам и методам полевая археография имеет с *полевой этнографией*, *фольклорными экспедициями*, выявляющими, фиксирующими и описывающими, с последующей публикацией, памятники истории и культуры народов (вещественные, письменные и устные)⁷.

Методы *археологии*, полевой работы археолога, очевидно, значительно отличаются от археографических, но именно в результате археологических раскопок появляется на свет такой исторический источник, как берестяные грамоты. И возникшая дисциплина берестология, имеющая своей прикладной задачей изучение и публикацию берестяных грамот, очевидно, существует на стыке археологии, источниковедения, филологии и лингвистики, археографии и текстологии. Независимо от того, осмысливается это исследователями или нет.

Камеральная археография — научное описание выявленных памятников, также возникло на стыке с такими научными дисциплинами, как история и филология, библиография, музееведение, архивоведение и с деятельностью по коллекционированию древностей. Научное описание памятника было заложено публикациями описаний документальных памятников членами кружка А.И. Мусина-Пушкина, Румянцевского кружка, П.М. Строевым и К.Ф. Калайдовичем⁸, упрочено фундаментальными трудами А.Х. Востокова, А.В. Горского и К.И. Невоструева.

Археографическая комиссия Академии наук по инициативе академика М.Н. Тихомирова с 1950-х гг. возглавляет и координирует фундаментальную работу по научному описанию славяно-русских рукописей в нашей стране⁹. С необходимостью научного описания документа в краткой форме археограф сталкивается каждый раз при т. н. «археографическом оформлении» документа в публикации. Таким образом, по нашему мнению, нет оснований исключать это направление работы из задач археографии.

Эдичионная археография связана и с архивоведением и архивной эвристикой, с библиографией при поиске и выявлении литературы по теме и предшествующих публикаций источников, источниковедением и специальными (вспомогательными) историческими и историко-филологическими дисциплинами, а также с издательским делом, а в последние десятилетия и с исторической информатикой, информационными технологиями. Особенно тесные связи с филологией, в рамках которой развивается текстология, публикуются литературные памятники и памятники языка. Важнейшая часть работы по подготовке текста в археографии — текстологические изыскания, передача текста документального памятника.

Дисциплинарные связи можно разделить на *внешние* и *внутренние*. Внешние связи определяют положение дисциплины в дисциплинарном поле своего времени. Внешние связи с «пограничными» дисциплинами могут быть разного уровня и разной интенсивности связей. К внутренним связям, очевидно, относятся, например, взаимосвязи с актовой археографией, текстологией. Методы одних дисциплин имеют важнейшее значение для археографии, например, как источниковедение и вспомогательные (специальные) исторические дисциплины, тогда можно говорить о тесных связях. Есть связи, которые имеют для археографии более общее значение, например, книжное дело, издательское дело или информатика. Методы одних дисциплин используются в археографии при подготовке каждой публикации, того же источниковедения. А методы других — только в некоторых публикациях. Палеографические изыскания важны при подготовке к публикации рукописных памятников, особенно средневековых, хотя могут не использоваться и при подготовке публикации машинописных источников XX столетия.

Дисциплинарное поле науки исторически складывается не вполне логично и последовательно, а достаточно хаотично, стихийно. Процессы специализации не являются синхронными по отношению к однородным структурным элементам, составляющим дисциплинарную область.

Они в разной степени захватывают эти области. Причем точки роста специализации могут находиться не только внутри самой дисциплины, но и в смежных дисциплинах.

Как уже упоминалось, собиранием и публикацией документальных памятников и памятников (носителей текста), включая письменные тексты, в той или иной мере занимаются разные сформировавшиеся научные дисциплины. В этнографии и фольклористике давно ведутся и полевые работы по собиранию письменных и устных памятников литературы и народного творчества, и их критическому, научному изданию. Но самостоятельная дисциплина, условно говоря, подобно текстологии в филологии или берестологии, на стыке источниковедения и археологии здесь не сформировалась.

Высказываются разные мнения о принадлежности той или иной области исследования к той или иной конкретной дисциплине. Специалисты-историки называют археографию исторической или даже «вспомогательной по отношению к литературной науке» дисциплиной¹⁰, текстологию филологи считают самостоятельной историко-филологической наукой, а историки — литературной или филологической археографией, разделом археографии¹¹.

Эти дискуссии имеют не праздный характер, дисциплины развиваются, изменяются. Использование понятийного аппарата, часто заимствованного из арсенала смежных дисциплин и наук, требует их непротиворечивости. Необходимо внутри и междисциплинарное согласование понятий и терминологии. Это одно из направлений, определяющих передний край науки.

Для выявления междисциплинарных границ, междисциплинарного взаимодействия применительно к задачам археографии важное значение имеет определение предмета и объекта археографии. Традиционно представление о том, что археография имеет дело в основном с письменными документами на бумажной основе, пергамене. Но современные представления о дисциплинарном поле археографии значительно шире. Еще С.О. Шмидт писал, что археографу не следует ограничиваться письменными источниками: «но обращать внимание и на изобразительные источники (фотографии, кинокадры, зарисовки)». Важны и принципы, и приемы реализации описания этих разновидностей источников, и воспроизведение их (особенно прописью) — это ведь сфера археографии¹². Проблема воспроизведения археологических памятников в археографии до сих пор не нашла своего развития. Но публикация изобразительных источников, прежде всего фотографий, изучается достаточно давно.

В 1980-х гг. во ВНИИДАДе было подготовлено революционное для своего времени методическое пособие о публикации фотодокументов¹³, положения которого впоследствии были развиты профессором В.М. Магидовым¹⁴. Эти и другие работы показывают, что не только публикация письменных, но и изобразительных источников может и должна входить в сферу археографии.

В.П. Козлов обобщил это важное для современного состояния развития археографии положение, сделав вывод, что «археография имеет дело с документом (письменным, аудиовизуальным, электронным и др.), т. е. зафиксированной различными способами на материальном носителе информацией, являющейся продуктом интеллектуальной деятельности человека»¹⁵.

Г.И. Королев сформулировал еще более широкий подход к археографии. Он рассматривал ее как «одно из средств соединения исторических и филологических наук и, пребывая сразу в нескольких областях знания и, соответственно, не принадлежа лишь к одной из них, выступает по отношению к ним как метадисциплина. [...] Как отмечалось, между областями знания существует определенное разграничение публикаторской проблематики. В этом смысле допустимо говорить о нескольких археографиях — «исторической», «филологической», «эпиграфической», «археологической» и т. д. Согласно принятому мною толкованию археография оказывается метадисциплиной для этих частных археографий, объединяющей их, но и оставляющей за ними, за их спецификой, положение разделов общей археографии»¹⁶. Если обобщить высказывания разных специалистов, то вырисовывается новое представление об археографии как историко-филологической науке, изучающей, обобщающей и интегрирующей все методы публикации, всех исторических источников, независимо от типа и вида физических носителей информации.

Подводя некоторые итоги, представляется, что можно сделать вывод о том, что между археографией и другими дисциплинами существуют не непроницаемые стены, ситуация значительно сложнее и разнообразнее. На дисциплинарном поле существуют скорее не стены, а мосты, зоны взаимных, пересекающихся интересов, зоны с более сильным и более слабым воздействием, тяготением. И это следует учитывать и в теоретических построениях, и в образовательной сфере.

С этих позиций представляется, что курс «Археографии» в ИАИ РГУ, по опыту других научно-учебных дисциплин («Общая химия», «Общая лингвистика». «Общее книговедение» и т. п.) может быть курсом «Об-

щей археографии», в котором излагать основные теоретические понятия, касающиеся вопросов собирания в среде бытования, научного описания и публикации исторических источников разных типов и видов, обобщающий имеющуюся практику. Разумеется, в этом курсе нужно будет расширить раздел о связях археографии с другими научными дисциплинами. А углублять свои знания студенты могли в спецкурсах по археографии, по отдельным ее направлениям и видам. Историко-архивный институт (РГГУ) имеет в этой области богатые традиции. В свое время были подготовлены и изданы учебные пособия по истории отечественной археографии, которые при всех их недостатках так и остаются единственными обобщающими работами в этой области. Общий курс, по нашему мнению, должен читаться не только студентам всех исторических, но филологических и других специальностей.

В заключение нельзя не присоединиться к словам В.П. Козлова: «...Мир археографии — это удивительно интересный и увлекательный мир взаимодействия документа и общества. Сложнее его описать. Еще труднее постигнуть закономерности, явления и процессы, которыми он живет, которым подчиняется...»¹⁷

¹ См.: Теоретические основы археографии с позиций современности: Материалы дискуссии. М., 2003. Подобные проблемы существуют и в других научных дисциплинах см.: Беловицкая А.А. Общее книговедение. М., 1987.

² Королев Г.И. Эдиционная наука как система // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюзной конференции. 30 мая — 1 июня 1990 г. Киев, 1990.

³ Благодаря С.М. Каштанову, эта часть археографии получила свою легитимизацию и обоснование: Каштанов С.М. Актовая археография. М., 1998. Другие, достаточно сформировавшиеся области археографии и имеющие свою ярко выраженную специфику, как например, публикация летописных памятников, такого завершения до сих пор не получили.

⁴ См.: Афиани В.Ю. Начало журнальной археографии в России в XVIII в.: // Археографический ежегодник за 1987 год. М., 1988. С. 26–34.

⁵ Тихомировские чтения 1970 г.: Мат-лы науч. конференций, посвященных опыту организации археографических экспедиций в РСФСР. М., 1970; Тверская Д.И. О некоторых итогах развития полевой археографии на территории СССР в послевоенный период // История СССР. 1976. № 1. С. 106–124; Курносоев А.А., Черных В.А., Шмидт С.О. О состоянии и задачах советской полевой археографии: (К итогам Первой всесоюзной конференции по полевой археографии) // Археографический ежегодник за 1977 г. М., 1978. С. 3–14; Проблемы полевой археографии. М., 1979. Ч. 1–2; Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами. М., 1984; Поздеева И.В. 30 лет полевой археографии Московского университета

(1966–1995) // Археографический ежегодник за 1995 год. М., 1997. С. 48–59; *Шмидт С.О.* О развитии советской археографии // Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. Сб. статей. М., 1997. С. 56. В основе статьи доклад на Тихомировских чтениях 1978 года. Опул.: *Шмидт С.О.* Некоторые вопросы развития советской археографии // Археографический ежегодник за 1978 год. М., 1979. С. 132–141; *Поздеева И.В.* Полевая археография XIX, XX, XXI века // Вспомогательные и специальные науки истории в XX — начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служение историка: Материалы XXVI Международной научной конференции. Москва. 14–15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 284–285.

⁶ *Усманов М.А.* По следам рукописей. Записки археографа. Казань, 1984. (На татарском яз.); *Archeographia orientalis: Материалы Всесоюзного рабочего совещания по проблемам восточной археографии.* М., 1990.

⁷ Основы полевой фольклористики: сб. науч.-метод. материалов / Анашкина Г.П., Аникина С.М., Матлин М.Г., Рассадин А.П.; Редкол.: Матлин М.Г. (отв. ред.). Ульяновск, 1997 (Проблемы полевой фольклористики. Вып. 1).

⁸ *Козлов В.П.* Российская археография конца XVIII — первой четверти XIX в. М., 1999. С. 49–62, 178–202.

⁹ *Тихомиров М.Н.* Об охране и изучении письменных богатств нашей страны // Вопросы истории. 1961. № 4. С. 62–68; *Гранстрем Е.Э.* О подготовке сводного каталога славянских рукописей // *Slavia*, год. XXVII, ses. 1. Praha, 1958. С. 120–121; отдельное издание: Л., 1958 (IV Международный съезд славистов. Доклады); см. также в кн.: *Славянская филология: сб. статей.* М., 1958. Т. II. С. 397–418; Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности: материалы Всесоюзной конференции / Под ред. Кукушкиной М.В. и Шмидта С.О. Л., 1981; *Князевская О.А., Черных В.А.* Вопросы описания документальных памятников в трудах Археографической комиссии // Археографический ежегодник за 1981 г. М., 1982. С. 247–254; и др.

¹⁰ Археография // Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 1.

¹¹ *Королев Г.И.* Археография: Учеб. пособие. М., 1996; См. также: *Селезнев М.С.* Текстология и ее роль в советской археографии. М., 1977.

¹² *Шмидт С.О.* Археография: Архивоведение. Памятниковедение. С. 195.

¹³ Рекомендации по изданию фотодокументов / под ред. Автократова В.Н., Магидова В.М.; Гл. арх. упр. при Совете Министров СССР, ВНИИ документообращения и арх. дела. М., 1985.

¹⁴ *Магидов В.М.* Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005.

¹⁵ *Козлов В.П.* Археография как научная дисциплина. Основные понятия // Теоретические основы археографии с позиций современности. С. 67.

¹⁶ *Королев Г.И.* Указ. соч. С. 23.

¹⁷ *Козлов В.П.* Приглашение к размышлению об археографии состоялось // Теоретические основы археографии с позиций современности: мат-лы дискуссии. М., 2003. С. 91.

ЭТНИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА¹

Ершова Галина Гавриловна

Российский государственный гуманитарный университет,
г. Москва

Шесенья Алехандро

Университет Сьенсиас и Артес де Чиापас (UNICACH),
Тугсла-Гутьеррес

***Аннотация:** В статье представлен подробный анализ теории сигнализации Ю.В. Кнорозова, основных теоретических и методологических разработок в области этнической семиотики, сформулированы цели и задачи дальнейших исследований данного междисциплинарного направления. С 1960 г. Ю.В. Кнорозов являлся Председателем комиссии по дешифровке исторических систем письма при Президиуме АН СССР. В дальнейшем им была создана в Ленинградской части Института этнографии АН СССР Группа этнической семиотики, это случилось уже после того, как Ю.В. Кнорозов ввел в научный оборот сам термин «этническая семиотика». Возникновение Группы стало, с одной стороны, логическим оформлением специфического подразделения ИЭ; с другой стороны, после множества публикаций, теоретических и практических разработок в области дешифровки древних систем письма и изучения происхождения знаковых систем появление Группы зафиксировало тот очевидный факт, что возникло новое междисциплинарное направление, которое не относится напрямую ни к этнографии, ни к лингвистике, ни к психофизиологии, но сочетает присущие этим наукам подходы и отчасти методы.*

***Ключевые слова:** Междисциплинарные исследования, этническая семиотика, теория сигнализации Ю.В. Кнорозова, знаковые системы, дешифровка древних систем письма.*

Как известно, семиотика в качестве науки, исследующей знаки и знаковые системы, возникла достаточно давно — ее острую необходимость почувствовал уже в XVII в. английский философ Джон Локк, дав первое определение как «учение о знаках», предполагая, что в задачи семиотики входило выявление природы знаков, используемых человеком «для понимания вещей или для передачи своего знания другим». При чем сделано это было в главном для Локка труде «Опыт о человеческом разумении»², где автор пытался понять и объяснить происхождение по-

знавательных способностей человека. В XIX в. семиотикой занялся также философ Чарльз Пирс, который сформулировал основы новой науки³. Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр также обратился к этой проблеме, введя термин *семиология*, который заимствовал у Эмиля Литре, использовавшего его для медицины. Именно Соссюр, ориентированный на структурализм, ввел дифференциацию означаемого и означающего, что имело принципиальное значение, поскольку терминами было разделено, с одной стороны, *конкретное выражение на языке* (означающее) и, с другой — *понятие* (означаемое), являющееся универсальным⁴. Собственно, все размышления вокруг семиотики на протяжении нескольких десятилетий выстраивались на сопоставлении и противопоставлении триадической модели Пирса диадическим моделям Соссюра.

В 1958 г. Клод Леви-Стросс опубликовал своего рода программную монографию «Структурная антропология», к которой затем был добавлен отдельный раздел под названием «Место антропологии среди социальных наук и проблемы, возникающие при ее преподавании»⁵. Леви-Стросс как сторонник системного подхода, обосновывал необходимость междисциплинарного подхода в антропологии, представляя антропологию в целом в качестве «семиотической науки». Проводя сопоставления с такими вполне объективными науками, как экономика или демография, методы которых сближают их с точными и «естественными науками», Леви-Стросс отмечал, что «антропология же в этом отношении оказывается скорее ближе к гуманитарным наукам. Она хочет быть *семиотической наукой*, решительно оставаясь на уровне значений. Именно это и является еще одной причиной (наряду со многими другими) поддержания тесного контакта антропологии с лингвистикой, тоже стремящейся по отношению к тому социальному явлению, каковым является язык, не отрывать объективные его основы, образующие *звуковой* аспект, от его значимых функций, образующих аспект *смысловой*»⁶. Нашупывая пути и междисциплинарные связи, интегрированные в антропологию, Леви-Стросс отмечает: «Таким образом, мы видим, что антропология сегодня оказывается на странном перекрестке наук. Она должна стать объективной, поскольку ей необходим некий общий язык для передачи разнородного социального опыта, а потому она обращается к математике и символической логике...

Во-вторых, антропология, будучи наукой семиотической, обращается к лингвистике по двум причинам: потому, что только знание языка позволяет проникнуть в систему логических категорий и нравственных ценностей, отличающуюся от подобной же системы наблюдателя; и по-

тому, что лингвистика лучше, чем любая другая наука, может обучить способу переходить от рассмотрения элементов, лишенных самих по себе значения, к рассмотрению семантической системы и показать, каким образом эта система может создаваться с помощью элементов первого рода. Это является, возможно, прежде всего проблемой языка, но после него и через него — проблемой всей культуры в целом»⁷.

Именно так была обозначена междисциплинарная проблема, открывавшая огромное исследовательское поле и возможность появления новых направлений.

Термин «этническая семиотика» был введен Ю.В. Кнорозовым. Это произошло задолго до того, как им была создана в Ленинградской части Института этнографии АН СССР *Группа этнической семиотики*. С 1960 г. Ю.В. Кнорозов являлся председателем комиссии по дешифровке исторических систем письма (секция семиотики научного совета по комплексной проблеме «кибернетика») при Президиуме АН СССР. Таким образом, возникновение Группы этнической семиотики стало, с одной стороны, логическим оформлением специфического подразделения института. С другой стороны, после множества публикаций, теоретических и практических разработок в области дешифровки древних систем письма и изучения происхождения знаковых систем, появление группы зафиксировало тот очевидный факт, что возникло новое *междисциплинарное направление*, которое не относится напрямую ни к этнографии, ни к лингвистике, ни к психофизиологии, но сочетает присущие этим наукам подходы и отчасти методы.

Создание Группы этнической семиотики было вызвано необходимостью очертить в рамках традиционной этнографии особую исследовательскую сферу⁸. Речь шла о знаковых системах, которые вырабатывает социум для передачи и сохранения информации, а также о проблемах, связанных с корректным пониманием переданной информации. При очевидной универсальности решения задачи передачи информации, каждая конкретная культура вырабатывает собственные практические модели: мимика, жестикуляция, речь, мнемонические системы, письмо, и другие носители информации, в том числе обряды и ритуальные традиции. При этом интерпретация любой региональной иконографии (даже сцены исключительно сексуального характера) и тем более понимание древнего текста заведомо невозможны без учета конкретного этнокультурного контекста. Более того, большой проблемой продолжает оставаться универсальность большинства отраженных тем или иным способом объективных явлений в самых разных этнокультурных регио-

нах⁹. В качестве примера можно привести проведенный Е.Г. Дэвлет сопоставительный анализ однотипных наскальных изображений — «парных личин» — Кубы и Внутренней Монголии. Автор приходит к выводу о том, что «наскальные изображения асимметричных парных личин двух континентов демонстрируют удивительное сходство своей структуры, что можно связать с общностью мифологических представлений их создателей»¹⁰. При том, что возраст монгольских изображений относится предположительно ко II тыс. до н.э., а возраст кубинских разбросан от 3000 г. до н.э. до середины XVII в. н.э.¹¹ Автор совершенно логично, на основе анализа типов и уровней хозяйственной деятельности создававшего изображения населения, доказывает, что та самая «общность мифологических представлений» определяется единой для человека формой восприятия движения солнца и луны и собственными попытками создания календаря.

В качестве примера возможных составных элементов полноценного исследования можно рассмотреть базовые для всех народов конструкции духовных представлений, привязанные к пространственным ориентирам. И в этом случае мы выделяем данные психофизиологии, географии, биологического и этнокультурного контекстов. Так, практически универсальная психофизиологическая ориентация живых организмов на солнце филогенетически относится к эволюционным функциям чрезвычайно древним и рациональным, сознанием не контролируемым. Неслучайно уже первые проявления абстрактного мышления отражали биологическую зависимость гоминид от суточного цикла.

Членение пространственного мира также определялось через солнце путем выделения двух пространств дневного цикла: пространства возникающего и поднимающегося в зенит солнца и пространства, в котором солнце исчезало. Таким образом «мир» делился как бы на две части: с солнцем и без него. Первая охватывала сектор с востока — через юг — почти до запада, а вторая, соответственно, с запада — через север — почти до востока. Таким способом, например, до сих пор делят географическое пространство нганасаны. Естественно, что строя субъектно-объектную модель «Я — Солнце», человек обязательно представляет себя повернутым к нему лицом, а точнее, важнейшим для слежения за светом рецептором — глазами¹².

Далее вступают аргументы, полученные в результате археологических исследований¹³. Изменения в троположении мустьерского периода, позволяют отметить закономерность: «неандертальцы» в большей степени по сравнению с *homo sapiens* воспринимали неразрывность свя-

зи покойника с самим убежищем, являвшимся чаще всего гротом-пещерой. Среди убежищ значительно преобладали сориентированные выходом на юг. Таким образом, труп, помещенный к задней стенке, «оказывался» на севере, продолжая иметь «выход» на юг, и, возможно, сама ориентация тела покойника значения не имела. Тогда как уже у «сапиенсов» убежище (жилое и погребальное) могло быть сориентировано выходом даже на север (С.-З., С.-В.), но при этом уже каждый конкретный покойник лежал повернутым головой в южную сторону (допускаются отклонения на восток или запад).

Складывается впечатление, что к этому времени уже сложилась при-сущая духовным воззрениям многих народов мифологема *пещеры-матери* и *пещеры-прародины* — места, где обитают умершие предки и откуда появляются новые души для рождения. В сибирской мифологии — это некое отверстие внутрь земли. У северных русских могила устойчиво ассоциируется с пещерой, погребом — местом, которое расположено под землей, на земле или на небе. Причем все эти места могут упоминаться в одном тексте похоронных причитаний. В Китае комплекс понятий «гора—пещера—погребение» нашел отражение в иероглифике: *чжунь* «могила» состоит из *ту* «земля» и *чжунь* «вершина горы»; *куан* «пещера» употребляется для передачи понятия «могила». В Мезоамерике была разработана сложная концепция, отождествляющая страну мертвых с пещерами и Космосом¹⁴.

Первое осмысление позиций солнца нашло свое «материальное» выражение в фиксации точек восхода, захода и зенита относительно актуального плоскостного пространства, в центре которого находится наблюдатель. И на этом этапе в исследование интегрируются данные этнографии. Следы подобного естественного восприятия географического пространства сохраняются у народов Сибири и Дальнего Востока. Так, для нганасан, по наблюдениям Г.Н. Грачевой, север находится «на низу», а сам человек в традиционной культуре этого этноса (как и юкагиров) ориентирован лицом на юг.

Историческая картография позволяет также проанализировать данный феномен в эволюции восприятия мира человеком и материальном отражении этих знаний. Эта модель отчасти сохранялась в европейской географии вплоть до XIX в. То есть не так давно, при составлении географических карт, юг помещали сверху в качестве указателя направления движения. Север, соответственно, оказывался снизу. Такое положение показывают, в частности, карты Фрэнсиса Дрейка, Альсида Орбини и другие. При этом следует отметить, что традиция «естественного» для

восприятия изображения пространства на картах и схемах прекрасно существовала с «перевернутым» восприятием Земли внутри армиллярной сферы, идею которой додумал Клавдий Птолемей еще в самом начале нашей эры.

Понятие *позади—внизу* являлось антиподом пары *вперед—вверх* уже на этапе формирования картин мира. И эта зеркальность явилась основой для структурирования мира живых и мертвых. Наблюдаемое ночное небо с полюсом мира («исчезающим позади» у майя) относится к «низу» уже только потому, что наблюдается ночью, но полюс на ночном небе все равно расположен сверху. Поэтому связующим звеном между низом и верхом в формировании мифологических понятий становится отсутствие солнца. Формируется схема, которая жива и поныне: солнце — это жизнь и реальность, а его отсутствие — смерть и потусторонний мир. Верх и низ недоступны обычному живому человеку и потому относятся к потустороннему пространству. Китайцы, связывавшие страну мертвых с горой, считали вместе с тем, что она находится на севере. Поэтому душам важных сановников полагалось обитать на звездах вокруг Полярной звезды.

Замкнулись два комплекса абстрактно-конкретных понятий:

вперед—вверх—слева—юг—сегодня
позади—внизу—справа—север—давно.

В представлениях нганасан и юкагиров север связан с понятием «внизу» и отклонения северо-восток / северо-запад значения не имеют. В нганасанском языке для выражения правого используется слово «спина», а левого — «лицо».

Аналогичную схему соединения понятий «верх-юг» можно увидеть и в древней китайской традиции фэншуй, согласно которой кладбище должно быть защищено с запада, севера и востока полукруглым валом, а с южной стороны оно не нуждается в такой защите, «так как с этой стороны нечего опасаться вредных влияний». Фасадная часть домов и храмов в Китае также должна быть обращена к югу. В мироздании китайцев существовало ассоциативное тождество:

Север—зима—черепаха (звезды севера)—темнота—сон—смерть

Для нганасан (как и для далеких от них майя) юг символизирует движение вперед, сторона входа. Восток — сторона дня — находилась слева, что еще в начале века отражалось в обряде выстригания левой лопатки у оленя. Правая сторона *хиениде* считалась стороной ночи, «куда уходят

люди, когда умирают». Само слово «лево» было связано с понятием жизни и роста, а «право» означало «упасть», «свалиться», что также связывалось с понятием ночи. Г.Н. Грачева пришла к выводу о том, что существуют «основания для глубокой реконструкции осмысления движения на юг как вперед»¹⁵. Сходные данные были получены этим же автором и у юкагиров, у которых выделяются блоки понятий: *юг/восток*: лево—лицо—впереди—вверху—живой—движение слева направо (по солнцу); *север/запад*: право—спина—позади—внизу—мертвый—движение справа налево (против солнца, по луне). Все эти выводы были бы невозможны без привлечения лингвистических данных.

Раскрытие каждого аспекта темы определяет собственный набор интегрированных дисциплин, вскрывая и разделяя общее и индивидуальное в духовных воззрениях этносов, разделенных географически и имевших независимое развитие. Подобный подход позволяет избежать ошибочных выводов о «культурной преемственности» и «зависимостях».

Естественно, что этническая семиотика неразрывно связана с проблемой коммуникации — любая знаковая система имеет смысл только в присутствии пользователей этой информации, понимающих знаковую кодификацию.

Как известно, теоретические подходы к вопросу о возникновении коммуникации Ю.В. Кнорозов изложил в журнале «Основные проблемы африканистики»¹⁶, что вызывало почти обязательные «удивленные» комментарии со стороны научного сообщества: какое отношение имеет «американист» Кнорозов к африканистике? При этом всем было понятно, что идеи Кнорозова, как правило, «не вписывались в формат» академических журналов. Как может не специалист по мозгу писать об эволюции мыслительных процессов? Причем не с точки зрения заумных эстетико-философских рефлексий, что банально и достаточно привычно во все времена, а с позиций дотошного психофизиолога, пытающегося разобраться в механизме деятельности головного мозга человека и при этом делающего выводы уже на уровне целостной антропологической теории.

Долгое время публикация «американистом» Кнорозовым своей статьи в журнале по африканистике казалась лишь курьезом. Теперь становится все более очевидной принципиальная позиция ученого в отношении междисциплинарных подходов и методов. Публикацией упомянутой статьи «К вопросу о классификации сигнализации» он лишний раз подчеркнул универсальность процесса эволюции систем коммуникации в человеческом сообществе. Тем более, что и американский континент

и африканский (за исключением, пожалуй, северной своей части) имели в определенной степени независимое развитие и не попадали в так называемую «Большую Евразию», в рамках которой любые рассуждения о происхождении того или иного культурного явления, как правило, сводятся к гипотезе о его «индоевропейском происхождении». Наверное, желание сделать «выборку» более репрезентативной сформировало и подход к изучению общемировых коммуникативных систем, представляющих, помимо традиционной Евразии и ее неизбежных «индоевропейских истоков», и иные, имевшие во многом независимое развитие регионы мира: Америку, Океанию, Дальневосточный регион и Африку.

Благодаря этому универсальному подходу к системам человеческой коммуникации Ю.В. Кнорозов теоретически выделил различные типы сигналов, а также их суть и функции, и определил их как средство координации между элементами данной системы, при этом подача сигнала одним членом системы является командой, которая предполагает исполнение действия (реакцию) со стороны адресата; усиление воздействия для повышения выполнения команды соответствует тому, что Кнорозов назвал фасцинацией¹⁷.

С целью выявления и реконструкции первых (утраченных) знаковых систем этносов мира Группа этнической семиотики под руководством Ю.В. Кнорозова проводила комплексную работу по дешифровке древних систем письма: киданьского¹⁸, протоиндийского¹⁹, древнеперуанского²⁰, рапануйского²¹, айнской пиктографии²² и, конечно же, иероглифического письма майя, уже дешифрованного к этому времени²³. Исторические системы письма относились к разным временным периодам: протоиндийские были созданы на территории Индии и Пакистана в III тыс. до н.э.; письмо майя сложилось в I тыс. н.э. (однако основы мезоамериканского письма были заложены в I тыс. до н.э.) на территории современных Мексики, Гватемалы и Белиза; киданьские надписи появились в Монголии в IX–XII вв.; рапануйские тексты наносились на дощечки кохау-ронго-ронго на острове Пасхи в XVIII–XX вв. Айны, населявшие Сахалин, Курильские острова и Хоккайдо, в XIX в. расписывали пиктограммами свои традиционные *икуниси* — деревянные усодержатели, хотя сама айнская пиктография сложилась задолго до этого, еще в первые века нашей эры.

И.К. Федорова, одна из сотрудниц Группы этнической семиотики, считала, что группа являлась «настоящей школой и центром дешифровки». Однако совершенно очевидно, что понятие этнической семиотики Кнорозовым воспринималось гораздо шире. Совсем не случайно, гео-

графия объектов изучения охватывала все континенты и типологически разные культуры, что тоже было немаловажно для теоретических выводов Ю.В. Кнорозова, искавшего закономерности появления и развития систем создания и передачи информации в зависимости от уровня развития социума.

Работы, посвященные дешифровке письменности острова Пасхи, Великого Ляо, протоиндийской системы, были опубликованы в 1982 г. в сборнике со специально продуманным Кнорозовым названием: «Забытые системы письма»²⁴ — для того, чтобы подчеркнуть интерес к объектам, которые оказывались за традиционными рамками научного интереса. Его открывающая сборник статья была названа «Неизвестные тексты»²⁵. Именно в ней были обозначены основные положения в области изучения этнической семиотики и основные этапы становления коммуникации и развития знаковых систем:

«После появления речи, ставшей основным способом передачи сообщений, возникла потребность особой разновидности зрительной сигнализации, фиксирующей сообщения на каком-либо материале для отсутствующего адресата. Передача сообщения о ситуации достигалась путем копирования того, что видит (и воображает) наблюдатель. Адресат, наблюдая копию ситуации, получает о ней приблизительно такое же представление, как индуктор-наблюдатель. Каждая ситуация может быть описана неопределенным количеством фраз.

При копировании чаще всего применялась контурная проекция на плоскость. При этом исключались объекты, не имеющие (по мнению изображающего) отношения к копируемой ситуации или несущественные, терялся ряд признаков и давалась приблизительно (в пределах, допускающих опознание) передача контура»²⁶.

Далее обозначены этапы появления и развития пиктографии, условия возникновения письменности, характеристики различных типов письма, особенности взаимодействия древнего языка и древнего текста. Специальный раздел посвящен практической работе с древним текстом, написанным на неизвестном языке неизвестным письмом:

«Изучение текста требует его формализации. Прежде всего текст должен быть транскрибирован стандартными знаками. В качестве последних могут быть использованы стандартизированные знаки изучаемого письма, а также (для удобства обработки и публикации) общепринятые знаки (цифры, буквы). Эта работа требует не только большой точности, но и приобретения специальных навыков — овладения данным

шрифтом и индивидуальным почерком. Составление транскрипции предусматривает опознание всех вариаций написания, а также полустертых и искаженных графем, восстановление утраченных мест, обнаружение ошибок и внесение конъектур. Эта работа обычно не бывает закончена к моменту дешифровки и продолжается по ходу дешифровки и после нее»²⁷.

Кнорозов изложил и особенности своего подхода, который предполагает учет уже и психофизиологических, и этнокультурных особенностей:

«Для удобства исследования текст целесообразно рассматривать как ряд морфем, расположенных в последовательности, свойственной данному языку. Общее количество морфем в любом языке не зависит от количества фонем и не превышает синхронно 1500. Стабильность количества морфем определяется свойствами человеческого мозга. Превышение критического количества создает трудности для запоминания (оперативной памяти)²⁸. В свою очередь, значительное уменьшение числа морфем повлечет за собой удлинение словоформ и создаст трудности для их распознавания (т. е. для восприятия устной речи). Возможное число сочетаний фонем резко ограничено законами образования морфем в данном языке (фиксированные ограничения). Морфема — наименьшая семантическая единица языка, и поэтому она обычно является предельным референтом знака письма. Каждая группа тождественных морфем характеризуется позициями этих морфем в ряду (адресами) и частотой»²⁹.

Последний раздел статьи затрагивает проблемы и методы конечного этапа дешифровки:

«Изучение морфологии и синтаксиса и классификация блоков дают возможность развернуть изучение лексики неизвестных текстов. При переходе к фонетическому чтению решающую роль могут сыграть условные чтения знаков, установленные при сопоставлении грамматических показателей изучаемого языка и языка-потомка. Однако фонетическое чтение слов во многих случаях не дает возможности определить их смысл. Для успешного изучения неизвестной лексики необходимы специальные морфемные словари языка-потомка и детальное изучение фонетических изменений. Кроме того, даже в тех случаях, когда перевод вполне возможен, текст остается непонятным по причине полной невразумительности. Для того чтобы придать древним

текстам смысл, кроме грамматического перевода, необходим широкий и всесторонний комментарий. Составление такого комментированного перевода уже выходит за рамки формального изучения текстов и, несомненно, требует привлечения всей возможной дополнительной информации»³⁰.

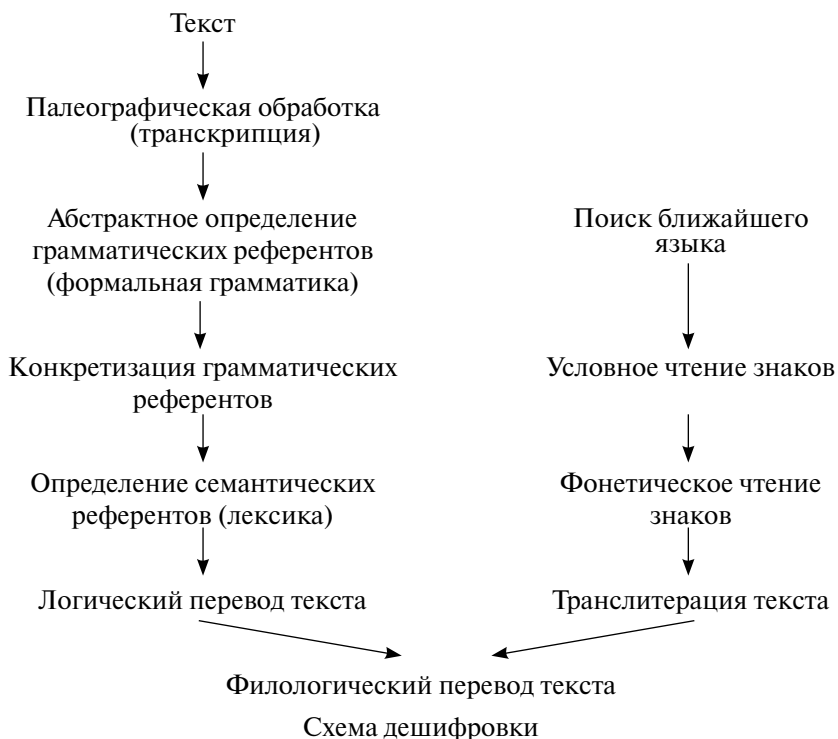


Схема дешифровки по методу Кнорозова приводится в статье Г.С. Авакьянц, посвященной практическому применению методов позиционной статистики³¹.

Вопрос соотношения фонетического чтения неизвестного текста и его адекватного понимания становится, пожалуй, ключевым в исследовании древних текстов. В той или иной мере, а иногда и полностью, за тысячелетия и столетия утрачивается этнокультурный контекст. И даже, казалось бы, понятные слова не могут быть правильно поняты, приводя к возникновению многочисленных произвольных смысловых интерпре-

таций. Даже, казалось бы, не прерывавшаяся традиция работы с текстами Ветхого и Нового Заветов, оказывается, приводит к парадоксальным противоречиям, требующим постоянных «разъяснений», постановлений о правильном понимании, пересмотру интерпретаций текста. Об этом свидетельствуют яростные споры, начавшиеся у сторонников христианства уже в первые века нашей эры и продолжающиеся до сих пор. Процесс усугубился и тем, что христианство сместилось из одного этнокультурного региона в совершенно другие.

В результате Ортодоксальная церковь, во избежание интерпретационных конфликтов, ограничивается признанием исключительно древних христианских догматов. Римско-католическая церковь пришла к решению принятия новых догматов — так, например, в 1950 г. был принят догмат о взятии в небесную славу Девы Марии. С другой стороны, не случайно многие современные богословы настаивают на использовании нового богословского языка, чтобы выражать и толковать старые догматы. При этом все признают, что теологическая и научно-философская мысль также не стоят на месте. Все это вызвано тем фактом, что принятые в христианстве интерпретации в современном культурном контексте уже не становятся адекватными реальности и требуют своеобразной «адаптации».

Даже при непрерывной письменной традиции, всего лишь при ее совершенствовании, изменение общего культурного контекста и неизбежное развитие языка приводят к утрате понимания текста. В качестве иллюстрации можно упомянуть множество примеров подобных семантических перебоев при переводе, которые приводит Кадзуаки Судо в замечательной работе «Японская письменность от истоков до наших дней»³². В частности, автор рассматривает следствия переходного периода от китайского иероглифического текста к японской письменности, завершившегося в общих чертах в X в. на примере текстов антологии японской поэзии Манъесю. К этому времени, как отмечает автор, «японцы разучились читать тексты, написанные при помощи манъеганы»³³. Этот тип письма, как отмечает автор, не имел строгих норм записи и допускал существование вариантов правописания (принцип: «один иероглиф — один слог»³⁴ и принцип, когда два иероглифа передают один слог или один иероглиф передает 2–3 слога). В результате спустя некоторое время появляются совершенно разные способы чтения и, следовательно, толкования записи. Один и тот же текст (из сборника Манъесю) становится возможным читать и толковать по-разному. В XIII в. монах Сэнгаку дает перевод:

*На ночную луну
Подняла я свой взор и спросила:
«Милый мой
Отправляется в путь.
О, когда же мы встретимся снова?»*

Спустя три столетия, в XVII в., монах Кэйтию предлагает иную транскрипцию и перевод:

*О облака! Не закрывайте ночную луну.
Я ею люблюсь, стоя под ветвями дуба,
Где раньше мой милый стоял»³⁵.*

Очевидно, что количество проблем и задач при работе с древними языками и забытым письмом возрастает на порядки. Ю.В. Кнорозов при дешифровке письменности майя и работе с иероглифическими рукописями уделял особое внимание этим «узловым» местам, без которых невозможно ни правильное понимание, ни адекватный перевод текста. Так определилась необходимость широкого междисциплинарного подхода.

В 1986 г. группа Ю.В. Кнорозова издает первый сборник, обозначенный как издание по особой междисциплинарной теме: «Древние системы письма: этническая семиотика»³⁶. В предисловии Кнорозов в свойственном ему тезисном или «телеграфном», по его собственному выражению, стиле обозначил основные задачи и направления исследований:

- Развитие естественных систем коммуникации как цивилизационный признак,
- Эволюция письменных систем,
- Зависимость уровня развития письма от уровня развития социума,
- Дешифровка исторических систем письма,
- Теоретические основы изучения естественных систем социальной коммуникации, в том числе эволюция коммуникативной системы человека,
- Палеография и лингвистика.

Эти сюжеты в той или иной мере развивались авторами статей. Что очень важно, в основном это были практические результаты работы с текстами на основе методологии Кнорозова.

Не случайно сборник открывала статья Н.М. Гиренко «Синхрония и диахрония (к вопросу об интерпретациях явлений культуры)»³⁷. Авторы рассматривали глобальную проблему реконструкции далекой прошлой деятельности человека («явлений объективной реальности») через

систему созданных им обозначений этих явлений в системе научного знания. «Реконструкция, т. е. осознание прошлого, будучи идеальной моделью, невозможна без развития системы образов и понятий для интерпретации систематизированных явлений, для построения модели, в которой эмпирические данные находились в мотивированной взаимосвязи. Осознание исторического процесса в любом его проявлении предполагает как минимум две стороны — эмпирические данные и адекватные им средства для интерпретации. Очевидно, что обе указанные стороны должны быть представлены системно, равно как и их соотношение. В этом аспекте исторические реконструкции обнаруживают определенное сходство с интерпретациями древних систем письма, древних текстов»³⁸. Н.М. Гиренко совершенно справедливо призывает учитывать при проведении этносемиотического анализа такие факторы, как многослойность культурного субстрата, в рамках которого складывается то или иное явление. А также проблему диахронии, когда явление, развиваясь во времени, должно модифицироваться в соответствии с развитием системы социума в целом.

Эти проблемы оказываются отчетливо обозначенными при изучении практически любого аспекта культуры всякого этноса, тем более имевшего богатую историю развития. В комментариях (обязательная часть любого перевода древнего текста), которые составил Кнорозов при переводе рукописей майя, неоднократно отмечается тот факт, что культура майя имела более полутора тысяч лет бурной истории. Это очень большой период (не считая долгого предшествующего периода существования генетически родственной мезоамериканской культуры) для многочисленных модификаций, появления вариантов, утрачивания одних традиций и появления новых, иногда заимствованных, во всех сферах культурной жизни: языке, ритуалах, религии, политической системе, хозяйствовании и т. д. При этом следует отметить, что всегда остаются некие стержневые или универсальные элементы, которые не подвергаются ни трансформациям, ни существенному пересмотру.

К таким в любой культуре могут относиться такие неизменные концепты, как психофизиологическая ориентация человека в пространстве. Так, например, дистрибуция живого и мертвого пространств, связанная с восприятием Солнца. При этом стабильность и универсальность этих представлений работает только для Северного полушария Земли. Если мы обратимся к материалам культур Южного полушария, то обнаружим тоже универсальность — но отраженную зеркально. Для наблюдателя в Южном полушарии пространство Солнца и жизни соответственно

связано не с югом, а с севером, тогда как юг остается «позади» и указывает на страну мертвых. Это хорошо отслеживается, например, в развитии культур Андского региона.

В 1999 г., уже после смерти Ю.В. Кнорозова (хотя был подписан к печати еще в 1993 г.), был издан сборник «Вопросы этнической семиотики. Забытые системы письма»³⁹. Помимо конкретных работ по чтению древних текстов, в сборник вошли важные теоретические статьи. В первую очередь, речь идет о статье самого Кнорозова «Особенности детских изображений»⁴⁰. В статье автор вскрывает психофизиологический механизм развития графической сигнализации в онтогенезе в сопоставлении с филогенезом, специально отмечая не только сходства, но и принципиальные различия. Например:

«1.1. Закон Геккеля, согласно которому онтогенез повторяет филогенез, сформулирован применительно к соматологии. Вопрос о применимости этого закона к процессу вхождения ребенка в коллектив взрослых в параллель истории коллектива требует ряда уточнений и пояснений.

1.2. Эволюция вида идет по линии ароморфоза, т.е. развития систем организма, выгодных (целесообразных) при изменениях среды (например, центральная нервная система, теплая кровеносная система и т.д.), только на последнем этапе сменяясь идиоадаптацией (приспособлением к данной среде).

1.3. В коллективах идиоадаптации соответствует специализация элементов культуры...»

Собственно, это и есть сочетание семиотики и этнокультурных особенностей.

Если следовать направлению исследований Ю.В. Кнорозова, то под этнической семиотикой следует понимать междисциплинарное изучение всех уровней возникающей с появлением *homo sapiens* системы универсальной коммуникации человека, управляемой его головным мозгом и воспроизводящейся в социуме через обучение ребенка в рамках конкретной этнокультурной региональной специфики. Уровни коммуникации предполагают знаковые системы, такие как жестикация, речь, пиктография, письмо, обряды и обычаи и др. При этом каждый из уровней проходит свой путь развития, поэтапно усложняясь. Определение семиотики как «этнической» имеет важное значение для понимания тех различий в вариантах и видах систем коммуникации между регионами мира. Это происходит только на том этапе развития человеческих сооб-

ществ, когда впервые становится возможным выделить этнические особенности. Палеолит с точки зрения сохранившейся культуры предстает достаточно однотипным во всех регионах мира и потому оказывается как бы «внеэтническим», хотя и привязанным к конкретному природному контексту.

Надо отметить, что магистральное междисциплинарное направление этнической семиотики, обозначенное Ю.В. Кнорозовым, привлекло и других исследователей для попыток анализа отдельных феноменов. Так, к данной теме обратился Ю.С. Степанов в начале 1970-х гг.⁴¹, В.В. Иванов — в конце 1980-х гг. в одноименной статье⁴². К 1980-м гг. семиотика превратилась в достаточно модное научное направление. В.В. Иванов отразил основные подходы: от наивного отождествления обмена «социальных и материальных ценностей» с ритуальной деятельностью, «эквивалентной искусству в современном обществе», до представлений о формировании «универсальной и целостной знаковой системы», куда входит «естественный язык, язык жестов и другие материальные способы информации»⁴³.

Взгляды, высказанные в статье, что характерно для периода постановки проблемы, отличались некоторой эклектичностью: тут и образы С. Эйзенштейна и Диснея, и представления об «архетипах» Юнга и его работе «Тотем и табу», и этнографические материалы А.Н. Золотарева и С.П. Крашенинникова, и классические древние эпосы, и рассуждения Леви-Брюля и Марра, а также анализ Л.С. Выготского образов «Войны и мира» и пережитков архаических манипуляций в работе «Нарушение понятий при шизофрении»⁴⁴. Идеи Эйзенштейна и Выготского, высказанные в 1930-х годах, по мнению В.В. Иванова, были «созвучны современным (т. е. годы написания статьи. — Г.Г. Ершова, А. Шесенья) представлениям о роли семиотических (знаковых) систем и кибернетике». При этом подчеркивалась та значимость, которую придавал Л.С. Выготский языку и возможностям управления поведением⁴⁵. Собственно, эта идея следует тому направлению, которое было высказано в начале XX в. В.М. Бехтеревым, что рассматривалось в предыдущих наших публикациях⁴⁶.

Несмотря на то что исследования, ведущиеся в области этнической семиотики в течение последних десятилетий, дают успешные результаты, вполне понятно, что этнокультурное богатство мира и историческая динамика его развития (так же как и обилие информации, которая накапливается с периодической публикацией новых этнографических материалов) требуют дальнейших исследований. В связи с этим можно наметить следующие задачи:

- Развивать изложенные Ю.В. Кнорозовым теоретические положения о процессах происхождения и развития систем коммуникации, включая роль фасцинации и принимая во внимание такие аспекты, как: варианты, контексты, импульсы и цели, функционирование, эффективности, эволюция, и замену в системах коммуникации.
- Следуя сформулированной Ю.В. Кнорозовым необходимости вписывать письменные памятники в этноисторический контекст, надо рассматривать особенности взаимной связи между различными знаковыми системами в данной этнокультуре, особенно для понимания данных, которые возникают в результате переводов прочитанных письменных текстов.
- В связи с предыдущим пунктом, привлечь в исследование внелингвистические системы, такие как обряды и обычаи для более полной оценки процесса коммуникации.
- На основе изложенной Ю.В. Кнорозовым командной функции сигналов обратить внимание на прагматический уровень систем коммуникации. Важным пунктом в этом плане является исследование дискурса.
- Принять во внимание диахронический подход.
- Подойти к изучению развития знаковых систем в контекстах этнического взаимодействия (синкретизм), что особенно актуально, в частности, для темы индейских знаковых систем после испанского завоевания.

Эта тема представляла особый интерес в исследования Ю.В. Кнорозова. Система коммуникаций, сложившаяся в рамках определенного культурного контекста, обладала внутренними законами эволюции. Так, например, развитие мезоамериканской ветви письма можно проследить на материале возникновения и трансформации региональных письменных систем: эпи-ольмекской, Рио-Бланко, сапотекской, майя, атекской системы и др. Причем единая основа творчески преобразовывалась в разных культурах для разных языков как в отношении типа письма (использование фонетического, идеографического, возможно, смешанного принципов), так и в эволюции графики. Появление испанцев создало необходимость взаимодействия носителей собственной культурной, в том числе письменной, традиции с инородным информационным содержанием. Миссионеры пробуют два метода. Сначала они пытаются использовать индейскую письменную традицию для передачи европейского информационного контента. Этот путь оказывается слишком

сложным и нереализуемым в силу утраты к этому времени массовой грамотности, а также невозможности передачи чуждой сложной системы абстрактных понятий. (Причем заранее проводится поиск соответствий набора христианских понятий системе майяских духовных терминов.) В результате миссионеры приходят к выводу о необходимости создания новых знаковых систем, позволяющих передавать чужеродный культурный контент. Приходится, в частности, учитывать фонетическое соответствие знаков языку аборигенов. Ю.В. Кнорозов в статье «Древнее перуанское письмо: проблемы и гипотезы»⁴⁷ анализирует, в частности, проблемы, с которыми столкнулись миссионеры при общении с носителями иной письменной традиции. Осталась неопубликованной обширная статья по американским письменным системам, в том числе и изобретенным в колониальный период в целях катехизации индейцев. В ней Ю.В. Кнорозов рассматривает, в частности, те искусственные системы записи текстов, которые создавали миссионеры в разных регионах континента на основе местных традиций. В этих моделях отчетливо просматриваются те проблемы, которые должны быть решены. Во-первых, введение новых абстрактных понятий через использование условных параллелей. Во-вторых, использование знаков на основе местной пиктографии. В-третьих, иногда намеренное избегание фонетизма, а также грамматических сложностей, что позволяло оперировать исключительно понятиями.

- Исходя из общих методологических основ, установленных Кнорозовым, разрабатывать специальные методы для специфических задач в этнической семиотике.
- Разработать формальную модель этносемиотического анализа культурных феноменов, которая должна отталкиваться от функции знаковых систем.

В целом базовая система знаков может быть разделена на две основные группы:

1. *Нефиксированные знаки* (то есть обладающие разовым воздействием, кратким по времени, небольшим количеством наблюдателей-адресатов): мимические, телесные (жестикуляция), кинестетические (двигательные, танцевальные), звуковые, речевые, мелодические.

2. *Фиксированные знаки* (максимально увеличенное воздействие по времени, неограниченное количество адресатов), находящиеся в том же информационно-культурном поле: макет (в том числе скульптура, архитектура), одежда—орнамент—украшения—татуировка—символы, рису-

нок, письмо, (профессиональная запись — математическая, химическая, музыкальная и т. д.).

То есть развитие средств коммуникации идет по пути увеличения временного воздействия на максимальное количество адресатов. Параллельно возникает проблема ограничения допущенного числа адресатов, специальная подготовка (обучение) адресатов.

Следует отметить, что такие средства, как фотография, аудио- и видеозапись, Интернет и все то, что еще будет изобретено,— это всего лишь технологические приспособления для передачи базовой фиксированной информации с большей точностью, в больших объемах и с большей скоростью максимальному числу адресатов. Естественно, что развитие технологий позволяет фиксировать нефиксированные знаки, меняя их категорию. Однако и в этом случае их функциональная роль принципиально не меняется.

Не случайно, что нефиксированная группа знаков является основой для психотерапевтических практик, таких как гипноз, психотерапия, двигательльно-танцевальная терапия, арт-терапия (рисунок, скульптура, музыка и т. д.), визуальная терапия. С одной стороны, это базовые модели коммуникации, а с другой — основы поведенческой деятельности человека, присущие непосредственно личности.

При проведении анализа целостного комплекса информационного организованного пространства (город, ритуальный центр, функциональный или ритуальный объект) должны быть выделены несколько уровней с позиции диахронии для интерпретации, требующих своего подхода:

1. Начальная информационная деятельность связана с *созданием искусственных макетов в природном ландшафте*. Для этого обязательно условие физического наличия уровней и сред, поэтому предпочтительно используются: пещеры, горы, реки. В случае плоского рельефа возводятся возвышающиеся сооружения.

2. Учитывая концепцию развития формы, когда *округлая предшествует прямоугольной*.

3. Обязательного учета требуют *три уровня мироздания*.

4. Происходит выбор между *горизонтальной и вертикальной проекциями мироздания*.

Если мы ранее говорили о типах информации по времени воздействия и величине аудитории, то следует учитывать и тип воплощаемого абстрактного знания, которое может быть:

— материально достигаемым (гора воплощается пирамидой);

- материально недостижимым (космос, воплощаемый через некие объекты);
- организацией материального;
- воображаемым материально-нематериального (соединения реального и потустороннего мира, например: погребения, лабиринты и т.д.);
- нематериальным (религиозные представления);
- технологиями;
- чистой абстракцией, требующей наличия своего метаязыка (математика);
- стимулированием эмоций (размеры сооружений, звуковые и световые эффекты, оптические иллюзии и т. д.).

Все эти аспекты анализируемых объектов присутствуют в культурном пространстве любого этноса. Но каждый этнос создает собственную, уникальную форму выражения этой информации. Таким образом, в задачи этнической семиотики входит формальный анализ, включающий:

- 1) определение функционального назначения объекта;
- 2) определение культурного контекста;
- 3) выявление и диахронный анализ истоков использованной формы для материальной передачи информации.

Этническая семиотика в настоящее время стала объектом исследований в Мезоамериканском центре Ю.В. Кнорозова и Центре междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ. В данной статье мы попытались изложить некие общие положения теории Ю.В. Кнорозова, дополнив их программой дальнейших исследований.

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-06-00467 и Программы стратегического развития РГГУ.

² *Локк Дж.* Сочинения в 3-х т. Т. 1. Опыт о человеческом разумении (Философское наследие. Т. 93). М., 1985.

³ Первое издание: *Peirce C. S. Studies in Logic by Members of the Johns Hopkins University.* Boston, 1883; *Peirce C.S. La ciencia de la semiótica.* Buenos Aires, 1974. На русском языке работы Пирса издавались крайне мало и в не очень качественном переводе.

⁴ *Saussure F. de. Cours de linguistique générale.* Paris. éd. Payot, 1913. На русском языке было издано: *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.

⁵ *Левин-Строс К.* Структурная антропология. М., 2001. С. 358–401.

⁶ Указ. соч. С. 381.

⁷ Указ. соч. С. 386.

⁸ Следует пояснить, что даже административно Ю.В. Кнорозов игнорировал общепринятые «рамки правил». Для него «группа этнической семиотики» была, скорее, неформальным коллективом единомышленников, куда входили не толь-

ко сотрудники «согласно штатного расписания», но все, кто практически разделял научный интерес к данной исследовательской сфере, даже не будучи сотрудниками ИЭ РАН.

⁹ *Ершова Г.Г.* Феномен «общего» в культурах Старого и Нового Света // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки. Вып. 3. СПб., 1996. С. 3–13; Она же. Становление речи и создание древним человеком модели мира // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки. Вып. 3. СПб., 1996. С. 14–26; Она же. Восприятие окружающего мира древним человеком и способ создания им Модели Универсума // Горизонты антропологии. М., 2003. С. 88–93.

¹⁰ *Дэвлет Е.Г.* Американо-азиатские параллели в наскальном искусстве (парные личности) // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки. Вып. 3. СПб., 1996. С. 82–90.

¹¹ Указ. соч. С. 83.

¹² Данный сюжет уже подробно рассматривался в предыдущих публикациях. В частности: *Ершова Г.Г.* Погребальный обряд как отражение модели мира // Древние цивилизации Старого и Нового Света. Культурное своеобразие и диалог цивилизаций. М., 2003. С. 96–106.

¹³ *Смирнов Ю.А.* Мустьерские погребения Евразии. М., 1991; Он же. Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения. М., 1997.

¹⁴ *Ершова Г.Г.* Феномен «общего» в культурах Старого и Нового Света // Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки. Вып. 3. СПб., 1996.

¹⁵ *Грачева Г.Н.* К горизонтальной модели мира у нганасан // Традиционные верования в современной культуре этносов. СПб., 1993. С. 28–29.

¹⁶ *Кнорозов Ю.В.* К вопросу о классификации сигнализации // Основные проблемы африканистики. М., 1973. С. 324–334.

¹⁷ Там же. С. 328, 331.

¹⁸ Предварительное сообщение о дешифровке киданьского письма. М., 1964.

¹⁹ *Кнорозов Ю.В.* Характеристика языка протоиндийских надписей // Предварительное сообщение об исследовании протоиндийских текстов: Сб. статей. М., 1965. С. 46–51; *Knorozov Yu, Albedil M., Volchek B.* Report in the Investigation of the Proto-Indian texts. Proto-indica: 1979. М.: Nauka, 1981.

²⁰ *Кнорозов Ю.В., Федорова И.К.* Древнее перуанское письмо: проблемы и гипотезы // Латинская Америка. 1970. № 5. С. 10–16.

²¹ Мифы, предания и легенды острова Пасхи / Сост., пер. с рапануйского и западноевроп. яз., предисл. и примеч. И.К. Федоровой. М., 1978. С. 382.

²² *Кнорозов Ю.В., Сневаковский А.Б., Таксами Ч.М.* Пиктографические надписи айнов // Полевые исследования Ин-та этнографии. 1980–1981. М., 1984. С. 226–233.

²³ *Кнорозов Ю.В.* Письменность индейцев майя. М.; Л., 1963.

²⁴ Забытые системы письма: остров Пасхи, Великое Ляо. Индия: Материалы по дешифровке. М., 1982.

²⁵ *Кнорозов Ю.В.* Неизвестные тексты // Забытые системы письма. М., 1982. С. 3–10.

²⁶ Указ. соч. С. 3.

²⁷ Там же. С. 5.

²⁸ Примечательно, что Ю.В. Кнорозов использует «компьютерные» термины и понятия применительно к работе мозга, задолго до массового появления компьютеров.

²⁹ *Кнорозов Ю.В.* Неизвестные тексты. С. 6.

³⁰ Там же. С. 9–10.

³¹ *Авакьянц Г.С.* Некоторые принципы и методы применения ЭВМ в современной дешифровке исторических систем письма // *Древние системы письма: этническая семиотика.* М., 1986. С. 28–35.

³² *Кадзуаки Судо.* Японская письменность от истоков до наших дней. М., 2006.

³³ Там же. С. 34.

³⁴ Весьма примечательно, что в использованном издании Кудзуаки Судо на русском языке появляется очевидная опечатка на странице 31: вместо принципа «один иероглиф — один слог» издатель ошибочно (но более понятно для «ино-письменного» читателя) помещает: «один иероглиф — один звук». При этом в тексте звуки прописаны, и их количество почти в два раза превышает количество приведенных знаков.

³⁵ *Кадзуаки Судо.* Указ. соч. С. 31–33.

³⁶ *Древние системы письма: этническая семиотика.* М., 1986.

³⁷ *Гиренко Н.М.* Синхрония и диахрония (к вопросу об интерпретациях явлений культуры) // *Древние системы письма: этническая семиотика.* М., 1986. С. 6–27.

³⁸ *Гиренко Н.М.* Указ соч. С. 6–7.

³⁹ *Вопросы этнической семиотики. Забытые системы письма.* СПб., 1999.

⁴⁰ *Кнорозов Ю.В.* Особенности детских изображений // *Вопросы этнической семиотики. Забытые системы письма.* СПб., 1999. С. 186–192.

⁴¹ *Степанов Ю.С.* Семиотика. М., 1971.

⁴² *Иванов В.В.* Проблемы этносемиотики // *Этнографическое изучение знаковых средств культуры.* М., 1989. С. 38–62.

⁴³ Там же. С. 38.

⁴⁴ *Выготский Л.С.* Нарушение понятий при шизофрении // *Избранные психологические исследования.* М., 1956.

⁴⁵ *Иванов В.В.* Проблемы этносемиотики // *Этнографическое изучение знаковых средств культуры.* М., 1989. С. 44–45.

⁴⁶ *Ершова Г.Г.* Междисциплинарность: история и перспективы // *Стены и мосты. Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях.* М., 2012. С. 53–58.

⁴⁷ *Кнорозов Ю.В., Федорова И.К.* Древнее перуанское письмо: проблемы и гипотезы // *Латинская Америка.* 1970. № 5. С. 10–18.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И КРИЗИС КАУЗАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Кром Михаил Маркович

Европейский университет в Санкт-Петербурге,
г. Санкт-Петербург

***Аннотация:** В статье анализируется кризис каузальности, о котором свидетельствуют возросшие сомнения историков в возможности установления причин важнейших событий и процессов и наблюдаемый ныне стихийный отказ многих из них от выяснения причинно-следственных связей в пользу констатации сложности исторических явлений. Эта тенденция рассматривается в контексте взаимоотношений истории с другими науками: в частности, современный кризис исторической каузальности отчасти объясняется разочарованием в механистической модели причин и следствий, заимствованной из естественных наук в XIX в. Вопрос о том, могут ли современные науки (например, биология) предложить историкам более адекватную модель для поиска причин изучаемых явлений, остается открытым.*

***Ключевые слова:** каузальность, история, социальные и естественные науки.*

«...Причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать...» — на этих словах обрывается рукопись последней книги Марка Блока «Апология истории, или Ремесло историка»¹. К сожалению, великий ученый не успел написать о том, как, по его мнению, следует искать исторические причины, но некоторые указания на сей счет можно найти в его предшествующих работах.

Так, в статье «К сравнительной истории европейских обществ» (1928) Блок рекомендовал внимательно изучать «сходные явления», так как «они позволяют продвинуться еще на шаг вперед в увлекательном поиске причин». По его мнению, «именно здесь сравнительный метод способен оказать историку самую большую помощь, указывая ему путь, ведущий к истинным причинам, а также (или, быть может, «а главное», если начать с услуги более скромной, но совершенно необходимой) отвращая его от некоторых тупиковых направлений исследования»².

В упомянутой статье М. Блок убедительно показал, как с помощью сравнения можно выявить истинный масштаб изучаемого явления (например, сословного представительства в средневековой Европе) и тем са-

мым избежать локальных объяснений, которые ведут лишь к ложным причинам общеевропейских процессов³. Можно заметить, однако, что «услуга», которую сравнение, будучи частным случаем индукции, способно оказать историку в поиске причин, носит негативный характер: оно способно опровергнуть ложное объяснение (Уильям Сьюэлл в комментарии к процитированной статье Блока назвал эту полезную функцию сравнения *тестированием гипотез*)⁴, но к «истинным причинам», увы, не приводит.

Отношение крупнейшего историка минувшего столетия к проблеме причинности весьма показательно: с одной стороны, он до конца жизни был уверен в необходимости и возможности причинно-следственного анализа, а с другой — отдавал себе отчет в сложности этой процедуры.

До конца XX столетия историки продолжали настойчиво искать причины важнейших событий, причем перечень возможных факторов непрерывно рос. Так, немецкий историк Александр Демандт в 1984 г. перечислил в алфавитном порядке 210 причин падения Древнего Рима⁵. Понятно, что, когда счет «предпосылок» и «факторов», приведших к тому или иному известному событию, идет уже на сотни, возникают сомнения в возможности установить единственную «настоящую причину». И вот в начале XXI в. историки уже открыто заговорили о кризисе каузальности.

Так, по признанию Детлефа Юнкера, «проблема каузальности представляет собой самую большую нерешенную познавательную проблему современной исторической науки»⁶. Более развернуто об этой проблеме высказался недавно французский исследователь Эрве Мазюрель: по его наблюдениям, в последние двадцать лет историки отказались от проекта дюркгеймовской социологии, нацеленной на создание социальной физики, применяющей к истории правила наук о природе, рассматривающей «социальные факты как вещи» и требующей механического объяснения причинности. «Совершенно очевидно, — констатирует Мазюрель, — что в настоящее время мы наблюдаем кризис каузализма в истории: историки теперь с недоверием относятся ко всяким претензиям на подобного рода объективизм и на превосходство по отношению к изучаемому объекту; они теперь знают, что история *de facto* относится к повествовательному жанру. Поэтому многие исторические исследования, — продолжает французский ученый, — отошли от попыток установить однозначную причинно-следственную связь, и представление о реальности в результате усложнилось, что открыло возможности для разнообразных ее описаний»⁷.

Об утрате историками в последние десятилетия интереса к причинной связи пишет и современный американский исследователь Питер Болдуин: «Причинность стали рассматривать как часть одержимости монокаузальными, редукционистскими или, по крайней мере, чересчур скупыми объяснениями, укорененными в прежней и все более старомодной парадигме социальных наук. <...> История после лингвистического поворота, и культурная история в особенности, стала гораздо больше интересоваться вопросом “что”, чем “почему”, и больше обращать внимание на сложность, чем на каузальность»⁸.

В подтверждение справедливости слов Болдуина о внимании современных историков к проблеме сложности можно сослаться на недавно вышедшую статью Джованни Леви, одного из «отцов-основателей» микроистории. По его словам, микроистория родилась «из необходимости заново овладеть всей сложностью анализа, отказавшись тем самым от схематичных и общих интерпретаций, чтобы правильно определить настоящие корни форм поведения, выбора и солидарности»⁹.

В приведенных выше высказываниях Э. Мазюреля и П. Болдуина обращает на себя внимание не только связь, которую оба ученых усматривают между «лингвистическим поворотом» и кризисом каузальности, но и акцент, который они делают на новом размежевании истории и социальных наук: описываемый ими тренд совпадает с отказом историков от «проекта дюркгеймовской социологии» (по Мазюрелю) или от «старомодной парадигмы социальных наук» (по Болдуину).

Действительно, лидеры новых направлений в исторической науке, возникших в конце XX в., решительно подчеркивали автономию своей дисциплины, ее независимость от социальных наук. Так, Линн Хант, основательница американской новой культурной истории, писала о том, что рассматривает историю «скорее как отрасль эстетики, чем как служанку социальной теории»¹⁰. А Джованни Леви, один из лидеров итальянской микроистории, предупреждал коллег об «опасностях гирцизма», т. е. негативных последствиях некритического заимствования историками идей известного антрополога К. Гирца¹¹. И как раз названные направления — новая культурная история, микроистория, к ним можно добавить также историю повседневности — продемонстрировали утрату интереса к поиску причин, сосредоточив внимание не на событиях или безличных процессах, а на поведении индивидов и их роли в происшедших общественных переменах.

Вместе с тем следует отметить неравномерный характер кризиса каузальности в современной исторической науке: стихийный отказ от пои-

ска причин, характерный для многих направлений социальной и культурной истории, отнюдь не свойственен, например, экономической истории.

Если мы хотим понять «упорство» экономических историков, продолжающих настойчиво выяснять причины изучаемых процессов и явлений, следует принять во внимание примат экономической теории в этой области исторических исследований. Так, издатели программного сборника «Новая сравнительная экономическая история» (2007) специально подчеркивают, что данная субдисциплина «вдохновляется дебатами академических экономистов и людей, принимающих решения (policymakers), а не повесткой дня, заданной историками»¹². Поэтому можно предположить, что сохраняющийся у экономических историков интерес к причинно-следственным связям продиктован задачами и установками экономической науки.

Однако, хотя современные экономические историки в отличие от своих коллег в других областях изучения прошлого не отказались от каузального анализа, знакомство с их трудами не прибавляет оптимизма в отношении поиска истинных причин поворотных событий в истории. Возьмем, к примеру, активно дебатированный в последнее время вопрос о причинах промышленной революции в Англии на рубеже XVIII — XIX вв. В частности, Кеннет Померанц, автор нашумевшей книги «Великая дивергенция» (2000), пришел к выводу, что еще в середине XVIII в. наиболее развитые районы Западной Европы и Восточной Азии (прежде всего долина Янцзы в Китае) по многим параметрам находились примерно на одном уровне, но ни один из них не мог вырваться из экономического тупика, обусловленного нехваткой земли и другими экологическими факторами, за счет собственных ресурсов. Поэтому промышленная революция представляется Померанцу не очередным этапом развития, а резким скачком, разрывом с прежним застойным состоянием. И то, что именно Британия оказалась способна совершить этот рывок, ученый склонен объяснять внешними или случайными причинами: наличием там больших залежей угля и эксплуатацией колоний, откуда доставлялись сельхозпродукты, драгоценные металлы и иные необходимые ресурсы¹³.

Другой экономический историк, Грегори Кларк, дал иное объяснение той же проблемы. В книге «Прощай, нищета!» (2007) он прежде всего подробно описал так называемую «мальтузианскую ловушку», т. е. ограничения, в течение многих веков сдерживавшие развитие экономики, когда рост населения при тогдашнем состоянии техники неизбежно

приводил к падению материального уровня жизни людей. Британская промышленная революция, позволившая вырваться из этой «ловушки», представляется Кларку во многом загадочным событием. Тем не менее, в отличие от Померанца, он не склонен объяснять ее внешними или случайными обстоятельствами. Кларк подчеркивает плавный, эволюционный характер развития, отмечая стабильный, хотя и небольшой в годовом исчислении, экономический рост в Англии в 1600–1760 и 1780–1860 гг.¹⁴ Решающую же роль в объяснении ее экономических успехов Кларк отводит культурным факторам, включая образ жизни и уровень образования, а по этим показателям Великобритания к 1800 г. значительно опережала Японию, Индию и Китай¹⁵. Пытаясь объяснить динамизм английского общества, его склонность к инновациям, ученый обращает также внимание на особенности демографических процессов: уровень рождаемости в богатых английских семьях, как и уровень нисходящей мобильности, был значительно выше, чем в китайской и японской элитах. Соответственно, в первом случае нравы и культура среднего класса гораздо глубже проникали в нижние этажи социальной иерархии. «Можно предположить, — заключает Кларк, — что преимущества Англии заключались в быстром культурном, а возможно, также и в генетическом распространении ценностей экономически успешного слоя по всему обществу в 1200–1800 гг.»¹⁶.

Наконец, свое мнение по обсуждаемым вопросам высказал недавно известный британский ученый Роберт Аллен. Отдавая должное институциональным, культурным и географическим различиям, «непосредственными причинами» (*immediate causes*) экономического неравенства между странами, он считает изменение технологии, глобализацию и экономическую политику. Более того, промышленная революция, по его мнению, стала результатом первой фазы глобализации, начавшейся в конце XV в. вместе с эпохой великих географических открытий. В этой «первой глобализации» ученый видит истоки последующего «великого расхождения»¹⁷.

Как видим, ведущие специалисты не могут прийти к консенсусу относительно причин одного из важнейших событий в мировой экономической истории: Померанц считает эти причины внешними или случайными (залежи угля в Англии, эксплуатация колоний), Кларк отдает предпочтение внутренним культурным и демографическим факторам, а Аллен подчеркивает значение глобализации. При этом все указанные причины, выдвигаемые в качестве основных теми или иными учеными, глубоко укоренены в их концепциях и вне соответствующей аргумента-

ции сразу теряют свою исключительность, занимая место в ряду возможных факторов, приведших к британской промышленной революции, который однажды может сравниться по длине с упомянутым выше рекордным списком причин падения Древнего Рима.

Таким образом, современные экономические историки, несмотря на всю их оснащенность новейшими теориями, моделями и статистическими методами, в своем поиске «истинных причин» важнейших явлений и событий сумели продвинуться не дальше, чем их коллеги, например, в традиционной политической истории, привычно рассуждающие о том, что могло подвинуть того или иного государственного деятеля к принятию рокового решения... Очевидно, существуют фундаментальные эпистемологические проблемы, мешающие историкам, независимо от периода или тематики их занятий, уверенно называть причины происходивших событий, явлений и процессов.

Эти проблемы отнюдь не новы, и некоторые из них были хорошо известны еще Джону Стюарту Миллю в 40-е гг. XIX в. Автор «Системы логики», разработавший методы индукции («каноны Милля»), нацеленные на установление причин наблюдаемых явлений в естественных (экспериментальных) науках, специально подчеркивал, что эти методы не подходят для нужд социальной науки потому, что общественная жизнь очень сложна, в ней действует множество факторов, и одно и то же явление может вызываться разными причинами; а также потому, что над людьми невозможно поставить искусственный эксперимент с научными целями¹⁸.

В наши дни о тех же трудностях рассуждает американский историк Дебора Коэн: «И как историки, которые, в конце концов, не являются рационалистами в белых халатах, работающими в лаборатории, — задает она риторический вопрос, — отделяют один фактор от другого?» «Если сходные явления имеют разные причины, — продолжает Коэн, — и если различные последствия происходят от, по-видимому, взаимосвязанных факторов, то как мы выделяем решающую переменную?»¹⁹

Долгое время историки в поиске причин возлагали особые надежды на сравнительный метод (см. выше мнение М. Блока на этот счет), но сейчас, судя по высказываниям некоторых современных компаративистов, эти надежды в значительной мере утрачены. Как напоминает Д. Коэн, проблема заключается во взаимодействии факторов, что не учитывается во многих сравнительных аргументах. Один и тот же фактор, в зависимости от контекста, может по-разному действовать в странах *А* и *Б*: в стране *А* он может иметь первостепенное значение, а в стране *Б* — почти никакого²⁰.

Таким образом, основным препятствием, с которым неизбежно сталкивается любой историк или обществовед при попытке установить причину некоего социального явления — причем неважно, в прошлом или в настоящем, — оказывается невозможность прямого контролируемого эксперимента: общественные процессы нельзя воспроизвести в лаборатории; в результате исследователь оказывается не в состоянии, по справедливому замечанию Д. Коэн, отделить один значимый фактор от другого и в конечном счете найти «истинную причину» произошедшего.

Описанная ключевая эпистемологическая проблема, общая для истории и социальных наук (ниже я вернусь к этому важному обстоятельству), имеет ряд следствий. Поскольку в распоряжении историка нет прямого эксперимента, он, в отличие от химика или физика, не может установить причины изучаемых явлений индуктивным путем, поэтому исторические объяснения по форме являются ретросказаниями, т. е. умозаключениями от следствий к их предполагаемым причинам²¹, а по своей логической природе — гипотезами, требующими серьезного обоснования²². Кроме того, будучи плодом дедукции и воображения историка, выстраиваемые им цепочки причин и следствий неизбежно носят дискурсивный характер и, как было показано выше на примере современной экономической истории, неразрывно связаны с той или иной теорией или концепцией. Научные и мировоззренческие установки автора во многом определяют выбор тех факторов, которым он отдает предпочтение в причинно-следственном анализе изучаемого события или явления.

Следует учесть и то, что историки по-разному конструируют изучаемые ими явления или события: например, одни ученые предысторию российской революции 1917 г. начинают с обстоятельств отмены крепостного права в 1861 г., другие — с восшествия на престол последнего императора, Николая II, а третьи — с событий Первой мировой войны. Понятно, что когда представления о хронологии и контексте поворотных исторических событий столь разнятся, трудно ожидать консенсуса по вопросу об их причинах!

Критикуя увлечение историков поиском причин, биолог Г.Ю. Любарский не без иронии замечает: «...историк в качестве результата своей работы должен указывать на цепь причин, которая привела к появлению данного события. Исторические школы, собственно, различаются только предпочитаемым видом причин. Одни любят причины экономические, другие — государственные, связанные с политическим развитием. Можно найти объяснения геополитические, идеологические, географиче-

ческие, этнографические... Неприятность состоит в том, что все эти объяснения верны, а все школы — правы»²³.

Мнение биолога по поводу проблемы каузальности в истории кажется мне здесь уместным не только потому, что оно, на мой взгляд, верно описывает ситуацию, но и потому, что сама эта проблема может быть правильно понята только в междисциплинарном контексте.

Сказанное выше о причинности в истории с небольшими коррективами относится и к социальным наукам. Напомню, что именно их имел в виду Д.С. Милль (особо он выделил политэкономия и только что появившуюся на свет социологию)²⁴, когда писал о невозможности применения к изучению общества методов индукции, а следовательно, и установления причин общественных явлений в естественно-научном смысле. К настоящему времени многие крупные ученые — историки, социологи, антропологи — пришли к единому мнению об отсутствии принципиальных методологических границ между их дисциплинами. Как показал французский социолог Жан-Клод Пассерон, социология, как и история, является разновидностью естественного рассуждения. «Мы не выходим за рамки естественного рассуждения, — замечает по этому поводу известный историк Антуан Про. — Просто социология предлагает более оснащенный, более строгий и, может быть, более внушительный вариант естественного рассуждения. Различие между ней и историей — это разница в степени, но не в природе»²⁵.

Но если все науки об обществе, включая историю, обладают определенным единством в методологическом отношении, то почему о кризисе каузальности говорят сейчас одни историки? На мой взгляд, это свидетельствует скорее о разной степени осознания данной проблемы в разных дисциплинах, чем о том, что историки из всех социальных наук являются самыми большими «неудачниками» на поприще поиска причин. Рискну предположить, что роль причинно-следственного анализа в той или иной дисциплине в значительной мере определяется степенью влияния на нее естественных наук. История в этом отношении занимает место где-то между антропологией, в которой, насколько я могу судить, каузальность большой роли не играет, и социологией, которая со времен Э. Дюркгейма позиционировала себя как наука, призванная открывать законы общественного развития, подобно физике или химии в царстве природы, а следовательно, нацеленная на поиск причин. Впрочем, и в социологии можно заметить некоторые признаки кризиса каузальности: в качестве примера сошлюсь на статью американского социолога Эндрю Эбботта под выразительным названием «Упадок причинности»

(Causal Devolution), в которой автор убеждает коллег в том, что каузальность, отнюдь не являясь единственной формой объяснения, в настоящее время стоит на пути дальнейшего развития социологии как дисциплины (!); в качестве альтернативы Эбботт рекомендует описание²⁶.

На мой взгляд, нынешний кризис каузальности, активно обсуждаемый историками, но заметный и в других общественных дисциплинах, связан с переосмыслением отношения социального и гуманитарного знания к методам естественных наук. Биолог Г.Ю. Любарский, чьи критические замечания о попытках историков найти причины изучаемых ими событий я уже цитировал выше, полагает, что каузальный анализ не соответствует самому предмету истории — процессу развития общества: «О развитии мы можем говорить, — пишет он, — применительно к открытым неравновесным сложным системам. С другой стороны, методология причинного анализа сформировалась при изучении совсем иных систем — замкнутых, равновесных, относительно простых. В таких простых процессах, как соударение бильярдных шаров, причина влечет за собой следствие. Такие процессы издавна изучала механика; на подобной познавательной базе была построена почти вся физика до начала XX в.»²⁷. Но применительно к процессам развития каузальный метод не работает, «...когда мы имеем дело с развивающимися системами, — продолжает Г.Ю. Любарский, — выявление цепочек причин и следствий не приводит к пониманию реальности. Явных ошибок причинный метод не дает: у причин имеются следствия, происходящее *можно описать* как процесс производства следствий причинами. Однако это описание не является достаточно полным, поскольку специфика конечного результата в чрезвычайно слабой степени зависит от специфики причины. Причинное объяснение явлений истории оказывается лишь частично адекватным историческому процессу»²⁸.

«Диагноз», который поставил каузальному анализу Г.Ю. Любарский, перекликается с приведенными выше словами Э. Мазюреля, писавшего об отказе историков от механистичной картины мира, укорененной, в частности, в дюркгеймовском проекте социологии. Но между российским биологом и французским историком есть заметные различия в оценке ситуации: если Любарский подчеркивает, так сказать, объективную сторону проблемы — несоответствие причинно-следственного анализа сложным процессам общественно-исторического развития, то Мазюрель делает акцент на особенностях самого исторического познания, в том числе на его нарративной природе, допускающей плюрализм интерпретаций. «В сознании историка, — пишет Мазюрель, — существу-

ет уже не прежний порядок, при котором одно следствие порождалось одной причиной, а релятивистский порядок отношений между взаимозависимыми явлениями, каждое из которых может объясняться множеством (и даже бесчисленным множеством) факторов»²⁹.

Но какие бы объяснения нынешнего кризиса каузальности ни предлагали те или иные ученые, ясно одно: мы являемся свидетелями масштабного мировоззренческого сдвига, сопровождающегося изменением отношений как между отдельными общественными науками (в частности, между историей и социологией), так и в целом между дисциплинами социогуманитарного и естественно-научного циклов.

В заключение я хотел бы кратко остановиться на возможных последствиях кризиса каузальности для исторической науки. Оставляя в стороне тех ученых, которые не замечают никакого кризиса и по старинке продолжают называть «причинами» свои предположения о мотивах поступков того или иного деятеля или о движущих силах некоей революции, стоит все же ожидать, что признание невозможности однозначно выстроить цепочку причинно-следственных связей вызовет некоторую тревогу у коллег, серьезно интересующихся методологическими проблемами нашей профессии. Ведь еще Марк Блок писал о том, что «историкам вряд ли удастся уйти из-под власти этого всеобщего закона мышления», каковым он считал идею причинности³⁰. Действительно, вопрос «почему» глубоко укоренен и в обыденном сознании, и в науке. Но каузальность вовсе не является единственной формой научного и, в частности, исторического объяснения.

Чаще всего историки прибегают к контекстному объяснению, полагая, что изучаемые ими события или явления были обусловлены исторической обстановкой, в которой они имели место. Формами объяснения могут выступать также рассказ и описание, на недостаточно раскрытый научный потенциал которого указал социолог Э. Эбботт в процитированной выше статье. Словом, отказ от причинности или ограничение использования этого вида анализа не будут означать потерю историей ее научных функций и вырождение в некую развлекательную беллетристику.

Как уже говорилось, в настоящее время существуют направления исследований — микроистория, история повседневности, новая культурная история и другие разновидности несобытийной истории, — сторонники которых не проявляют интереса к поиску причин и не пользуются каузальным анализом в своих работах.

Сознательный или стихийный отказ историков от поиска причин — одна из возможных исследовательских стратегий в условиях кризиса ка-

узальности. Но вполне можно представить и другие стратегии. Так, поскольку основным препятствием для установления причин в истории служит отсутствие прямого эксперимента, можно попытаться оценить роль того или иного фактора (например, влияние железных дорог на рост американской экономики или Первой мировой войны — на демографическое развитие Европы) при помощи своего рода косвенного эксперимента — контрфактического моделирования³¹. Конечно, этот прием, у которого есть как сторонники, так и немало противников, не решает в целом обсуждаемую здесь проблему каузальности, но он, несомненно, дает интересные и часто неожиданные результаты, заставляющие переосмыслить привычные представления о последствиях некоторых известных событий.

Наконец, если механическая модель причинности признается сейчас безнадежно устаревшей, нет ли возможности позаимствовать у естественных наук иную, более совершенную модель, отвечающую нынешним задачам исторических исследований? Например, биологи готовы предложить историкам разработанную в их дисциплине теорию направленного, или эквифинального, развития, которая объясняет формирование организма в соответствии с генетической программой даже вопреки действию неблагоприятных факторов³².

Какой выход из нынешнего кризиса каузальности изберут историки, прислушаются ли они к советам представителей других научных дисциплин, или предпочтут вообще обходиться без категорий причин и следствий, покажет будущее.

¹ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. Е.М. Лысенко. Изд. 2-е, доп. М., 1986. С. 112.

² Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001. С. 73.

³ Там же. С. 73–75.

⁴ Sewell W.H. Jr. Marc Bloch and the Logic of Comparative History // History and Theory. Vol. 6. 1967. No. 2. P. 209–211, 215, 217.

⁵ Цит. по: Junker D. Kausalität // Lexikon Geschichtswissenschaft: hundert Grundbegriffe / Hrsg. von Stefan Jordan. Stuttgart, 2002. S. 182.

⁶ Ibid.

⁷ Мазюрель Э. Причинная связь // Словарь историка / под ред. Н. Оффенштадта при участии Г. Дюфо и Э. Мазюреля; пер. с фр. Л.А. Пименовой. М., 2011. С. 141–142. Эту позицию можно считать типичной для современной французской историографии: практически в тех же выражениях об отходе от «каузализма, заимствованного из экспериментальных наук», пишет Франсуа Досс в недавно изданной статье, см.: Досс Ф. Как сегодня пишется история: взгляд с французской

стороны // Как мы пишем историю? / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. Пименова. М., 2013. С. 9.

⁸ *Baldwin P.* Comparing and Generalizing: Why All History Is Comparative, Yet No History Is Sociology // *Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective* / ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 18.

⁹ *Levi G.* Microhistory and the Recovery of Complexity // *Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method and Evidence* / ed. by Susanna Fellman and Marjatta Rahikainen. Newcastle upon Tyne, 2012. P. 123.

¹⁰ *Hunt L.* Introduction: History, Culture, and Text // *The New Cultural History* / ed. by Lynn Hunt. Berkeley; Los Angeles; London, 1989. P. 21.

¹¹ *Леву Д.* Опасности гирцизма // Новое литературное обозрение. 2004. № 70. С. 25–31.

¹² *Hatton T.J., O'Rourke K.H., Taylor A.M.* Introduction: The New Comparative Economic History // *The New Comparative Economic History: Essays in Honor of Jeffrey G. Williamson* / ed. by Timothy J. Hatton, Kevin H. O'Rourke, and Alan M. Taylor. Cambridge, MA, 2007. P. 2.

¹³ *Pomeranz K.* The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton and Oxford, 2000.

¹⁴ *Кларк Г.* Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира / пер. с англ. Н. Эдельмана. М., 2012. С. 326–327, 337.

¹⁵ Там же. С. 364–370.

¹⁶ Там же. С. 375.

¹⁷ *Allen R.* Global Economic History. A Very Short Introduction. Oxford & New York, 2011. P. 16.

¹⁸ *Милль Д.С.* Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательств в связи с методами научного исследования / пер. с англ. под ред. В. Н. Ивановского. Изд. 5-е. М., 2011. С. 356, 653–658.

¹⁹ *Cohen D.* Comparative History: Buyer Beware // *Comparison and History. Europe in Cross-National Perspective* / Ed. by Deborah Cohen and Maura O'Connor. New York; London, 2004. P. 62.

²⁰ *Ibid.* P. 63.

²¹ О ретросказании см.: *Про А.* Двенадцать уроков по истории / пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. М., 2000. С. 178–179.

²² Хорошим примером гипотетико-дедуктивного изложения причин революции 1917 г. с их последующей эмпирической проверкой является недавно опубликованная статья Б.Н. Миронова, см.: *Миронов Б.Н.* Междисциплинарный подход в изучении русской революции 1917 г. // «Стены и мосты» — II: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: материалы междунар. науч. конф., Москва, РГГУ, 13–14 июня 2013 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова. М., 2014. С. 46–63.

²³ *Любарский Г.Ю.* Морфология истории: сравнительный метод и историческое развитие. М., 2000. С. 18–19.

²⁴ *Милль Д.С.* Система логики... С. 665–667, 669–671.

²⁵ *Про А.* Двенадцать уроков по истории. С. 214 (см. там же ссылку на книгу Ж.-К. Пассерона «Социологическое рассуждение»).

²⁶ *Abbott A.* The Causal Devolution // *Sociological Methods and Research*. Vol. 27. No. 2 (November 1998). P. 148–181.

²⁷ *Любарский Г. Ю.* Морфология истории... С. 19.

²⁸ Там же. С. 21.

²⁹ *Мазурель Э.* Причинная связь. С. 142.

³⁰ *Блок М.* Апология истории... С. 108.

³¹ О контрфактической истории см. подробнее: *Про А.* Двенадцать уроков по истории. С. 180–182; *Оффенштадт Н.* Контрфактическая история // *Словарь историка* / под ред. Н. Оффенштадта при участии Г. Дюфо и Э. Мазуреля; пер. с фр. Л.А. Пименовой. М., 2011. С. 82–83.

³² *Любарский Г. Ю.* Морфология истории... С. 19–21.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ: ПРОТИВ И ЗА

Миронов Борис Николаевич

Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский институт истории РАН,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья содержит анализ возможности и целесообразности применения концепции географического детерминизма к объяснению российской истории.

Ключевые слова: географический детерминизм, географическая среда и ее воздействие на общественное развитие, история России XVI — начала XX в.

Исследование роли географического фактора является важнейшей темой русской историко-культурологической мысли¹. Авторы, занимающихся данной проблемой, можно разделить на три группы. *Первые* — географические детерминисты, отводят географическому фактору решающую роль в развитии общества, *вторые* — более или менее значительную, а главную и определяющую роль — социально-экономическим факторам, *третьи* — географические индетерминисты, отрицают сколько-нибудь заметное влияние географического фактора на развитие социума².

Гипотеза Р. Пайпса—Л.В. Милова

Среди современных географических детерминистов заметное место занимает известный американский историк Ричард Пайпс, который, насколько мне известно, первым среди историков обосновал эту концепцию применительно к России в своей книге «Россия при старом режиме», опубликованной на английском в 1976 г. и на русском языке тремя изданиями — в 1980, 1981 и 1993 гг.³ Книга открывается главой, которая так и называется «Природные и социальные условия и их последствия». По мнению автора, природные условия в ойкумене Русского государства в эпоху его становления были крайне неудовлетворительными и хуже, чем даже в Канаде, находившейся на той же широте. Плохие почвы, ненадежные осадки и «чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая» (западноевропейский крестьянин имел на 50–100% больше времени на полевые работы, чем

русский) обусловили самую низкую в Европе урожайность вплоть до начал XX в. Между тем в стране с достаточно низкой урожайностью невозможны высокоразвитая промышленность, торговля и транспорт и сама цивилизация, которая «начинается лишь тогда, когда посейное зерно воспроизводит себя по меньшей мере пятикратно; именно этот минимум определяет, может ли значительная часть населения освободиться от необходимости производить продукты питания и обратиться к другим занятиям». Пайпс отмечает следующие принципиальные социальные и политические последствия, порожденные географической средой.

1) Географические условия благоприятствовали коллективному характеру земледелия, способствовали развитию большой семьи и крестьянской передельной общине, парализовали стимулы к росту производительности труда и развитию частной собственности на землю. В этом же направлении действовали правительство, помещики и экономические факторы.

2) «Экстенсивный, крайне расточительный характер русского земледелия и вечная потребность в новых землях вместо полей, истощенных непомерной вспашкой и скудным унавоживанием, бесконечно гнали русских вперед», делая непрерывную внешнюю экспансию необходимой для выживания.

3) Жизненно важная для народно-хозяйственного благополучия России колонизация требовала «высокоэффективной военной и, соответственно, политической организации». Но реализовать эту потребность было нельзя уже только потому, что «огромные расстояния и климат, отмеченный суровыми зимами и вешними паводками делали создание в России постоянной дорожной сети невозможным».

4) «Коренное несоответствие между возможностями страны и ее потребностями» было разрешено оригинальным способом, и в этом способе — «ключ к пониманию политического развития России. Государство не выросло из общества, не было оно ему и навязано сверху. Ставшая во главе страны Московско-Владимирская княжеская династия перенесла учреждения и порядки, первоначально выработанные ею в замкнутом мире своего *oikos*'а, на все государство в целом, превратив Россию в гигантское княжеское поместье», или вотчинное государство. «В своей крайней форме, “султанизме”, она предполагает собственность на всю землю и полное господство над населением. При вотчинном режиме экономический элемент, так сказать, поглощает политический».

У Р. Пайпса нашлись последователи; в России его горячо поддержал Л.В. Милов, правда, не ссылаясь на него. Точку зрения Милова можно резюмировать следующим образом. «Тяжелые, суровые природно-климатические условия России», в особенности в ее ойкумене — Нечерноземном центре, оказали решающее влияние на развитие не только экономики, но также и российского государства и общества. Низкая агротехническая культура, небольшие запашки, низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве (в переводе на годовое изменение) вызывались низким естественным плодородием почвы, а главное — недостатком рабочего времени, так как русский климат позволял выполнять сельскохозяйственные работы лишь в течение 5 месяцев (с начала мая по начало октября — по григорианскому календарю), в то время как на западе Европы нерабочими были только декабрь и январь. При данном бюджете рабочего времени качество его земледелия нередко бывало таким, что он не всегда мог вернуть в урожай даже семена. «Следствием этого была невысокая агрикультура, низкая урожайность и низкий, в конечном счете, объем совокупного прибавочного продукта общества вплоть до эпохи механизации и машинизации этого вида труда». Практически это означало для крестьянина неизбежность труда буквально без сна и отдыха, труда днем и ночью, с использованием всех резервов семьи (труда детей и стариков, на мужских работах женщин и т. д.). При малоодоходном, неустойчивом и рискованном хозяйстве можно было выжить только при условии солидарности крестьянства: «индивидуальное крестьянское хозяйство не могло достигнуть необходимого уровня концентрации трудовых усилий в объективно существовавшие здесь сроки сельскохозяйственных работ». Отсюда возникли общинные формы жизни, поскольку община обеспечивала взаимную поддержку, помогала бедным и т. п., а развитие института частной собственности на землю задержалось. Поскольку страна была аграрной, то и низкий объем совокупного прибавочного продукта имел тот же источник. Для изъятия небольшого прибавочного продукта у производителей с целью перераспределения его в интересах всего общества, а также для регулирования социальных и экономических отношений потребовалось установить режим крепостничества, а чтобы этот режим поддерживать, необходимо было сильное государство. Таким образом, объем совокупного прибавочного продукта общества в России был всегда значительно меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в Западной Европе. Эта объективная закономерность объясняет выдающуюся роль государства в истории нашей страны⁴.

При наличии принципиального единства, между схемами Пайпса и Милова есть и некоторые отличия. Во-первых, Пайпс полагает, что низкой «урожайности в общем-то хватало, чтобы прокормиться. Представление о русском крестьянине как о несчастном создании; извечно стонущем под гнетом и гнущим спину, чтобы обеспечить себе самое жалкое существование, просто несостоятельно. <...> Беда русского земледелия была не в том, что оно не могло прокормить хлебороба, а в том, что оно было никак не в состоянии произвести порядочных излишков. Тот факт, что и помещик, и крестьянин между серединой XVIII и серединой XIX в. были относительно зажиточны, в немалой степени был результатом существования этой (кустарной. — Б.М.) промышленности». Милов же утверждает, что низкие урожаи приводили к постоянному недоеданию — вплоть до начала XX в.

Во-вторых, по мнению Пайпса, «в низкой производительности российских полей нельзя винить один лишь климат. Скандинавия, несмотря на свое северное расположение, уже к XVIII в. добилась урожайности в 1:6, тогда как прибалтийские области Российской империи, находившиеся в руках немецких баронов, в первой половине XIX в. приносили от 4,3 до 5,1 зерна на одно посеянное, то есть давали урожай, при котором возможно накопление излишков». Следует учитывать социальные, экономические и политические факторы. Милов твердо держит точки зрения, что главный фактор — география.

В-третьих, Пайпс общественную необходимость в сильном государстве и крепостном праве выводит из потребности в колонизации для выживания страны, а Милов — из необходимости извлекать прибавочную собственность и эксплуатировать крестьянство. Схема Милова, по сути, — марксистская, поскольку у него уровень развития производительных сил, или базис, определяет надстройку — государство и институты, а эксплуатация государством и помещиками крестьянства и классовая борьба между ними является движущей силой общественного развития. От классической марксистской концепции Милов отходит только в одном — производительные силы, которые все определяют, ставит в зависимость от природно-климатических условий, т. е. превращает географию из условия производства, как в классическом марксизме, в главный фактор. Тем самым он делает шаг назад даже от марксизма, отводящего, как бы то ни было, решающую роль в истории массам, человеческому фактору, а не внешним силам природы. Основа у схем Милова и Пайпса одна и та же — суровая природа (многие цифры, относящиеся к климату и урожайности, у обоих авторов совпадают), но Пайпс

все-таки не считает роль географии всеопределяющей. Милов же полагает, что история России, народа и построенной им огромной страны на протяжении столетий определялись в первую голову климатом; остальные факторы при этом даже не рассматриваются, поскольку также обусловлены климатом. Милов является географическим детерминистом в чистом, так сказать, виде. Именно поэтому он сосредоточился на доказательстве суровости климата, низкой урожайности и анализе сельскохозяйственной агротехники, в то время как Пайпс — на политических последствиях существования вотчинного государства, возникшего под влиянием суровой природно-климатической среды. При этом в работах Милова нет ни одной ссылки на предшественника.

Построения Пайпса—Милова нашли понимание у некоторых российских историков, но особенно среди читающей публики: на географию как на роковой фактор в истории страны стало модно ссылаться⁵. Правда, в России все лавры достались Л.В. Милову, а Р. Пайпса даже не упоминают. Но нашлось и немало критиков. Например, справедливой и аргументированной критике подверг географический детерминизм применительно к России М.А. Давыдов⁶.

Проверка гипотезы о недостатке рабочего времени

Фундаментом гипотезы являются два положения: а) суровость климата, вследствие чего урожайность низка, а прибавочная стоимость мала, б) чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая, из-за чего времени для надлежащего выполнения сельскохозяйственных работ было недостаточно. Из этих положений чисто дедуктивно, а точнее, спекулятивно, выводятся экономические, социальные, политические и психологические последствия: бедность, хроническое голодание и экономическая отсталость; предпочтение коллективных форм труда и собственности, большие семьи, передельная сельская община; суровое крепостничество и экстремальное самодержавие; специфическая трудовая этика, религиозность и т. д. и т. п. Соответственно верификация гипотезы будет осуществляться в два этапа: сначала проверим достоверность утверждений о дефективности климата, затем доказательность выведенных из него социальных следствий.

Проверку гипотезы проведем на массовых статистических данных по 50 губерниям Европейской России о климате, возможной продолжительности полевых работ, естественном плодородии почвы, эффективности земледелия, степени распространения крепостного права и передельной общины, уровне жизни населения. Степень связи между клима-

том и возможной продолжительностью полевых работ, а также между климатом и социально-экономическими показателями губерний оценен с помощью корреляционного анализа⁷. Парный коэффициент корреляции Пирсона (r), принимающий абсолютные значения от 0 до 1, ответит на интересующий нас вопрос — как сильно влиял климат на продолжительность полевых работ и на социально-экономические особенности губерний, а знак при коэффициенте покажет направление зависимости между переменными — минус говорит об обратной, а плюс — о прямой зависимости. Поясню, как получены данные о возможной продолжительности полевых работ и климате.

Возможная продолжительность полевых работ — суть число рабочих дней в году, которые теоретически может иметь земледелец в зависимости от климата данной местности. Используемые мною данные относятся к концу XIX в. и получены по результатам анкетного опроса земледельцев в 1896 г. В этом году в ходе массового опроса 6,5 тыс. добровольных корреспондентов были собраны фенологические сведения о времени и ходе посева и уборки полевых растений в связи с метеорологическими условиями, позволяющие получить объективное представление о длительности вегетационного периода и продолжительности полевых работ практически в каждом уезде Европейской России и царстве Польском.

Климат оценивается с помощью среднегодовой температуры воздуха, поскольку именно от нее зависит длительность вегетационного периода. Соответствующие сведения имеются на конец XIX в. по инструментальным наблюдениям в России. Но можно ли данные о климате и тесно связанной с ним возможной продолжительности полевых работ, относящиеся к концу XIX в., распространить на конец XVIII в. (сведения Л.В. Милова относятся именно к 1780—1790-м гг.) и на более раннее время? Это зависит от того, как изменился климат в XIX в., ибо вегетационный период данного места обуславливается температурным режимом, который, в свою очередь, определяет возможную продолжительность полевых работ. Период с XIV в. до середины XIX в. (по мнению других, с XVII в. до середины XIX в.) в научной литературе называется *малым ледниковым периодом*, когда происходило глобальное относительное похолодание сравнительно с VIII — XIII вв., периодом *малого климатического оптимума*. Малый ледниковый период является самым холодным по среднегодовым температурам за последние две тысячи лет. Из-за недостатка надежных метеорологических данных точное время его начала и окончания не может быть датировано совершенно определенно —

период инструментальных наблюдений начался в последней четверти XIX в. Большинство специалистов полагают, что малый ледниковый период продолжался с XIV в. до середины XIX в., а с конца XIX в. началось глобальное потепление, захватившее, естественно, и Россию⁸ и продолжающееся до настоящего времени. Сведения Милова приходится преимущественно на 1780—1790 гг., и он распространяет их на три предшествующих столетия, XVI — XVIII вв. Конец XIX в. является переходным моментом от малого ледникового периода к новому потеплению, т. е. низшей или близкой к низшей точке малого ледникового периода. Поэтому продолжительность вегетации по сведениям опроса 1896 г. не может быть больше, чем в XVI — XVIII вв. Следовательно, на данные 1896 г. можно уверенно полагаться — период года, в который возможны рост и развитие (вегетация) растений в XVI — XVIII вв. был, скорее всего, длиннее, чем в конце XIX в., соответственно возможная продолжительность полевых работ была выше и уж во всяком случае не ниже.

Дефекты климата и его влияние на сельское хозяйство

По расчетам Л. В. Милова, климат позволял российскому крестьянину в Нечерноземном центре иметь не более 100 рабочих дней в году на все полеводство, включая сенокос, поэтому и фактические затраты труда находились в интервале от 70 до 100 человеко-дней при 30—50 конеднях⁹. Если данные о фактических трудовых затратах заслуживают доверия (кстати, они совпадают со сведениями за XIX — начало XX в.), то данные о возможной продолжительности работ, постулированные Миловым, вызывают серьезные сомнения.

Проведенный анализ не подтверждает предположение о недостатке рабочего времени. Как следует из собранных данных, в 1896 г. вегетационный период, если судить по картофелю, продолжался дольше, чем полагали Р. Пайпс и Л. В. Миллов, в нечерноземной полосе — 122 дня, в черноземной — 135 дней. Если ориентироваться на средние многолетние температуры, то еще дольше.

При потребности в 100 рабочих днях, в великороссийских нечерноземных губерниях имелось 158 дней, значит, существовал запас времени на случай непогоды и других чрезвычайных обстоятельств, в том числе и для отдыха и праздников, которых весной и летом имелось немало. Таким образом, напряжение труда в страдную пору, безусловно, наблюдалось, особенно сравнительно с зимой и осенью, но не до такой степени, как полагают Р. Пайпс и Л. В. Миллов.

После выполнения необходимых сельскохозяйственных работ у русских крестьян оставалось много времени для промысловых занятий. Поэтому бóльшая возможная продолжительность полевых работ не давала никакого серьезного преимущества западным крестьянам: они все равно должны были произвести все работы в определенный срок, обусловленный временем, необходимым для развития растения. Чем короче вегетационный период, тем больше срочного труда требовалось в единицу времени и тем производительнее был труд земледельца; чем длиннее вегетационный период, тем меньше срочного труда требовалось в единицу времени и тем менее производительным был труд земледельца. Если русские крестьяне производили сельскохозяйственные работы за более короткое время, чем их западные коллеги, то это говорит о том, что они умели интенсивно работать. Более высокие урожаи на Западе в XVI — XVIII вв. обуславливались главным образом недостатком земли, большим спросом на зерно, буржуазной трудовой этикой, использованием удобрения, лучшей, чем в России, агротехникой, а не избытком времени для выполнения сельскохозяйственных работ.

Кто виноват: климат или институты?

Теперь верифицируем предположение Л.В. Милова о решающем влиянии климата на результаты хозяйственной деятельности и социальные институты. Поскольку автор *pretendует на открытие глобальной закономерности*, то, если она верна, мы должны найти ее проявление в российской действительности второй половины XIX в., когда сельское хозяйство оставалось в основном на доиндустриальной стадии. Российская империя представляет хороший полигон для проверки гипотезы благодаря своей обширности, разнообразию природных зон, земельных и климатических ресурсов, наличию губерний и регионов с разными культурами и институтами. Климат в разных регионах существенно различался, соответственно и продолжительность вегетационного периода и возможного времени для полевых работ. Естественное плодородие почв, урожайность, доходность земледелия и уровень жизни также сильно варьировали по губерниям и регионам. Социальные институты, стандарты поведения и трудовая этика также имели региональные особенности. В великороссийских губерниях широкое распространение получила передельная община, в украинских, белорусских и литовских — подворная, в Прибалтике — не было ни той, ни другой. Степень распространения частновладельческого крепостного права также сильно варьировала между губерниями и регионами — на Севере, в Приуралье и Нижне-

волжском регионах оно мало привилось, зато в Прибалтике, Белоруссии и Правобережной Украине практиковалось весьма широко. Если гипотеза Милова верна и климат служил решающим фактором, то межгубернская вариация урожайности, доходов, уровня жизни, степени развития передельной общины и крепостничества должна находиться в зависимости от климата и его прямого следствия — возможной продолжительности рабочего времени, которая являлась специфической в каждом регионе. Другими словами, географическая вариация социально-экономических последствий климата (которые постулируются Пайпсом и Миловым) должна определяться климатом и рабочим временем.

Для проверки второй части гипотезы нам нужны дополнительно массовые статистические сведения по 50 губерниям Европейской России о естественном плодородии почвы, эффективности земледелия, степени распространения крепостного права и передельной общины, уровне жизни населения.

Естественное плодородие российских почв было измерено российскими учеными в 1930-е гг. Оно оценивалось величиной продукция стандартного набора сельскохозяйственных продуктов со 100 га пашни (тонн, при трехпольном севообороте без применения удобрения)¹⁰. Эти данные, полученные в ходе исторических экспериментов, имитировавших земледелие в тот период, когда применялось трехполье и не использовались удобрения, также могут быть распространены на XVII — XVIII вв.

Эффективность земледелия определим с помощью двух показателей — средней урожайностью (данные имеются за столетие, конец XVIII — начало XX в.) и доходностью десятины крестьянской наделенной земли, вычисленной по сведениям за 1883—1900 гг.

Распространенность передельной общины показывает доля общинного землевладения среди крестьян в губерниях. Первые по времени массовые сведения относятся к 1877 г. Но поскольку в Европейской России после полного завершения перехода к общинному землевладению, на рубеже XVIII—XIX вв., эта доля не претерпела сколько-нибудь существенных изменений¹¹, собранная информация вполне пригодна для анализа.

Распространенность крепостного права отражает доля помещичьих и удельных крестьян (частновладельческих) в губерниях на 1858 г.

В качестве показателя *уровня жизни* используем средний рост (длину тела) новобранцев, призванных в армию в 1874—1881 гг.¹²

Результаты корреляционного анализа подтвердили закономерности, установленные биологами и географами о наличии тесной связи между температурой воздуха и продолжительностью периода, когда возможны рост и развитие (вегетация) растений, а также между температурой и возможной продолжительностью полевых работ: коэффициенты корреляции (r) оказались высокими — соответственно $r = 0,86$ и $r = 0,78$. Однако анализ не подтвердил гипотезу Пайпса–Милова о решающем влиянии климата на результаты хозяйственной деятельности и социальные институты. При этом, собственно, температура воздуха в губернии играла меньшую роль, чем обуславливаемая ею возможная продолжительность полевых работ (табл. 1).

Таблица 1

Коэффициенты парной корреляции между показателями климата, развития сельского хозяйства и уровнем жизни (по губернским данным)

Переменные	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Среднегодовая температура	1,00	0,96	0,92	0,27	-0,28	-0,49	0,35	0,55	-0,61
2. Вегетационный период	0,96	1,00	0,95	0,13	-0,30	-0,40	0,29	0,48	-0,72
3. Продолжительность полевых работ	0,92	0,95	1,00	0,29	-0,08	-0,60	0,42	0,51	-0,58
4. Доходность десятины крестьянской надельной земли*	0,27	0,13	0,29	1,00	0,48	-0,59	0,58	0,14	0,38
5. Урожайность	-0,28	-0,30	-0,08	0,48	1,00	-0,44	0,56	0,33	0,49
6. Доля общинного землевладения	-0,49	-0,40	-0,60	-0,59	-0,44	1,00	-0,61	-0,48	-0,12
7. Доля частновладельческих крестьян	0,35	0,29	0,42	0,58	0,56	-0,61	1,00	0,33	-0,04
8. Средний рост новобранцев	0,55	0,48	0,51	0,14	0,33	-0,48	0,33	1,00	-0,22
9. Естественное плодородие почвы	-0,61	-0,72	-0,58	0,38	0,49	-0,12	-0,04	-0,22	1,00

Примечание: Полужирным выделены статистически значимые коэффициенты.

Хроническое голодание и жизнь на грани выживания?

Тезис о хроническом недоедании, от которого якобы страдали российские жители и из которого выводится склонность к солидарности и общинным формам жизни, также не состоятелен. По утверждению Л.В. Милова, крестьянин в конце XVIII в. в среднем мог потреблять от 1700 до 2100 ккал в сутки, а если бы не кормил зерном скот, то — 2400 ккал¹³. Эти данные не соответствуют физиологической норме. В конце XIX — начале XX в. суточная потребность в энергии у взрослого мужчины в возрасте 18–60 лет весом 65–70 кг при полном покое оценивалась в 1800 ккал, при относительном покое — 2300 ккал, при легком труде — 2500 ккал, при умеренном — 3500, при тяжелом — 4000, при очень тяжелом труде — 4500 ккал¹⁴. В середине XIX в. нормальный трудовой день у трудящихся, например у рабочих, продолжался 11–13 часов и был связан с физической работой, слабо обеспеченной механизацией¹⁵. Поэтому суточная норма, покрывающая потребность в энергии мужчины, занятого тяжелым физическим трудом, составляла не менее 4000 ккал. В году число рабочих дней, когда требовалось сильное напряжение, не превышало 290¹⁶, в остальные, праздничные и выходные дни предполагаем умеренный труд, когда потребность в энергии составляла около 3500 ккал. Отсюда следует: среднегодовая суточная потребность *работающего мужчины* равнялась около 4000 ккал, значит, трудящийся человек, рабочий или крестьянин должен был потреблять такое количество продуктов, которое обеспечивало его этой энергией для совершения тяжелой физической работы в течение рабочего дня круглый год. Известный эксперт по питанию начала XX в. С.А. Клепиков определяет *фактическую* калорийность питания *взрослого* крестьянина-мужчины в 4501 ккал¹⁷.

Массовые сведения о питании крестьянства относятся к 1896–1915 гг. Они собраны в 13 губерниях Европейской России экспедиционным или анкетным методами в ходе бюджетных обследований 7381 хозяйства. Согласно собранным данным крестьяне в целом получали в день 2952 ккал на душу (включая детей, стариков и женщин), в переводе на взрослого мужчину — 4133 ккал, что являлось достаточным для совершения тяжелой физической работы в течение дня *круглый* год¹⁸. Как видим, потребление по расчету Л.В. Милова (1700–2100 ккал) обеспечивало суточную физиологическую потребность в энергии у взрослого работника (4000 ккал) лишь на 43–53%, т. е. лишь наполовину. Автор не объясняет, к кому конкретно относится полученная им норма потребления — к работникам, мужчинам или ко всему населению. Если ко всему населению, то на взрослого мужчину придется от 2380 до 2940 ккал, и тогда дефицит

калорий уменьшится с 50% до 26–40%. По биологическим законам невозможно, чтобы в течение нескольких столетий народ хронически и значительно — на 26–50% — потреблял меньше, чем требует физиологическая норма. Подобное голодание может продолжаться не более года, после чего, вследствие недостаточного потребления энергии, происходит снижение массы тела. Потери массы тела в пределах 45–50% от первоначального веса — не совместимы с жизнью¹⁹. При многовековом полуголодном существовании российский народ просто вымер бы, а не колонизовал или завоевал 21 млн кв. км территории. Важнейшая причина недооценки Миловым уровня сельскохозяйственного производства в России состоит в том, расчеты урожайности на конец XVII — первую половину XIX в. он основывал на официальной урожайности статистике, которая существенно, как минимум на 20–30%, занижала истинные размеры сбора хлебов²⁰.

Роль географической среды в российской истории

Проведенный анализ приводит к выводу: географическая среда оказывала некоторое, в некоторых случаях важное, но не решающее влияние на развитие социума, которое следует учитывать, принимая во внимание два обстоятельства. Во-первых, влияние одного и того же природного фактора на разные общества (и на одно и то же общество в разные эпохи) может вызывать разные реакции в зависимости от уровня их развития, исторического момента и ряда других обстоятельств. Чем примитивнее социум, тем больше значение географического фактора, чем развитее, тем меньше; с развитием производительных сил роль природной среды уменьшается²¹.

Во-вторых, географический фактор не сводится к климату; он имеет другие важные составляющие — местоположение страны, ее континентальность, развитость речной системы, близость морей и океанов, почвы, минеральные и водные ресурсы, растительный и животный мир и др. Но и климат имеет важную составляющую, не сводимую к средней температуре или средней величине осадков, — климатические колебания, обеспечивающие ритм и частоту урожаев и неурожаев, а вековые изменения климата — и их уровень. Анализ сопряженности колебаний с температурой и осадками в XVIII — XIX вв. обнаружил между ними заметную связь. Например, последняя треть XVIII в. отмечена падением урожайности в основных земледельческих районах примерно с сам-4,4 до сам-3,3 или на треть.

Итак, гипотезу Пайпса—Милова о якобы роковых последствиях якобы суровой российской природы для России в доиндустриальную эпоху

о трагических последствиях природно-климатических особенностей российской природы следует признать несостоятельными. В гипотезе проявляется откровенный географический детерминизм, дефектность которого давно доказана многочисленными фундаментальными исследованиями, проведенными во всем мире. Исторический опыт России также опровергает гипотезу: в XVI — начале XX в. страна имела значительные, а иногда и выдающиеся успехи на всех поприщах, которые не могли быть достигнуты народом, влачившим полуголодное существование, в условиях неконкурентоспособной среды. Список этих успехов очень длинный. Достаточно сказать, что в XVI — первой половине XIX в. российский народ колонизовал или завоевал около 20 млн кв. км территории; в 1861—1913 гг. страна занимала одно из первых мест в Европе по темпам роста промышленности и ВВП. Относительная отсталость России по сравнению с Западом постепенно преодолевалась, иногда с большим, иногда с меньшим успехом. Но в этом отставании доля природы относительно мала, решающее значение имели институты, а также геополитические, культурные, социальные, экономические факторы.

¹ Подробно см.: *Банных С.Г.* 1) Географический детерминизм от Льва Мечникова до Льва Гумилева. Екатеринбург, 1997; 2) *Космос—природа—общество: (Русская философия о природной детерминации общественных процессов)*. Екатеринбург, 2002; *Файбусович Э.Л.* Современная парадигма и развитие новых направлений социально-экономической географии: автореф. ... д. геогр. наук. СПб., 1997; *Федоров М.Г.* Русская прогрессивная мысль XIX в. от географического детерминизма к историческому материализму. Новосибирск, 1972; *Шкуронат С.Г.* Географический фактор в культурологических концепциях конца XIX — начала XX в.: дис. ... канд. культурологии. СПб., 2004.

² В монографии и в еще большей степени в докторской диссертации Мыглан подробно рассмотрел историографию проблемы в отечественной и зарубежной науке: *Мыглан В.С.* 1) Историко-культурные процессы в Сибири в контексте климатических изменений по данным археологии, дендрохронологии и истории (XVII — XIX вв.): дис. ... д. и. н. Красноярск, 2012. Глава I «Изученность вопроса в работах предшественников». См. также: *Мыглан В.С.* Климат и социум Сибири в малый ледниковый период. Красноярск, 2010.

³ *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993.

⁴ *Милов Л.В.* 1) Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории. 1992. № 4—5; 2) Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. С. 3—30, 554—572.

⁵ *Павленко Н.И.* Петр Великий. М., 1990. С. 40; *Олейников Ю.В.* Природные факторы хозяйственно-экономической деятельности // Свободная мысль. 2002. № 11 (1525). С. 37—52. Отметим некоторые современные исследования, в которых

отмечается важность географического фактора в истории России: *Аврех А.Л., Канищев В.В.* Естественно-исторические условия модернизации аграрного общества: Тамбовская губерния, XIX — XX вв. Некоторые итоги и проблемы изучения // Социальная история российской провинции в контексте модернизации аграрного общества в XVII — XX вв. Материалы международной конференции. Май 2002 / В.В. Канищев (ред.). Тамбов, 2002. С. 3—16; *Канищев В.В.* Хозяйственная деятельность В.И. Вернадского в контексте экологической ситуации в Тамбовской губернии в конце XIX — начале XX в. // В.И. Вернадский и Тамбовский край / Н.И. Пономарев (ред.). М., 2002. С. 42—74 (автор полагает, что даже в конце XIX в. примитивное сельскохозяйственное производство крестьян почти полностью зависело от природных явлений); *Никитин Н.И.* Традиционная практика природопользования и экологические аспекты народной культуры // Традиционный опыт природопользования в России / Л.В. Данилова, А.К. Соколов (ред.). М., 1998. С. 335—355; *Петухов С.А.* Динамика основания монастырей в Европе и России XI — середины XIX века и солнечные циклы // История и математика: Процессы и модели. С. 15—32 (автор доказывает существование достоверной корреляции между временем основания монастырей в Европе и солнечной активностью: последняя влияет на геофизику Земли и, в частности, связана с климатическими циклами, которые, в свою очередь, влияют на аграрную экономику); *Kort M.* The Soviet Colossus: History and Aftermath. 7th ed. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 2010; и др.

⁶ *Давыдов М.А.* Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX в. и железнодорожная статистика. СПб., 2010. С. 310—350.

⁷ О корреляции см.: *Миронов Б.Н.* История и математика: Математические методы в историческом исследовании. Л., 1975. С. 90—157; Количественные методы в исторических исследованиях / И.Д. Ковальченко (ред.). М., 1984. С. 136—176; 93—100; *Blalock H.M. Jr.* Social Statistics. 2nd ed. New York et al.: McGraw-Hill Book Company, 1972. P. 389—393.

⁸ *Хромов С.П., Петросяниц М.А.* Метеорология и климатология. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 553—554.

⁹ *Милов Л.В.* Русский пахарь... С. 208, 313. В черноземных губерниях возможная продолжительность полевых работ была больше, при этом затраты труда были существенно ниже: Там же. С. 206.

¹⁰ Данные имеются только для больших регионов с однородными почвенно-климатическими условиями и потому являются сугубо ориентировочными.

¹¹ Да и в XVIII в. доля общинного землевладения мало изменилась.

¹² О возможности использовать антропометрические данные для оценки уровня жизни см.: *Миронов Б.Н.* Благосостояние населения и революции в имперской России. 2-е изд. М., 2012. С. 72—95.

¹³ *Милов Л.В.* Великорусский пахарь... С. 388—389.

¹⁴ *Кабо Р.М.* Потребление городского населения России (по данным бюджетных и выборочных исследований). М., 1918. С. 20—22; *Клепиков С.А.* Питание русского крестьянства. Ч. 1. Нормы потребления главнейших пищевых продуктов. М., 1920. С. 13—15; *Словцов Б.И.* Пищевые раскладки. 2-е изд. СПб., 1919. С. 6—7; Состояние питания городского населения СССР 1919—1924 гг. М., 1926. С. 8, 9, 25.

¹⁵ *Дементьев Е.М.* Фабрика, что она дает населению и что она у него берет. М., 1897. С. 93; *Янжул И.И.* Фабричный быт Псковской губернии. СПб., 1884. С. 40–41; *Копанев А.И.* Население Петербурга в первой половине XIX в. М.; Л., 1957. С. 64, 66.

¹⁶ *Дементьев Е.М.* Фабрика. С. 60, 106–107; *Янжул И.И.* Фабричный быт. С. 49–50.

¹⁷ *Клепиков С.А.* Питание русского крестьянства. Ч. 1. Нормы потребления главнейших пищевых продуктов. М., 1920. Ч. 1. С. 12.

¹⁸ *Клепиков С.А.* Питание русского крестьянства. Ч. 1. С. 27, 35, 37.

¹⁹ *Общая и военная гигиена* // Б.И. Жолус (ред.). СПб., 1997. С. 211, 214, 259.

²⁰ *Миронов Б.Н.* Благополучие населения... С. 220–232.

²¹ *Гринин Л.Е.* Природный фактор в аспекте теории истории // *Философия и общество*. 2011. № 2. С. 171.

ЗА СТЕНАМИ АКАДЕМИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНЫЕ В МЕДИЙНОЙ СРЕДЕ¹

Савельева Ирина Максимовна
НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва

***Аннотация:** В данной статье внимание сосредоточено на анализе условий бытования публичных ученых-гуманитариев, чьим основным местом работы остается университет (Академия), в медиасреде. В статье анализируются причины резкой активизации публичной деятельности академических ученых в последние десятилетия и характеристики медиасреды, в которой действуют не академические правила презентации научного знания и оценки профессионального успеха.*

***Ключевые слова:** публичная наука, научное знание, университет, медиа, популярное знание, медийные звезды, публика, профессиональные конвенции, символический капитал.*

Уже почти полвека существует феномен «public humanities», — область, в которой академические ученые взаимодействуют с общественностью в самых разных форматах: просветительских и практических. Действуя на этой ниве, ученые явно или неявно бросают вызов корпоративному этосу академической профессии в пользу более открытого модуса сотрудничества с обществом². В то же время, как признают многие исследователи и наблюдатели, происходящая активизация публичной деятельности ученых свидетельствует об утрате монополии на производство знания, об «уравнивании» с публицистами, журналистами, представителями общественных групп, организаторами интерактивных форм познавательного отдыха и др.³

В каждой дисциплинарной области публичность проявляется по-своему, отличаясь не только формами работы с публикой, но часто даже целеполаганием. Так, например, публичная философия отвечает на ключевые мировоззренческие вопросы в свете современных философских доктрин, публичная социология объясняет природу социальных проблем и помогает людям в выработке конструктивных преобразовательных и приспособительных стратегий, публичное (превентивное) право претендует на то, чтобы стать более доступным для публики, публичная этнология направлена на предотвращение этнических конфлик-

тов, а публичная история удовлетворяет интерес к прошлому на уровне современных научных знаний и обеспечивает групповую идентификацию. Во всех случаях речь идет о растущей массовой потребности в научном знании и готовности ученых представлять его в доступной форме. В последние десятилетия в числе профессиональных ученых, которые активно репрезентируют себя на публичной сцене, присутствуют самые известные представители наук о человеке.

Понятие «публичная наука» состоит из двух слов: *публика* и *наука*. А вот фигура посредника — массмедиа — в этом словосочетании отсутствует. Между тем участие их в создании публичной науки значимо. Предъявляя небывалый спрос на символический капитал академии, медиа, с одной стороны, навязывает свои условия трансляции знания, с другой — создает новые территории свободы для творческой личности, обновляя формы представления академических ученых в публичном пространстве (в контексте метафоры нашей конференции речь скорее пойдет о многочисленных мостах). В последние десятилетия активно создаются посреднические площадки, открывающие ученым доступ к публике (серии популярных книг, публичные коллоквиумы, научно-популярные журналы, рубрики и персональные колонки в газетах и журналах, специализированные телепрограммы). Вместе с развитием средств коммуникации множатся институции, наделяющие себя функцией оценивания — престижные премии и рейтинги интеллектуальных журналов. Номинации по истории, науке и технике есть во многих крупных газетах и интеллектуальных журналах, где, кроме рейтингов, часто публикуются и списки книг-бестселлеров «о человеке и обществе». Трансляция знания чаще всего происходит на территории медиа, а значит, в той или иной мере подчиняется законам производства медийной информации. Очевидно, что представление социологической или исторической проблемы в телепрограмме или газетной колонке не будет просто сокращенной или упрощенной версией академического исследования. Это во многом другой продукт, созданный с иными целями и предназначенный другой — непрофессиональной — аудитории. Даже выбор, кому и о чем говорить с публикой, зависит от обретенной медиа «властью оценивания», заключающейся в ранжировании продукции и ее производителей, в форматировании контекста и языка, в отборе важных тем и «назначении» звезд.

В данной статье мое внимание будет сосредоточено на анализе условий бытования историков, социологов, философов в медийной среде, влиянии этой среды на научное знание и его презентацию в публичной сфере. При этом я буду говорить только о *старых* медиа (печать, радио,

телевидение) и *традиционной* публичной науке, с определения которой начинается данный текст. Затем последует анализ причин резкой активизации публичной деятельности академических ученых. Далее я остановлюсь на роли медийного посредника и характеристиках автономной среды, которая создается благодаря медиа и в которой действуют свои — не академические — правила презентации научного знания и оценки профессионального успеха. И в заключение — вопрос о метаморфозах, происходящих с *homo academicus*, когда он с университетской кафедры переходит в теле- или радиостудию (пишет для академического или интеллектуального журнала).

Надел и удел университетского гуманитария

На вопрос: «кто такие публичные ученые?» — можно дать предельно широкий ответ. Публичные ученые пишут широко читаемые, обсуждаемые и влияющие на публику книги; выступают в СМИ, освещая проблемы, имеющие общественное звучание; предлагают заказчикам экспертные оценки и профессионально работают в публичной сфере, активно взаимодействуя с общественностью, организованной в самые разные объединения. Очевидно, что в таком ответе зафиксирована достаточно давняя функция гуманитария как транслятора профессионального знания общественности (образованным слоям, публике, массам, группам).

При этом редко кто из публичных ученых выполняет все указанные функции, в связи с чем мне кажется полезным ввести различие, позаимствованное у активного пропагандиста публичной социологии Майкла Буравого. Исходя из давней истории одних практик и относительной новизны других, Майкл Буравой в публичной социологии различает «традиционную» и «органическую»⁴. Эту классификацию можно распространить и на другие общественные науки.

«Органическая» публичная наука предполагает, что ученые работают *вместе* с общественностью и для общественности. Слово «вместе» здесь ключевое потому, что в данном случае четко обозначена установка практикующих это направление специалистов, согласно которой публичная наука — это *взаимодействие* между профессионалом и публикой. Органический тип публичной науки требует особых навыков работы с общественностью и вовсе не подразумевает академической занятости профессионала. Этим компетенциям многих учат в специализированных магистерских программах. Что очень важно: **органическая публичная наука в принципе не предполагает участия медийного посредника, стороны легко могут обходиться без него**⁵. К примеру, публичные историки рабо-

тают для групп любителей, исторических клубов и разнообразных обществ на местном, штатском и государственном уровнях.

Традиционная публичная наука представлена учеными, основным местом работы которых остается университет (Академия). Свою задачу они видят в просвещении, ознакомлении широкой публики с достижениями современной науки и участии в дискуссиях по вопросам, имеющим важное общественное значение.

В данной статье я не буду рассматривать повседневную практическую работу с населением «органических» публичных социологов или историков (о том, что «черным трудом» занимаются философы, слышать не приходилось). Меня в данном случае интересует как раз традиционная публичная деятельность ученых и проблемы, связанные с их присутствием в медиасреде. Я не буду останавливаться здесь и на анализе феномена публики. Публика, к которой обращаются традиционные публичные ученые, обычно остается «невидимой», в том смысле, что с ней не возникает коммуникации, она не конституирована в устойчивую группу или организацию. Даже если традиционный публичный ученый «провоцирует публичные дебаты, сам он вполне может и не участвовать в них»⁶.

Традиционная публичная наука, в противоположность органической, имеет достаточно долгую историю, которую можно проследить с середины XIX до начала XX в. в разных странах и на примере разных наук. В начале XX в. процессы сциентизации и институционализации дисциплин более чем на полвека в значительной мере отрезали ученое сообщество от публики. Опыт коммуникации социальных ученых с общественностью начал восстанавливаться лишь в 1960-е гг. При этом, несмотря на очевидную традицию, говорить о возрождении в массовых масштабах на базе новых информационных технологий старых практик XIX столетия, на мой взгляд, нельзя. **Отличие современной публичной науки от прошлого опыта лежит в существующей сегодня области взаимодействия в рамках триады: ученый — университет — медиа (элементы можно менять местами).**

С 1960-х гг. мы наблюдаем постоянный рост массового интереса к социальному знанию. У некоторых ученых проявилось стремление сделать свои главные научные труды достоянием не только профессионалов, но и просто широкой читательской аудитории, а медиатехнологии предоставляют немислимые ранее возможности для широкой дискуссии. Историки, социологи или философы легко составят списки книг, написанных выдающимися представителями их цеха и ставших

в прямом смысле бестселлерами не только по тиражам или количеству переводов на разные языки, но, прежде всего, по их *воздействию* на массовые представления. Эти широко известные книги объединяет то, что, будучи научными, они читались далеко за пределами Академии и инициировали общественные дебаты о природе общества, его ценностях, ожиданиях, проблемах и тенденциях. Идеи и термины, предложенные в них, получили распространение в среде не только ученых, но и широкой публики. Популярными темами были: глобализация, постколониализм, постмодернизм, Холокост, консюмеризм, туризм, память о прошлом, экология, идентичность, маргинальность, семья и многие др.

Если ограничиться даже немногими сюжетами, среди самых читаемых и обсуждаемых социологов за последние десятилетия можно назвать исследователя консюмеризма Джорджа Ритцера с его книгой «Макдоналдизация общества» (1993). Очень востребован был Роланд Робертсон, теоретик глобализации («Глобализация: социальная теория и глобальная культура», 1992), популяризовавший, кстати, термин «глокализация». Массовый читатель был у Зигмунта Баумана (книга «Модернити и Холокост» (1989) и его же работы по глобализации, постмодернизму и идентичности (например, эссе: «От паломника к туристу или Краткая история идентичности», 1995). Если Бауман использовал понятия «паломник» и «турист» как метафору, то тема туризма в связке с консюмеризмом и экологией обеспечила популярность Джону Урри с соавторами («Потребление мест» (1995), «Туристические культуры» (1997, с Крисом Роеком), «Туристические мобильности» (2004, с Мими Шелер). Одной из самых дискутируемых интерпретаций современного американского общества долго оставалась книга «Привычки сердца» (1985), написанная Робертом Белла и др. Список этот далеко не полон и касается лишь нескольких тем. Свидетельством интереса широкого круга читателей во всех случаях были 100-тысячные и большие тиражи и переиздания.

С конца 1960-х гг. ведущие английские историки, такие как Джон Тэйлор, Хью Тревор-Роупер, Эрик Хобсбаум, Эйза Бриггс, Джон Эллиот, Оуэн Чедвик, Лоуренс Стоун и Кристофер Хилл, начали писать книги, цель которых — достичь массового читателя. Чуть позже в других странах появились научные исторические бестселлеры, созданные известными историками. Среди них — Карло Гинзбург, Роберт Дарнтон, Натали Земон Дэвис, Эммануэль Ле Руа Ладюри, Франсуа Фюре, Роже Шартье и многие другие⁷. Эти историки не только хорошо пишут, они

ориентируются в механизмах производства «истории на продажу», коммерческом книгоиздании, вкусах и интересах публики.

Другая стратегия состоит в активизации деятельности профессиональных ученых на телевидении и радио. Действительно, почему было не обратиться к возможностям, которые так широко стали использовать журналисты и любители для распространения своих исследовательских результатов и популяризации собственных теорий? Ведь нет ничего удивительного в том, что профессионалы, привыкшие всходить на кафедру, чтобы донести научные знания до сотен юных и несведущих бакалавров, могут выступать перед миллионными аудиториями радиослушателей или телезрителей. О том, что «наши студенты, наша главная и плененная нами публика»⁸, говорят многие ученые, когда они объясняют переход с академического языка в регистр работы с непрофессиональной аудиторией.

В 1957 г. первая телезвезда — специалист по европейской дипломатической истории Джон Тэйлор, собиравший миллионные телевизионные аудитории, будучи уже очень известным историком, не получил должность *Regius Professor*⁹ в Оксфорде, потому что он слишком увлекался подобными вещами («because he did too much of that sort of thing»)¹⁰. Однако уже в конце 1960-х гг. ситуация изменилась, и многие ведущие историки стали активно участвовать в производстве медийных знаний, особенно на ТВ, и воздействовать на общественное мнение. Гуманитарии начали появляться на телеэкранах не только в научно-популярных, но и в актуальных политических программах; нередко повод для них они сами и создавали.

Почти все французские философы-постмодернисты, имена которых мы в России узнали в 1990-е гг. (Ролан Барт, Жиль Делез, Винсен Деконб, Рене Жирар, Клод Лефор, Эммануэль Левинас, Жиль Липовецки, Поль Рикер, Мишель Фуко и др.), были раскручены или даже созданы в 1960–70-е гг. на французском телевидении и в интеллектуальной публицистике¹¹.

В это же время публичные ученые начинают использовать возможности медиа и для создания «мест встречи» профессионалов и не профессионалов: архивистов — с авторами фотоколлекций и дневников, ученых — с создателями документальных фильмов, инициаторами общественных расследований или борцами за социальные реформы.

Так с 1970-х гг. в западных странах традиционная публичная наука становится заметной как область деятельности ведущих профессиональных ученых. Она направлена как на презентацию результатов исследова-

ний на неакадемических форумах, так и на обсуждение «жгучих проблем современности». Работа в медиасреде «перестает восприниматься как маргинальная, отныне она призвана стать как бы частью обычных атрибутов карьеры нового мандарина»¹². **Еще важнее подчеркнуть, что публичная наука не может существовать без академической науки — это ее первоначальный символический капитал.**

В наши дни публичная деятельность ученого и его успех — это результат конвертации коллективных и индивидуальных символических капиталов, в ходе которой медиа играет самостоятельную роль, а университет — стимулирующую. Сегодня именно новые возможности медиа и новый статус университета служат ключом к пониманию характера современной публичной науки.

Среди причин, обусловивших бурное развитие публичной науки, прежде всего называют процесс демократизации западного общества после 1968 г., усиливший формирование партисипаторного сознания и модели участия (партисипаторного действия), что во многом подорвало монополию академических ученых на знание. Однако мне представляется, что это фактор значимый скорее для органической публичной науки. Что же касается традиционной, то гораздо более действенной причиной роста ее популярности стало изменение статуса университета. Сокращение бюджетов, жесткая конкуренция за студентов, поиски проектного финансирования и частных пожертвований заставляют университеты бороться за общественное признание¹³. Используя название известной книги Роберта Земски и Уильяма Мэси, можно сказать, что университеты становятся одновременно все более market-smart and mission-centered, т. е. ориентируются одновременно на модель рыночного поведения и общественную миссию¹⁴. Ориентации достаточно противоречивые, но обе нацелены на создание престижного бренда, использование соответствующих технологий и активный пиар за пределами академии.

Новая роль «университета для общественности» открыто прокламируется как ведущими, так и самыми что ни на есть захолустными образовательными институциями (многочисленные программы «Университет городу», «Академия в публичном пространстве» и др.). Современные стратегии инвестиций в академическую карьеру связаны прежде всего с новой ситуацией в университете: рейтингованием, борьбой за абитуриентов, важностью отношений с местными сообществами и пр. Новая модель массового, бизнес-ориентированного университета мало общего имеет с моделью liberal arts, в основании которой лежат гуманитарные

науки, и это делает традиционный статус профессора-гуманитария еще более проблематичным. Падение авторитета гуманитарных наук, сжатие гуманитарного надела признается повсеместно. «Низведенные к периферийному статусу... гуманитарные науки лишились убедительной миссии в жаждающих престижа университетах. Сегодня гуманитарии в таких институциях сталкиваются с противоречивой задачей: участвовать в бешеной гонке за престижем и тем самым подрывать основы, отличающие их труд в сфере высшего образования»¹⁵.

Кроме того, как в университетах, так и вне их, существуют научные центры, непосредственно заинтересованные в широкой рекламе результатов своей работы, ибо от их известности напрямую зависит их финансирование. Обычно это мозговые центры и институты, получающие заказы от правительства, бизнес-структур, общественных организаций. Представители таких институций особенно охотно идут на контакты с медиа, рекламируя свои научные разработки и достижения.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов соблазны медиаславы, часто более доступной, быстрой и осязаемой, чем признание коллег-специалистов. Иногда, благодаря этой славе, ускоряется продвижение по карьерной лестнице или открываются возможности перехода в более престижный университет, но для многих публичный успех привлекателен сам по себе.

Конечно, описанные выше тенденции характерны преимущественно для западной академии. В российских университетах признание медийной популярности, поощрение ее и, соответственно, конвертация капиталов пока не очевидны.

Медиастратегии и scilebrities

В «обществе знания»¹⁶, каковым является современное общество, наука и ее представители наделяются особенно важным статусом. Постмодерный тип управления посредством научного знания, сбора и анализа информации сделал научное знание значимым элементом массовой культуры. Поэтому журналисты активно востребуют символический капитал академии, все чаще предлагая массовой аудитории не собственные репортажи о науке, а информацию из первых рук. Надо признать, что медиа предоставляют ученому относительно автономную от научного сообщества среду и возможность самореализации в иной ипостаси. В то же время для ученого, выступающего публично, некоторая независимость от академии совмещается с зависимостью от власти медиа, в которых господствует другая культура разговора о науке, принимаются во

внимание интересы другой аудитории, действуют иные критерии признания. В результате презентация научного знания подчинена правилам функционирования СМИ.

Понятно, что из огромного резервуара текущей научной продукции в медиасферу попадает и становится доступной публике малая толика. Что именно предъясвляется публике, как происходит выбор сюжетов и представителей академического знания, во многом определяется характером журналистской профессии, механизмами профессиональной карьеры в медиасреде и устройством самой этой среды. В основе журналистской профессии лежит ежедневное или еженедельное создание новостей, работа в СМИ подчинена жесткому графику, а привлекательность продукции обеспечивает не только глубина содержания, но и провокация, актуальность, драматургия, интрига. Это касается и тем, и острых вопросов, и имиджа персонажей. Безусловно, и издателями, и журналистами востребован именно академический капитал ученого, но можно констатировать, что в системе «академия — публика» журналист является не только посредником. Поскольку успех и популярность журналиста подчиняются законам, отличным от академической карьеры, и эти законы весьма жесткие, журналисты, преследуя в конечном счете интересы собственного профессионального успеха, активно вторгаются в формирование научного дискурса. Выбирая темы, авторов и оппонентов, организуя дискуссии, провоцируя накал страстей, выстраивая драматургию презентации, они в итоге влияют на контент научного знания в массовых представлениях. Работа на своем (медийном) поле обеспечивает журналистам «не только статус особого участника, способного интерпретировать, ставить вопросы, судить держателей предполагаемой научной компетенции, но также дает им власть указывать тех, с чьим мнением стоит считаться в высших и ключевых вопросах «современности» («конец истории», «индивидуализм», «постмодернизм»...), тех, в ком можно быть уверенным, что они ответят на вопросы, которые «все» ставят перед ними... При этом забывается, что сам факт классифицирования, когда, например, на безобидной газетной полосе некий автор или текст наделяются эпитетом философский, уже является вторжением в поле философии»¹⁷.

Постепенно, но достаточно энергично, стратегии, уже выработанные в других сферах медийной активности, начали распространяться на организацию передач с выступлениями представителей науки. Как пишет Тэйлор Даунинг, автор более 200 телевизионных исторических фильмов, в середине 1990-х гг. документальные фильмы по истории

достигли такой популярности, что ТВ-историю сравнивали с передачами по садоводству или кулинарии. Без тени юмора продюсеры искали среди историков эквивалент телезвезде — шеф-повару Джейми Оливеру¹⁸.

Феномен звездности (stardom) ученых связан с вездесущей сегодня культурой знаменитостей (celebrity culture)¹⁹. Массмедиа необычайно усилили публичность и влияние знаменитостей, и сегодня знаменитость обладает более весомым, чем в прежние дни, социальным капиталом. В культуре звездности есть свои таблицы о рангах, в том числе знаменитости ранжируются и по географическому охвату: всемирно известные (например, поп-звезды, киноактеры или игроки футбольных команд Премьер-лиги), национальные и региональные. Celebrity culture, возникнув в среде развлечений и спорта, затем распространилась на другие области, охватив многие сферы общественной жизни, включая бизнес, издательскую деятельность и академию, — отсюда возник новый термин — scilebrities²⁰.

Механизм невиданной ранее популярности ученых создается массмедиа, а изменения университетской политики в области самопозиционирования стимулируют охоту университетов за звездами и борьбу за их привлечение. Важный аспект академической звездности отмечен в статье Джона Избицки: университеты, «скупая игроков», стремятся иметь команду интеллектуальных звезд подобно тому, как футбольные клубы, состязаящиеся за Кубок мира, покупают футболистов²¹. И точно так же, как футбольная звезда может участвовать в передаче, посвященной моделям автомобилей или этикету, «звезда» медиевистики может оказаться в передаче, посвященной глобальному потеплению, а знаток Канта — в ток-шоу о техногенных катастрофах. Другое дело, что там, где важны академические репутации, ученый задумается, персонажем какой программы или передачи становиться не стоит. Еще раз напомним, что, говоря о феномене медийной славы применительно к публичной науке, мы имеем в виду ученого, работающего в академии, а не журналистов с дипломами гуманитарных факультетов, популяризирующих философское или научное знание.

Выбор тематики определяется также тем, что для своего профессионального успеха журналисты должны оставаться в поле своей собственной компетенции, то есть отбирать понятные и близкие для себя сюжеты. Очевидно, что они редко хорошо разбираются в социальных науках, даже если имеют соответствующие дипломы. При этом они ориентируются на предпочтения публики и на ее политические запросы, хотя мно-

гие редакторы программ уверены (и не всегда без оснований), что именно они формируют вкусы и интересы аудитории.

Роль журналистов в реконструкции научного знания еще более усиливается на телевидении в связи с быстрыми изменениями способов подачи материала. Во всяком случае такова ситуация с телеисторией. Уже канула в прошлое не только эпоха Тейлора, но и время коллажей из говорящих голов, интервью со свидетелями и архивной кинохроники в духе таких классических образцов, как 26-серийный документальный фильм о Первой мировой войне «Великая война» (*Great War*. BBC, 1964) или «Мир в войне» (*The World at War*. ITV, 1973) — тоже 26-серийный документальный сериал о Второй мировой войне. В 2000-е гг. произошел гигантский скачок в использовании изображений, сгенерированных компьютером (computer-generated imagery — CGI). Теперь можно не просто слушать, глядя на картинку, а увлеченно наблюдать за сооружением древнеегипетских пирамид, битвой при Ватерлоо или бомбардировкой Ковентри. Так знание становится товаром не только в образовательной и управленческой среде, но и в сфере развлечений.

Есть еще проблема аутентичности. Пару десятилетий назад историки-консультанты следили за документальностью интерьера, костюма, атрибутов. Постмодернистское сознание конца XX в. с релятивизацией статуса реальности способствовало размыванию границы между действительностью и вымыслом, а в *показе* научного знания между аутентичным историческим изображением и фантазией на темы прошлого. Это снижает ценность компетентности ученого, позволяя при этом использовать его авторитет. Правда, в этом отношении ситуация в социологии или философии иная: так как в этих науках остросюжетные нарративы не удаются, тележурналистам ничего не остается, как терпеть говорящие головы. Зато в изобилии воспроизводятся шаблоны ТВ-панелей, «круглых столов» и ток-шоу.

Безусловно, нельзя игнорировать факт обратного влияния науки на медиасреду. Формула интеллектуальной журналистики и набор «горячих тем» в последние десятилетия вырабатывались под воздействием «говорящих голов» крупнейших ученых современности. Некоторые представители академического мира, «особенно те, кто считает любую рекламу социальных наук занятием, недостойным ученого, подозревают, что большая часть информации о науке поступает журналистам непосредственно от тех относительно немногих социальных ученых, которые активно добиваются внимания СМИ. Что именно сообщается о социальной науке, может определяться не столько важностью тех или иных ис-

следований для научной дисциплины и даже для медиа, «сколько агрессивной предприимчивостью социальных ученых»²².

Соотношение академического и публичного ученого

Публичность ученого предполагает априорное разделение профессиональных и непрофессиональных контекстов его деятельности, «основное место работы» и «совместительство» или даже хобби, констатируя приоритет первого и растущую важность другого. Интересные данные о соотношении научного и публичного секторов в области французской философии приводятся в исследовании, проведенном Луи Пэнто (правда, довольно давно — в 1987 г.). Сравнив университетские и интеллектуальные неспециализированные журналы, он установил, что группы авторов обоих типов журналов пересекаются весьма мало: лишь 7% авторов университетских журналов публикуются одновременно в каких-либо ведущих интеллектуальных журналах, в то же время около 60% авторов, сотрудничающих в этих последних, написавших хотя одну более или менее философскую статью, не принадлежат к университетскому миру²³.

На территории медиа на ученых распространяются критерии признания, во многом отличные от тех, что действуют в академической среде. Вне университета «необходима собственная репутация, свое видение, своя методология, свое отнесение к ценности (“Wertbeziehung” у Макса Вебера) и собственный голос, чтобы быть услышанным на [...] публичных аренах»²⁴. Наряду с профессиональной компетенцией требуются и навыки работы в медийной среде. Кроме того, в медиа конкурировать приходится не только друг с другом и с журналистами, но и с другими игроками: политиками, писателями, актерами. Можно сделать и более сильное допущение, предположив, что участие в публичной деятельности и само существование этого поля как нормальной площадки для ученого ведет к трансформации культуры научного исследования и презентации его результатов.

Если мы говорим о тех, «кто пишет широко читаемые, обсуждаемые и влияющие на публику книги; тех, кто выступает в СМИ, освещая проблемы интерпретации прошлого, имеющие общественное звучание», то речь идет о том, каковы стратегии, используемые учеными и определяющие их успех в этих сферах (по-видимому, они будут различными). Каковы механизмы трансформации «академического» ученого в «публичного», когда он выступает в роли транслятора знания? Как преодолеваются ограничения академических дис-

циплинарных конвенций, как профессиональные знания и навыки совмещаются с формами общения с непосвященной аудиторией? Как преобразуется само это знание и опыт его производителя? Это — то же самое знание или уже нечто иное? Демократизация знания предполагает не только литературизацию, но и демократизацию слова. Новые нормы письма — интеллектуальное письмо — практикуется публичными учеными наряду с академическим. Конечно, литературно одаренных гуманитариев не так много, но, что гораздо важнее, их успех как в профессиональной, так и в читательской аудитории меняет (можно сказать, уже изменил) языковые стандарты научных текстов. Например, в исторической науке сознательно беллетристическая манера, способность свободно ставить себя на место своих героев, делать отступления, вставки и т. д., вплоть до написания вымышленных диалогов с историческими героями, все, что в XIX в. обеспечивало интерес публики, возвращается и обеспечивает историкам бесспорный издательский успех. При этом нельзя пренебрегать и традиционными атрибутами ученого, поскольку символическую прибыль дает именно академический капитал. В языке должны присутствовать признаки научности и даже толика эзотерики.

Изучение разных регистров научной устной или письменной речи представляет собой отдельную и трудоемкую работу, и в данной статье я могу лишь указать на нее как на многообещающую исследовательскую перспективу (антропология профессиональных языков). В частности, материал для суждений могут дать интервью²⁵ или анализ профессиональных и публичных текстов одного и того же ученого.

Если посмотреть на продукцию крупнейших интеллектуальных издательств мира, то мы увидим впечатляющее количество научных изданий, в том числе серийных, создаваемых усилиями крупных ученых и ориентированных как на профессиональных, так и на рядовых читателей. Многотысячные тиражи таких французских издательств, как «Vrin», «GF Flammarion», «Les classiques de poche» создают впечатление того, что почти все французские философы пишут для широкой публики. Наибольшей известностью медийного философа сегодня пользуется Люк Ферри (Luc Ferry), прославившийся своими популярными книгами «Религия после религии» (2004) («Le religieux après la religion»), «Кант. Чтение трех критик» (2006) («Kant. Une lecture des trois Critiques»), «Семейства, я вас люблю: политика и конфиденциальность в эпоху глобализации» (2007) («Familles, je vous aime: Politique et vie privée à l'âge de la mondialisation»).

Желание представить исторические исследования сразу двум аудиториям демонстрируют такие, известные нашему читателю серии, как «Великие цивилизации» (*Les grandes civilisations*), 15 томов, публикуемых издательством Arthaud с 1973 г. (каждый том по 700–900 страниц), участие в которых принимали крупнейшие специалисты по истории разных регионов мира, или пятитомное исследование истории частной жизни (*Histoire de la vie privée*), созданное в 1980-е гг. группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков школы анналов Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. В предисловии к первому тому этой серии, вышедшему уже после внезапной смерти Арьеса, Дюби, формулируя сложность исследовательских задач авторов-первопроходцев по «непаханому полю» истории частной жизни, пишет о намерении «следовать предложенным Арьесом маршрутом научного поиска... с тем же веселым азартом и с той же смелостью, что были ему присущи, с той живостью, что позволила ему не погрязнуть в университетской рутине»²⁶.

Мы видим, что под влиянием новых обстоятельств представители академии все активнее осваивают ресурс публичной деятельности, связывая с ней как свои карьерные интересы, так и потребности творческой самореализации, невозможной на академическом поле. Стремление ученых прибегнуть к внешним источникам, в том числе медийным, свидетельствует о том, что интеллектуальное производство вступило в сложные отношения с культурным и экономическим капиталом, обусловленные радикальными трансформациями как современных медиа, так и современного университета.

Как объяснил Пьер Бурдьё, культурный капитал может циркулировать относительно автономно внутри академического поля, но при этом является вполне конвертируемой валютой²⁷. Схематично карьере ученого, активного в публичной сфере, сегодня можно представить себе в виде самовоспроизводящихся витков, продуцируемых в результате обмена разных форм символического капитала: университет — медиапопулярность — академическая популярность (лучшие университеты, лучшие издательства, большая зарплата, лучшие студенты, оптимальная учебная нагрузка) — еще большая медиапопулярность.

В профессиональном сообществе, несомненно, должны выработаться критерии оценки собственной деятельности на поле медиа, способы различения хорошего и плохого. Но каковы они, если когнитив-

ные критерии, релевантные для академической науки, здесь не работают или работают не вполне? Что означают понятия «истина», «объективность», «доказательность» в дискурсах публичной науки? Решение вопросов о легитимных способах презентации научного знания за пределами академических институтов, о конвенциях, по которым оно транслируется публике служителями науки, и о статусе публичной деятельности ученого в свете новой миссии университета остается важной задачей академического сообщества.

¹ В данной научной работе использованы результаты проекта «Практики аттестации и присвоения ученых степеней в европейских университетах Нового времени», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г.

² *Hardtwig W., Schug A.* (Ed.) *History Sells. Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt.* Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009. 9. P. 3–4; *Korte B., Paletchek S.* (Hg.) *History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres.* Bielefeld: transcript Verlag, 2009; *Burawoy M.* *For Public Sociology. Presidential Address 2004 // American Sociological Review.* 2005. Vol. 70. February; *Общественная роль социологии / Романов П., Ярская-Смирнова Е.* (ред.). М., 2008; *Савельева И.М.* *Профессиональные историки в «публичной истории» // Новая и новейшая история.* 2014. № 3; *Савельева И.М.* *Публичная история как призвание и профессия // Генезис дисциплинарного поля в науках о человеке / А.Н. Дмитриев, И.М. Савельева.* М., 2014.

³ *Assmann A.* *Geschichte im Gedächtnis: Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung.* München: Beck, 2007. S. 178.

⁴ *Burawoy M.* *For Public Sociology...* P. 8.

⁵ Подробнее см.: *Савельева И.М.* *Профессиональные историки в «публичной истории»...*

⁶ *Burawoy M.* *For Public Sociology...* P. 7.

⁷ Подробнее см.: *Савельева И.М.* *Профессиональные историки в «публичной истории»...*

⁸ *Burawoy M.* *For Public Sociology.* P. 6.

⁹ *Regius Professor* — профессор, кафедра которого учреждена одним из английских королей (особенно это относится к профессорам, руководящим кафедрами в Оксфорде или Кембридже, основанными королем Генрихом VIII).

¹⁰ *Daunton M.* *Interview // Making History: The Changing Face of the Profession in Britain [Электр. ресурс]. [L.]: The Institute of Historical Research, cop. 2008.* Режим доступа: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/Daunton_Martin.html, свободный (дата обращения: 26.05.2014 г.).

¹¹ Подробнее см.: *Пэнто Л.* *Философская журналистика / Sociologos.* 05.06.2009. С. 10.

¹² *Пэнто Л.* *Философская журналистика.* С. 10.

¹³ *Bok D.* *Universities in the Marketplace.* Princeton: Princeton University Press, 2003; *Kirp D.* *Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line.* Cambridge: Harvard University Press, 2003.

¹⁴ *Zemsky R., Massy W.F.* Remaking the American University: Market-smart and Mission-centered. Rutgers University Press, 2005.

¹⁵ *Donoghue F.* The Last Professors: The Corporate University and the Fate of the Humanities. New York: Fordham University Press, 2008. P. 28.

¹⁶ *Knorr Cetina K.* Sociality with Objects. Social Relations in Postsocial Knowledge Societies // Theory, Culture and Society. 1997. Vol. 14. № 4. November; *Stehr N.* Knowledge Societies. London: Sage, 1994.

¹⁷ *Пэнто Л.* Философская журналистика. С. 5.

¹⁸ *Downing T.* Television History // History Today. January 1, 2011. P. 28–30.

¹⁹ *Shumway D.* The Star System in Literary Studies // PMLA: Publications of the Modern Language Association of America. 1997. 112/1 (January).

²⁰ *Wernick A.* Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic Expression. London: Sage, 1991. О роли звездности в конструировании Бирмингемской ортодоксии см.: On postmodernism and articulation. An Interview with Stuart Hall. Critical Dialogues in Cultural Studies // Ed. by David Morley and Kuan-Hsing. Chen. London; New York: Routledge, 1996. P. 149; *Moran J.* Cultural studies and academic stardom // International Journal of Cultural Studies. 1998. Vol. 1 (April). P. 67–82.

²¹ *Izbitcki J.* Word of Mouth'. Independent 30 Jan. 1997: E7.

²² *Weiss C., Singer E.* Reporting of Social Science in the National Media. P. 7.

²³ *Pinto L.* Les Philosophes entre le lycée et l'avant-garde. Les métamorphoses de la philosophie dans la France d'aujourd'hui. Paris: L'Harmattan, 1987. P. 39.

²⁴ *Beck U.* How not to Become a Museum Piece // The British Journal of Sociology. 2005. № 56 (3). P. 338.

²⁵ См.: *Гатина З.С., Савельева И.М.* Трансформация академического историка в публичного: метаморфозы профессионального языка (в печати).

²⁶ История частной жизни / Под общ. ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1: От Римской империи до начала второго тысячелетия / Под ред. П. Вейна / Поль Вейн, Питер Браун, Ивон Тебер, Мишель Руш, Эвелин Патлажан. М.: Новое литературное обозрение, 2014 [1985]. С. 5.

²⁷ *Bourdieu P.* Language and Symbolic Power. Cambridge: Harvard University Press, 1991. P. 170.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ (ПРОЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И НОВОЙ ИСТОРИИ ВО ФРАНЦИИ)

Шкуратов Владимир Александрович

Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону

***Аннотация:** Формирование междисциплинарного метода современного гуманитарного знания анализируется на примере исторического синтеза и т. н. новой истории (школа «Анналов»). Случай указанных направлений французской гуманитарной мысли рассматривается в социокультурном контексте их времени и подводится под обобщения макросоциального толка. В частности, историческое знание определяется как порождение человекоформ и сравнивается в этом плане с психологией.*

***Ключевые слова:** междисциплинарный метод, новая история, М. Блок, Л. Февр, исторический синтез, А. Берр, Французская энциклопедия, антрополокультурная формация, человекоформа, человекоприменение.*

В предлагаемой статье рассмотрено формирование междисциплинарного метода современного гуманитарного знания. В качестве case-study выступают проекты исторического синтеза и новой истории во Франции до Второй мировой войны. Указанный сюжет дан в контексте политических и социокультурных условий соответствующего периода. Эти факторы не есть просто фон, на котором развивается научное событие. Предположу, что, будучи собранными вместе, они выступают матрицами, порождающими схемами научных и обыденных картин мира, общества, человека, ментальностей и т. д. Дело, однако, в том, как «правильно» собрать эти факторы. Структурализм К. Леви-Строса обещал нам своего рода таблицы семиотических элементов, идущих из глубины природы; когнитивизм разного толка выводит культурное мироустройство то из архитектоники мозга, то из психологических структур; социальный конструкционизм собирает представления, понятия, концепции из дискурсивных элементов речи.

Новая история М. Блока, Л. Февра и их продолжателей — яркий и весьма своеобразный пример междисциплинарности. Вряд ли в гуманитаристике XX в. найдется еще течение, в котором преодоление всяких

барьеров между науками проповедовалось бы столь неуклонно, патетично, убежденно. Излагать элементарные сведения о школе «Анналов», историческом синтезе после томов, написанных самими анналистами и о них, разумеется, нет надобности. Время, отделяющее нас от апогея крупнейшего направления мировой исторической науки, позволяет обходиться без апологетики или критики. Не претендуя на знание тонких механизмов и деталей французской гуманитарной мысли, я попытаюсь подвести указанный ее фрагмент под некоторые обобщения социокультурного толка. Это сомнительное занятие. Помещая историю в теоретические схемы, мы рискуем разрушить тонкую событийную фактуру ее времени. Извинением и основанием упражнений над знаменитыми именами и книгами для меня служит переходной полемизм рассматриваемого направления, которое спорит не только за научные ниши с конкурентами, но с духом эпохи и цивилизации, выставя себя представительством новой эпохи и новой цивилизации. В историческом гнозисе слишком явственны признаки базисной культурной системы, чтобы свести его к специализированному исследовательскому занятию. Сознание особого характера исторического занятия питало трансдисциплинарную амбициозность «новых историков», и это же дает право трактовать их творчество в крупных социокультурных размерностях.

От индивидуализма сочинителей к научному коллективизму

В 1898 г. вполне зрелый преподаватель провинциального лицея защитил в Париже докторскую диссертацию по философии. Он из непотомственных французов еврейского происхождения, его руководитель Э. Бутру. Прочитав эти биографические данные, читатель может произнести: «Бергсон», и не угадает. Да, А. Бергсон был учеником Бутру и непотомственным французом, но у Бутру был еще ученик, подобный по происхождению Бергсону, однако без такой всевропейской славы. Его звали Анри Берр. Как и Анри Бергсон, он использовал центральную идею учителя, но писать интеллектуальные бестселлеры не стал, а посвятил себя организации интеллектуальных предприятий.

Их общий учитель Бутру — автор трактата «О случайности законов природы» (1874)¹. Небольшое сочинение стало интеллектуальной бомбой, во всяком случае, в своем отечестве. Его автор был религиозным персоналистом и в эру позитивизма подрывал картину механистического миропорядка противопоставлением свободы детерминизму. Законы природы, по Бутру, так же случайны, как и человеческие озарения. Бог создал мир творчески. Установленный им порядок не равен фиксируе-

мым механистическим познанием детерминизмам. Атрибутом творчества наделяет и человек, поскольку ему предоставлено действовать свободно. Максиму поздней схоластики о непознаваемом человеческой каузальностью миростроительстве Бога учитель Бергсона и Берра передал научно-философским языком и, надо сказать, очень ясно и внятно.

А. Бергсон удалит из учения о случайности природных законов тезис и сделает главной творческой личностью эволюцию. Берр, как и Бергсон, Бога к устройству мира не привлекает, но оставляет неприкосновенным положение о несовпадении каузально выведенных рядов знания и действительного научного прогресса. Последний выявляется только в движении, т. е. исторически. Книги Берра — проповедь человеческого братства в познании, выведенная из многовекового развития европейской мысли. Поскольку познание в его современной ипостаси есть наука, то Берр — сциентист с уклоном в рационалистическую мистику. Ему близка этика Б. Спинозы. Предназначение человека в том, чтобы соединиться с миром своим познающим Я. Знание абсолютной истины, будучи единством науки и жизни, есть наука о жизни. Однако эпоха героического индивидуализма одиноких подвижников мысли миновала. Берр не устает повторять: «Время новых решений вечных проблем прошло... Следует уже претендовать не на оригинальность идей, а на широту взглядов и больше понимать, чем открывать: вместо того, чтобы желать быть собой, надо пытаться быть всеми»². Но у науки есть недостаток: она отгораживается от жизни сложными умозаключениями, мудреными словами, формулами, чертежами.

Она берет за норму и достоинство бесстрастие исследовательского объективизма. Подступающие к ограде ученого знания, бредущие по его запутанным дорожкам теряются, впадают в уныние, поворачивают назад. Берр ободряет своих читателей и обещает им дать что-то вроде дорожной карты науки. Докторская диссертация Бера называлась «Будущее философии: эскиз синтеза знаний, основанный на истории». В книжном варианте она увидела свет в 1899 г. Труд Бера заканчивается небольшой главкой «На Баллон-д'Эльзас. Жизнь и наука». Обозрев движение интеллектуальных исканий истины и ободрив человечество перспективой совместного труда над познанием природы и Я, автор берет читателя в заключительную прогулку для обзора этой самой природы *au naturel*. Прогулка краткая, если сравнивать ее с пятисотстраничным путешествием по европейской мысли, но нельзя сказать, что увеселительная. Автору предстоит подняться на главную вершину Вогезов. Вершина не так высока, как альпийские, но все-таки 1432 м. Впечатления меня-

ются в зависимости от высоты над уровнем моря. Повседневная жизнь с высоты кажется автору муравейником забот, а природа — мощной и суровой к человеку. Гуляние философа должно вызвать соответствующие реминисценции. Может быть, с паломничеством романтиков к возвышенным и уединенным местам природы, а может, с восхождением Ф. Петрарки на гору Вентоза в 1336 г. Петрарка на вершине открыл свое постоянное чтение — «Исповедь» Августина — и сразу наткнулся на знаменитое «и люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд — а самих себя оставляют в стороне».

Для Берра главное — призвать мыслящую элиту участвовать в коллективном научном поиске современности, не забывая своего Я. «Что желательно, так это увеличение числа вовлеченных людей, мало-помалу осознающих свое место в мире, полностью объединенных жизнью в мысли. Но разве не интересна жизнь? Но разве она не есть предмет удивления и восхищения? Какое счастливое чудо быть человеческим существом и входить в связь со всем, что она есть, и умирать ради необходимого обновления форм жизни! Какие возможности открывает срок каждого человеческого существования! И какие перспективы открывает объединение всех человеческих ресурсов! Можно ли без сожаления думать о тех телесных и духовных силах, которые были потрачены для дела войны и промышленности, в никчемной политике и суетных развлечениях? Как все эти мелкие события, которые производят столько шума, ничтожны в сравнении с событиями в лаборатории! Синтез должен адсорбировать все эти энергии, воспроизвести и оживить дух древнего приключения. Броситься на покорение всего неизведанного, контролировать гипотезу о Единстве, реализовывать объединительные цели Бытия — не это ли весьма волнующее приключение!»³ Внимая тишине, автор завершает пассаж чем-то вроде обета: «Мне кажется, что самое слабое усилие может украситься благородством цели, как мельчайший предмет сияет в этот час в лучах заходящего солнца»⁴.

Эти страстные обращения могли бы остаться в архиве утопического прекраснотушия, но Берр немедленно принимается за дело. В 1900 г. он создает журнал «Ревю исторического синтеза», и это только начало его успешного предприятия. Берр не сделал академической карьеры, но осуществил грандиозный издательский проект. Под знаменем синтеза он объединял представителей разных наук для создания и публикации трудов по универсальной истории. И хотя в названии его коллекции стоят слова «Эволюция человечества», издатель думал прежде всего о человеке

и его Я. Расширение круга знания должно сопровождаться укреплением духовной субстанции личности, которую Берр мыслил под влиянием спиритуализма Мен де Бирана.

К сотрудничеству приглашались ученые всех социальных, гуманитарных, естественно-научных, математических специальностей. Но так, чтобы ведущую роль задавала гуманитарная, качественная история. Сама же наука о прошлом мыслится как изменяющаяся в процессе общения с вовлеченными в круг синтеза дисциплинами. Особенно важным Берр считает синтез истории и психологии. «Более чем теоретическая часть программы, должна помалу обогащаться та часть программы, которая отводится исторической психологии. <...> Перейти в истории к психологии — вот что совершенно необходимо, но крайне сложно. “Ревю” будет поощрять произведения такого жанра, но не фантазии на данную тему, имеющие мало общего с наукой»⁵.

Берр выступает предтечей Л. Февра и его сподвижника по «Анналам» М. Блока. В книге А.Я. Гуревича «Исторический синтез и Школа “Анналов”»⁶ школе «Анналов» заодно приписан исторический синтез. Можно понять, что нашему историку гораздо более импонировали его знаменитые коллеги, чем философ Берр с многостраничными умозрениями. Французские же авторы не могут позволить себе упрощений, которые невидимы для нефранцузского читателя. «Разделенные половиной поколения (один был старше другого на пятнадцать лет), они совместно участвовали на протяжении полувека в боях за обновление исторических наук. Из их частых встреч постепенно рождалась глубокая дружба, и Берр стал конфидендом своего молодого друга... Но их отношения были также сложными, если не переусложненными, часто беспорядочными, и требуется больше, чем несколько страниц, чтобы изложить их перипетии. Февр никогда не был ни учеником, ни последователем Бера, но он никогда не скрывал ни своего долга отцу синтеза, ни отношения преемственности, которое связывало предприятия его и Берра»⁷.

Блок и Февр могли научиться у Берра многому. Апология жизни, критика «бумажных» изысканий, предназначение истории как фундамента знания, историческая психология — об этом создатель «Ревю...» писал, когда будущие анналисты еще сидели на студенческой скамье. Но, главное, конечно, замена жанра индивидуальных сочинений о прошлом совместным, коллективным трудом ученых.

«XIX век был “веком истории”, это общепризнанно»⁸, — так начинал Берр свою очередную книгу «Идея синтеза в истории». Однако что касается XX в., то это совсем не факт. «Науки о природе создали точные

и эффективные методы; они пользуются общей поддержкой, их результаты объединяются в синтезы, которые принимают все более и более позитивный характер. Исторические «науки» далеко не столь продвинуты. Их незрелость, их эмпиризм, их неустойчивость вызывали попытки мыслителей — историков и философов — искать их исцеления»⁹. Отнесу на счет стилистических красот образ больной истории. Наука в кавычках — это по адресу Ланглуа, Сеньобоса и К^о., преградивших Берру путь к университетской кафедре. Но «век истории» — другое. Его, как «старые», так и «новые», определяют, по существу, сходно, хотя с разными оценочными знаками. Ланглуа и Сеньобос со сдержанным превосходством, как продолжение «науки для принцев», осевшей сначала в Коллеж де Франс, а затем неудачно пересаженой Наполеоном на факультеты des lettres (словесности) университетов: «Великие люди, преподававшие историю в этом знаменитом учреждении (Коллеж де Франс — В.Ш.) (например, Ж. Мишле), не были ни техниками, ни учеными в собственном смысле этого слова. Их красноречие действовало на аудитории, состоявшие не из студентов, посвятивших себя изучению истории... профессора словесных факультетов отrekliсь от занятия образованием молодых людей, предназначавших себя для преподавания истории в лицеях. Лишенные этих специальных слушателей, они оказались в положении очень аналогичном с положением лиц, занимавших кафедры в Коллеж де Франс. Они также не были техниками. Они в течение полу столетия занимались высшей популяризацией перед многочисленными аудиториями праздных людей (которых часто потом злословили), привлекая их силой, изяществом и простотой их слова»¹⁰. Для «новых» же, Мишле — величайший из французских историков, а умение собирать и очаровывать большие аудитории — совсем не порок. «Великие люди», читавшие доклады и писавшие книги для «праздной публики», были ораторами и литераторами. Они подняли статус «наставницы жизни» на большую общественную высоту. Французская позитивистская историография, отдавая им должное, предпочитала вести свою генеалогию не от литераторов, ораторов и философов, а от «техников». По Ланглуа и Сеньобосу, поворот от «литературщины» к науке в историографии начинается где-то около 1850 г. Он опирался на архивную революцию — появление централизованной сети хранения документов открытого доступа. Историк становился специалистом — экспертом по письменным источникам. Для «новых» такая профессионализация была невероятным сужением работы синтеза, упадком высокой роли исторического занятия. Хорошо ощущавший инерционность в триумфальном ходе академической историо-

графии конца XIX в. Л. Февр резюмирует: «Таким образом свершала история триумфальное шествие. Можно было только позавидовать ее внешнему могуществу. Однако мало-помалу она теряла внутреннюю силу.. История не потеряла своей тени, но ради нее отрелась от своего истинного существа»¹¹.

История как куратор междисциплинарного проекта

В середине 1930-х гг. отношения между Февром, Блоком и их «дорогим другом» ухудшаются и доходят до грани разрыва. Берр все расширяет состав редакции журнала и круг «недель синтеза». Среди докладчиков и авторов его Центра синтеза все больше естественников, в т. ч. знаменитых. Однако цели и предпосылки его проекта остаются неизменными. Берр надеется, что расширяющийся круг знания высветит Я как реальность¹². «Нет ничего удивительного в том, что рамки берровского проекта на психологической основе были заданы принятием определенной философской традиции, оригинальность которой он признавал и которую пытался возродить Бергсон. Удивительное состоит в том, что он предлагал ту же “метафизическую психологию” и через пятьдесят лет...»¹³

Наращивающим научный вес анналистам совсем неинтересна спиритуалистская подоплека берровского синтеза. Февр вовлекается в проект общенационального масштаба. В июле 1932 г министр образования Франции А. де Монзи заявил о намерении государства приступить к изданию Французской энциклопедии. Вскоре профессор университета в Страсбурге, затем Коллеж де Франс Л. Февр получил предложение стать генеральным секретарем-директором Комитета Французской энциклопедии при директоре-основателе министре де Монзи. Началась долгая издательская эпопея, растянувшаяся на десятилетия и завершившаяся после смерти ее инициаторов (последний том энциклопедии вышел в 1966 г.). Стараниями секретаря-директора, затем главного редактора Энциклопедии проект приобрел необычный, оригинальный характер. Вместо компендиума справочных статей, расположенных по алфавиту, публика стала получать тематические тома. Их последовательность должна была не столько соответствовать классификации наук, сколько отражать проблемы современного человека. Концепция энциклопедии как сводки устоявшихся данных была отброшена. В качестве авторов выступали ведущие ученые, которые должны были знакомить читателей с самыми передовыми идеями в своей области. Французская энциклопедия была альтернативой «бумажному миру». Хотя и отпечатанная на бумаге, она нацелена против книжных рубрикаций — одного

из главных достижений Галактики Гутенберга, и, если и не против мира книги, то против мира как книги. Февр, с его поползновениями к жизни, с его удивительной для историка неприязнью к архивному уединению, по-гуманитарному амбивалентен. Его критика обращена на самую форму гуманитарного знания и, хотя, как историка французской почвы, его тянет к земле, к природе, он обращается за поддержкой не назад, к традиционной цивилизации, а вперед — к научно-технической, отставляя неудобный для массового читателя проект. Секретарю-директору приходилось утверждать линию научного высокопрофессионального поиска в полемике с директором-основателем, который стремился сделать издание коммерческим и популярным. Февр был упорен и мог настоять на своем. История вынесла свое суждение о неординарном замысле. Детище де Монзи-Февра остается ценным памятником интеллектуальной жизни довоенного и первых послевоенных десятилетий, но для массовой публики чтение оказалось слишком сложным, во французских муниципальных библиотеках Французской энциклопедии не найти.

После согласований структуры издания, перечня и порядка следования томов Энциклопедия стала выходить в 1935 г. Первым появился том X — «Современное государство. Устройство, кризис, трансформации». Издатели, отодвинув в сторону математику, физику, астрономию, биологию, озаботились самым насущным, и это понятно: Третью республику сильно лихорадило. «Представление государства, каким оно является в этом томе, воспроизводит напряжения реальности и несет в самом себе реально переживаемую политическую драму. С этой точки зрения, Французская энциклопедия, тематическая структура которой менее предполагает «порядок науки», чем «проблемы современного общества», есть живое, драматически живое произведение, биномом государственности, на который опирается конфигурация тома, проявляющаяся как динамическая система, открытая и иногда противоречивая, подобно тому, как противоречива иногда роль, играемая актерами в этом приключении духа, которая имеет предназначение не только представлять, но и конструировать сознание “современного человека”». Для де Монзи цель Энциклопедии состояла в «повышении рациональности современной любознательности, в то время как для Февра произведение должно внести вклад в создание “ментального инструментария современного человека”»¹⁴.

В начале тома Февр помещает небольшое вступление под названием «Ментальный инструментарий». В то время как Берр синтезирует Я с помощью наук, его «молодой друг» инвентаризует средства современной

мысли, но не только инвентаризует, но и направляет, проблематизирует их. Февр ценит специалистов, и он мыслит главные междисциплинарные проекты, в которых участвует — Центр синтеза, «Анналы», Энциклопедию — как коллективные центры исследовательского поиска, в которых объединяются лучшие специалисты разных наук. Просветительская работа на публику в этом отношении ему претит. Но к чему такие объединения, когда уже есть лаборатории, институты, академии, для этого предназначенные? Организационная активность Февра гуманистического толка в том смысле, что возникает в обществе с устоявшимися образовательно-исследовательскими институтами, которые не могут адсорбировать всю познавательную активность. Параллельные институты выдвигают новые темы. Но, в отличие от академий Нового времени, у них более отчетливая общественная устремленность. Февр не просто объединяет группы ученых-специалистов, но пристегивает их к большой задаче. Если мы перенесемся в СССР того времени, то увидим, какая общественная задача объединяет специалистов. Но Франция — не СССР. Параллельные структуры — не официозные. Они не имеют перед собой государственной задачи построения будущего совершенного общества, а являются гражданскими объединениями. В то же время нельзя сказать, что они пронизаны той оппозиционностью, которая присуща российской интеллигенции. У Февра с властью тесные и обширные контакты — не только деловые и служебные, но еще — как у республиканца с республиканцами.

Итак, Энциклопедия и «Анналы» работали как параллельные площадки его трандисциплинарного проекта. На них выковывался контур истории-проблемы, все более отходившей от синтезирующей истории Берра. Симфоническое равноправие разных областей знания Февра не устраивало. В его высказываниях и репликах проступает дирижизм историка. Февр не рассматривает науку о прошлом как дисциплину или совокупность дисциплин. История есть место, предоставленное всем, кто хочет погрузиться в коллективный опыт человечества, в т. ч. применительно к своей отрасли знания. Однако профессионализм историка таким подходом не элиминируется, наоборот, он возрастает и переходит в функцию проблематизации. Научный поиск приобретает диахронное измерение, а выстроить его — дело специалиста по прошлому. Историк выпадает роль организатора и модератора наук. Разумеется, узким специалистам, «техникам», исследователям «пыльных хартий» такое не по плечу, и Февр относится к их мелкотравчатости с испепеляющим презрением. «Сузить поле деятельности ученого — значит усилить “специа-

лизацию», сделать это бедствие непоправимым»¹⁵. Историк должен взвалить на свои плечи гораздо более трудную задачу, «отведя себе самому труднейшую роль, которая заключается в том, чтобы составить предварительные опросники, сопоставить полученные ответы, извлечь из них элементы решения проблемы, организовать необходимые дополнительные исследования и, что важнее всего, определить соотношение данной проблемы со всей совокупностью исторических проблем того времени, когда она возникла; если, проделав весь этот долгий путь, который в конечном счете окажется куда более коротким, чем прежние окольные пути, он сумеет превратить историю хотя бы в “науку постановки проблем”, если не в способ их немедленного и уверенного разрешения, тогда, я думаю, речь историка уже не будет ограничиваться заурядной ролью сочинителя “личных книг”; тогда никто не станет задаваться вопросом, что такое история — наука или искусство...»¹⁶

История как человекоприменение

Теперь мне придется вписать диахронию исторического случая в более широкие синхронные разрешения. Модели применяются как идеальные типы, а структурные градации используются для дескрипции текущего материала.

В разное время я писал о социокультурных системах порождения психики¹⁷, социологии и культурологии психики¹⁸, антропоморфной матрице культуры и антропокультурах¹⁹, темпоральных примитивах²⁰. Во всех случаях имелись в виду конфигурации артефактов, которые обеспечивают и контролируют психику человека со стороны культуры подобно тому, как нейрофизиологические механизмы делают это со стороны нервной системы. Самая обобщенная психокультурная схема для социализации индивида — человекоформа. С ее помощью генерируются более дробные человеческие типологии эпохи. Человекоформа — не дифференциально-психологическая, групповая, профессионально-деятельностная характеристика. Она изоморфна антропокультурам, ставящим цивилизации способы артефактного опосредования ее живого человеческого материала. У эпохи имеются центр и периферия. Ее ядро — человеческий «актив» — обрамлено человеческим «пассивом», той массой инерции, которая в любой век составляет большинство народонаселения. Как определить синхронную социокультурную систему, производящую не блага и не биологические тела, а социализационные схемы для превращения особи в члена общества? Напрашивается термин антропокультурная формация. Отделить такую формацию от классиче-

ской, марксовой, побуждает виток развития, когда люди все больше создают не вещи и предметы, а концепты, проекты, презентации, или, выражаясь по Ж. Бодрийяру, симулякры, но и они также все больше являются виртуальными, текучими, неустойчивыми персоноидами на экранах телевизоров, компьютеров, смартфонов, в сетевых коммуникациях. Ядро и периферия указанных систем тогда будут соответствовать собственно формациям и укладам. Знание и власть образуют комплексы (в фукеанском, когитократичеком, а не фрейдовском значении) для социализации индивидов в больших антропокультурных размерностях.

Сделаю, однако, к этой системной преамбуле необходимое антисистемное замечание (отдав должное персонологическим заботам Бера). Презумпция свободы заставляет противопоставлять наше Я всем социокультурным механизмам. Концепт «человеческая целокупность» не имеет, строго говоря, определенных референтов, самость человека есть внетехнологический горизонт технологизированных антропологических знаний, а в антропокультуре мы имеем дело с опосредствованными в разных режимах фрагментами этой неопосредованной целостности²¹.

Подход Н. Роуза и других фукеанцев²² открывает нам возможность рассматривать гуманитарную науку не только и не столько как инструмент открытий, сколько как перевод разнообразных знаний в качество человекоориентированности. Однако Роуз имеет в виду психологию.

Differentia specifica современной психологии называется «индивидуальный человек». Именно на него направлен весь ее исследовательским аппарат, и с ним связана ее социально-историческая карьера. Практическая сверхзадача современной психологии в том, чтобы создавать и поддерживать тип современного индивида как эпохальный (разумеется, в содружестве с другими науками и во взаимодействии с властью), научно-эпистемологическая — в том, чтобы применить к обыденному человеку всю совокупность знаний эпохи. Строго говоря, собственных исследовательских методов у современной психологии нет, она фокусирует на свой материал то, что она заимствует из философии, физики, математики, механики, физиологии, медицины, филологии, социологии, педагогики и других областей знания. Перечень может быть очень длинным и включать в перспективе все существующие и даже еще не существующие науки. Но дело не ограничивается науками. Психология соприкасается с образованием, здравоохранением, управлением, экономикой, религией, искусством, массовой коммуникацией — всюду, где присутствует человек, проникает и психология. Итак, психология есть человекоприменение, а используя греческое *ἄνθρωπος*. (человек) и латин-

ское *usus* (применение) — антропоузус. Я должен ввести этот термин, чтобы задать предельную метарамку для истории психологии. Теперь ее определение будет звучать так: психология — это знание о человеке и практика применения к человеку всех знаний и практик эпохи. Однако требуется найти локус применения — отдельного человека. Кто он такой? Культурную форму человека надо создать, и создается эта антропокультурная форма в процессе человекоприменения. Повторю: теоретизирующее, проблематизирующее, эмпирически-инструментальное, прикладное знание, к которому мы привыкли под словом «психология», в указанном комплекте возникло не сразу. Индивидуальный субъект, который сопутствует современному знанию, появляется в психологии в Новое время, и вместе с ним появляется наука психология. А «допсихологическое» человечество не имело возможности дожидаться, когда сформируется весь комплект. У него был свой человек, и оно применяло к нему свои техники и знания. Вне современности имеются свои, вполне развитые порядки человекоприменения. Психология перенимает от них функцию человекоприменения в качестве современного, научного антропоузуса, но не систему генерации человекоформы. В моем представлении, система формируется со своим объектом, а не передается по эстафете от эпохи к эпохе в виде некоего ядра идей с разрастающейся вокруг него оболочкой.

Модель пси-комплекса Роуза претендует быть социополитическим ключом к современной психологии. Предшествующие последней способы социализации должны довольствоваться положением ранних и недоработанных пси-практик. В моем понимании, основа на котором формируются «предпсихологии» XVIII — XIX вв. не есть пси-комплекс, поскольку таковой создается экспериментально-тестовыми техниками («режимами правды» по Роузу) только с конца XIX в. Обратимся к тому, что предшествует пси-комплексу. Тогда перед нами вырисовываются два человекоприменительных порядка. Один был назван мной фи-комплексом²³ (от *physical* — физический, телесный). Фи-комплекс реорганизуется вместе с трансформацией культуры органического тела в культуру искусственного тела. Другая система — часть скриптокультуры под названием эс-комплекса (от *scriptura* — письменность, писание)²⁴. Этот комплекс укореняется вместе с культурно-социальным расширением литературы и бюрократии. Литература и как социальный институт, и как механизм социализации, предшествует научной психологии в качестве эгологии. Собственно, вынесенная за скобки протопсихологии эгология — это и есть литература. Эс-ком-

плекс социализует образованную публику на основе вербальной культуры типографского периода.

Литература живым голосом соединяет науку и риторику. В Новое время распространение национальных литератур дает культурную почву интеллигенции. В России симбиоз высокой письменности и упомянутой прослойки сложился в XIX в. Во Франции раньше — в XVIII в. Тогда повести Вольтера, романы Руссо, пьесы Бомарше переводят производство общественного мнения и вкуса из дворца за газетный столик кофейни, в библиотеку, на подмостки театра. Деятели Просвещения, подготовившие революцию, писали не только беллетристические вещи (не столько даже и беллетристические), однако нельзя отрицать, что установившаяся легитимность литературного вымысла и расширившаяся вследствие роста грамотности сфера его распространения, очень благоприятствовали предреволюционной пропаганде. Вольтер, Руссо, Дидро и многие другие были, прежде всего, литераторами — людьми, распространявшими взгляды от себя, а не по службе, в занятой и доступной большинству манере.

Указанные возможности литературного и околотитулярного повествования позволили задействовать его в широчайшем социополитическом спектре, привели к олитературиванию целых практик, которые, собственно, литературой не являются. Они породили своего рода литературные религии, политики, науки, в т. ч. историографию «золотого века истории», которую Ланглуа, Сеньобос и другие «методисты» соглашались брать только в качестве преодоленных предпосылок своей профессиональной науки. Напротив, «новые» видели в ней прообраз истории-проблемы, способной организовать другие науки в поле коллективного исследовательского поиска и на высоком градусе общественного интереса.

Наложение беллетристически разработанной формы повествования (означающее) на содержание (означаемое) равно допускается в вариантах художественного вымысла и достоверного повествования о прошлом. Автономия двух стратегий беллетризации обосновывается соответственно эстетикой и философией истории, но в «век истории» между регистрами практического использования повествовательного дискурса не было труднопроницаемых барьеров. Последние воздвигнутся позднее, с появлением профессиональной специализации науки о прошлом по типу естествознания.

Собственный метод истории есть повествование. Классическая гуманитарность, т. е. примерно до рубежа XIX и XX вв., была преимущест-

венно историей. Как справедливо указывает И.М. Савельева, «до этого времени интеллектуальный багаж социального знания находился в общем распоряжении»²⁵. Однако этот общий багаж не воспринимался как междисциплинарный. Имплицитная междисциплинарность «века истории» не есть междисциплинарность в современном понимании. И не потому, что она нерелексивна, а потому, что для сциентиста история-повествование не есть метод. Методологические дискуссии, которые бушевали в Германии с конца XIX в., об этом: следует ли укладывать историю с ее костяком повествовательности в прокрустово ложе сциентизма. Отголоском антисциентистского хора звучит название классического произведения философской герменевтики XX в., книги Г.-Х. Гадамера «Истина и метод»²⁶. Оно, как известно, иронично и читается так: истина не есть метод. Однако это арьергардные бои, поезд уже ушел, антропоурус сменился. Критерий дисциплинарной сегментации новоевропейского знания работает на стороне объективизма, и в этом отношении образцовым человекоприменением становится психология с ее лабораторно-экспериментальной методологией. Я не буду касаться известных эпистемологических коллизий указанного обстоятельства и ограничусь указанием социокультурных причин, по которым история может считаться антропоурусом предыдущей эпохи, т. е. повествовательным фокусом, в котором собираются и через который проецируются на человека все знания того времени.

Можно предположить, что на некоторое время семейство «скрипто» становится ведущим генератором человекоформ. Хронологически центральное положение письменных нарративных практик в культурного производства совпадает с переходом от «старых режимов» к новым территориальным национальным государствам, от антропокультурной формации традиционализма к антропокультурной формации современности.

Конечно, Февр и Блок — люди современности, но десятилетий жестокого кризиса республиканских устоев Франции. В этом отношении им более созвучны Мишле, Гизо, Тьерри и другие романтики, чем Лаглуа и Сеньобос, чьи главные достижения приходятся на время относительной стабильности Третьей республики.

В 1945 г. Февр обрушивается с филиппикой на очередной труд по дипломатической истории. На этот раз его претензии к архивному позитивизму много серьезней, чем обычно. Он обвиняет его в предательстве Франции и в катастрофе 1940 г. «Эта мирная игра по маленькой накануне 1940 г., эта невинная игра, которая привела нас, и наших дипломатов,

и нашу дипломатию ко всем известному итогу — не слишком ли она затянулась? До 1940 г. можно было говорить, пожимая плечами: «Это неразумная игра». Теперь нужно сказать: «Игра, направленная против Франции». Мы не желаем больше в нее играть»²⁷. Речь уже не о том, что группа квалифицированных французских историков написала внушительный труд «Дипломатическая история Европы (1871–1914)» в старомодном духе Ланглуа и Сеньобоса, а о том, что эта историография пренебрегла своей ролью воспитательницы французского народа и занимала его пустяками в критический момент национальной государственности. «Что же надо было делать? Прыгнуть в лодку, мужественной рукой схватить весла, возглавить события. Тут мы принялись искать Францию. И в конце концов нашли ее — нашу милую маленькую Францию, столь мудрую, столь рассудительную, — в поношенном старомодном платье, она сидела в саду возле прадедовского домика и, заткнув пальцем уши, дабы ничего не слышать, читала и перечитывала своих старых классиков. Мистеров пресловутой французской умеренности»²⁸.

Удалось ли Синтезу и «Анналам» возратить науке о прошлом роль, которой та обладала в «век истории»? Считается, что Февр и Блок — это люди, которые произвели «французскую историографическую революцию»²⁹. Суть переворота состояла в расширении предмета исторического изучения с преимущественно политики на все сферы человеческого бытования: экономику, общественные отношения, географию, познание, культуру, психику. Если это так, то история должна опять стать антропусом. Но увенчалась ли успехом революция «Анналов», как задумывали ее Февр и Блок в 1930-е гг.? Не означает ли перенасыщение нынешних исторических исследований тематикой социологии, политологии, психологии, культурологии, экономики и прочих наук совсем обратное — сдачу истории-проблемы? Ведь создатели «Анналов» мечтали совсем не о том, чтобы их наука как губка впитывала все знания, которые имеются вокруг. Они предполагали, что она будет этими знаниями руководить.

Общественно-политическая обстановка их времени, напоминавшая им пору борьбы республиканского строя со старым режимом, давала надежду на возрождение «века истории» в условиях свершившейся научно-технической революции XX в. Рекомбинация отношений в сложившихся кластерах научных дисциплин мыслилась не структурно-предметной, а генеалогической, диахронной, с переводом человекоориентированности в плоскость исторической проблематизации. Напротив, новая волна полидисциплинарности с конца XX — начала XXI в. суще-

ствуется уже отчасти после современности и утрачивает интерес к большому историческому времени; она обнаруживает некоторые аналогии с трансдисциплинарностью берро-февровского проекта, но не гомологию плана строения.

¹ См.: Бутру Э. О случайности законов природы. М., 1900.

² Berr H. La synthèse en histoire. Essai critique et théorique. P., 1911. P. 510–511.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Berr H. Sur notre programme // Revue de synthèse historique. 1900. № 1. P. 2.

⁶ См.: Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993.

⁷ Moller B. Lucien Febvre et Henri Berr: de la synthèse à l'histoire-probleme // Henri Berr et la culture du XX^e siècle. P., 1997. P. 38–39.

⁸ Berr H. La synthèse en histoire. Essai critique et théorique. P., 1911. P. 5.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004. С. 293–294.

¹¹ Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 17.

¹² См.: Berr H. L'avenir de la philosophie. Esquisse d'une synthèse des connaissances fondée sur l'histoire. P., 1899.

¹³ Neri M. Vers une histoire psychologique: Henri Berr et les semaines internationales de synthèse (1929–1947) // Henri Berr et la culture du XX^e siècle. P., 1997. P. 227–228.

¹⁴ Gemelli G. Lucien Febvre et la représentation de l'État contemporain. Le tome X de l'Encyclopédie française // Cahiers Jaurès, 2002/1–2 (№ 163–164). P. 97.

¹⁵ Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 52.

¹⁶ Цит. соч. С. 52–53.

¹⁷ См.: Шкуратов В.А. Психика. Культура. История: Введение в теоретико-методологические основы исторической психологии. Ростов-на-Дону, 1990.

¹⁸ См.: Шкуратов В.А. Историческая психология на перекрестках человекознания // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. М., 1991.

¹⁹ См.: Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 2-е, расшир. М., 1997.

²⁰ Шкуратов В.А. «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?». Время эпох и темпоральный примитив // Стены и мосты. Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории. М., 2014.

²¹ Он же. Антропокультура и сапиентный диапазон эволюции // Стены и мосты. Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях. М., 2012.

²² Rose N. The Psychological Complex: Psychology, Politics and Society in England 1869–1939. L., 1985; Idem. Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. L., 1990. Idem. Inventing Our Selves: Psychology, Power and Personhood. Cambridge, 1996.

²³ См.: Шкуратов В.А. Психология в истории культуры и познания. Ростов-на-Дону, 2011.

²⁴ Он же. Самый первый роман психопатологии // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2012. 1 (20).

²⁵ *Савельева И.М.* Культурная история: суверенность дисциплины в век междисциплинарности // Стены и мосты. Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории. М., 2014. С. 65.

²⁶ *Гадамер Г.-Х.* Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.

²⁷ *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. С. 60.

²⁸ Цит. соч. С. 60–61.

²⁹ См.: *Burke P.* The French Historical Revolution // The Annals School 1929–1989. Cambridge, 1990.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ: CETERIS PARIBUS VS AD FONTES

Володин Андрей Юрьевич
МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы междисциплинарного развития экономической истории на перекрестке двух исследовательских культур — истории и экономики. В центре внимания находятся сложности и возможности соединения экономической теории и исторических источников в едином проблемном поле историко-экономических изысканий, в т. ч. на примере глобальной экономической истории. Особое внимание уделяется взаимодействию принципа абстрагирования в экономической теории — *ceteris paribus* («при прочих равных») и принципа опоры на документальные свидетельства в исторической науке — *ad fontes* («к первоисточникам»).

Ключевые слова: экономическая история, экономическая теория, клиометрика, междисциплинарность.

Экономическая история является классической междисциплинарной областью. Классической — потому что со времени «клиометрической революции» в 1960-х гг. мало у кого возникают сомнения, что экономическая история существует как самостоятельное историографическое направление. Междисциплинарной — потому, что в основе экономической истории заложен весьма сложный симбиоз экономической теории и исторических методов исследования. Такое сочетание позволяет экономической истории быть достаточно плодотворной областью научного поиска, вместе с тем споры о «вызовах междисциплинарности» не утихают. В статье рассматриваются особенности соединения в экономической истории двух принципов: принципа абстрагирования в экономической теории — *ceteris paribus* («при прочих равных») и принципа опоры на документальные свидетельства в исторической науке — *ad fontes* («к первоисточникам»).

Споры о применении (иногда и о применимости) количественных методов в истории ведутся давно и активно¹. Но стоит обратить внимание не столько на дебаты вокруг квантификации, сколько на варианты поиска собственного пути развития междисциплинарности на почве

историко-экономических изысканий. Поиск пути сотрудничества и партнерства экономики и истории оказался не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Полвека развития клиометрики сформировали весьма крепкий, но узкий круг исследовательских групп, тяготеющих к использованию междисциплинарных подходов к изучению социально-экономической реальности². Причем историкам этот процесс видится прежде всего как апробация различных количественных методов и экономических концепций, тогда как экономисты видят в этом пути обращение к историческим данным и архивным документам.

Клиометрика: между двух культур

Карло Чиполла в книге-введении в экономическую историю сформулировал положение экономической истории в современной науке так: дисциплина между двух культур³. Корень такого промежуточного положения Чиполла видел в том, что экономическая проблематика, хотя и была традиционно включена в исторические реконструкции, часто находилась на периферии интереса ученых историков и экономистов. Когда же речь заходила об экономических закономерностях, то историческая событийность будто бы отходила на второй план. И даже если ученому удастся выявить какие-то содержательные закономерности, то всегда могут возникнуть вопросы, а что собственно определяет экономическое развитие, в чем его причины, возможно ли выявить «вневременные» тенденции и закономерности экономического роста, которые вовсе не связаны с конкретными действиями людей и их последствиями.

Клиометрика (cliometrics) как направление, в основе которого лежит использование эконометрики в исторических исследованиях, расцвела в 1960–1970-х гг.⁴ Сам термин клиометрика получил определение как раз в 1960 г.: «Вкратце, логическая структура, необходимая для исторической реконструкции прошлой экономической жизни из сохранившихся обломков, включает в себя идеи истории, экономики и статистики. “Потомок” такого действия по *междисциплинарному смешению* был назван достойным именем: в Пэдью полученную дисциплину окрестили “Клиометрика”»⁵. В это время будущий нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норт становится редактором рупора клиометрики — «Journal of Economic History»⁶. Старт «клиометрической революции» был дан⁷.

Измерение — установление соотношения между качеством и количеством — стало важнейшей процедурой, связующей рабочие гипотезы

экономики и эмпирические данные истории. Будь то изучение роли железных дорог в американской индустриализации или оценка экономической эффективности рабского труда — основой для междисциплинарных взаимодействий становился именно измерительный подход. Следует отметить, что количественный интерес в истории не очень сильно отставал от освоения математического инструментария исследований в экономической науке. Так, Пол Самуэльсон опубликовал «Основания экономического анализа» в 1947 г., после чего экономика начала бегло говорить на языке математики⁸.

Обратиться к вопросам становления клиометрического направления полувекковой давности потребовали современные дискуссии. В частности, ставшая весьма известной полемическая книга Франческо Болдиззони «Нищета Клио: воскрешение экономической истории»⁹. Болдиззони разделил существующую в мире практику исследований в области экономической истории на три типа междисциплинарности. Первый тип — это «гуманитарные» исследовательские нарративы, ориентированные больше на исторические источники, нежели на решение научных проблем. Второй тип — «клиометрические» научные построения, использующие историю как инструмент для проверки экономических теорий. Третий тип — «творческий» подход, который предполагает формулировку на основе исторических исследований идеальных типов или конкретно-исторических моделей, которые смогут поспособствовать созданию в близких областях науки собственных обобщающих или сравнительных моделей¹⁰. Таким образом, следует отметить ситуацию методологического выбора: что важнее для исследователя — источник, теория или «идеальный тип»? Такой выбор действительно во многом предопределил пути развития экономической истории после Второй мировой войны, став основой для развития различных подходов, а с ними и школ экономической истории.

***Ceteris paribus*: теоретические перспективы**

Ceteris paribus — известное допущение, часто используемое в экономическом анализе, когда для изучения зависимости между несколькими величинами все остальные переменные считаются неизменными. Для экономической истории отношение к этому принципу стало основой для методологического выбора нескольких поколений экономических историков. Более того, отвлечение от деталей привело к явным диспропорциям, прежде всего европоцентризму в стиле «Европейского чуда» Эрика Джонса¹¹. Глобальная экономика ставит во главу угла иные вопро-

сы, важным оказывается уже не доказательство исключительности исторического развития, а сравнительная оценка эффективности экономической политики, реализуемой в разных культурных или даже скорее цивилизационных контекстах¹². Преодоление географических оков, выход за пределы национальных границ на уровень региона, затем континента, а вслед за этим и мира в целом, позволяет полнее и по-новому взглянуть на, казалось бы, уже известные проблемы. Показательной в этом смысле является работа Кеннета Померанца «Великая дивергенция: Китай, Европа и рождение современной мировой экономики»¹³. К. Померанц указывает на то, что сравнение китайской и европейской цивилизаций нельзя ограничивать сегодняшним днем, так как если роль китайской экономики была в сравнении с европейскими показателями низкой в XVIII–XIX вв., то в XIII в. расклад сил был противоположным — Китай был экономическим лидером мира.

Подобный глобальный взгляд на экономическое развитие имеет смысл прежде всего по той причине, что экономическая теория предоставляет ясные основания для единообразного рассмотрения различных моделей экономической политики. Классические вопросы экономики: что производить, как производить, для кого производить — могут стать основой для сравнения, независимого от некоторых культурных особенностей, сравнивающих экономические результаты как раз *ceteris paribus*. При этом новый подход к историко-экономическим сюжетам сформировал самостоятельное и цельное направление, которое назвалось «новой сравнительной экономической историей»¹⁴. Как утверждают апологеты этого направления, призывая в свою защиту исследования С. Кузнецца, А. Льюиса и Д. Норта, новая сравнительная экономическая история основывается на убеждении, что экономические процессы могут быть поняты путем сравнения исторического опыта разных эпох и регионов. Странники сравнительной экономической истории подчеркивают, что осознанно отходят от привычного подхода, берущего за основу развитие национальных экономик, и принципиально ориентируются в своих исследованиях на возможности выяснить вклад каждого конкретного опыта в общее понимание экономического роста. В таком случае пример британской индустриальной революции интересен не столько как иллюстрация особого пути национального развития, а как опыт, который должен прояснить смысл индустриализации и в целом ее роль в экономическом росте.

Говоря о глобальной перспективе современной экономической истории, нельзя не вспомнить об историко-экономическом бестселлере

последних лет — книге Грегори Кларка «Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира»¹⁵. Исследование Г. Кларка, основанное на мальтузианском видении социально-экономических проблем, стало катализатором многочисленных дискуссий по всему миру. Успех этой книги, вероятно, кроется в том, что Кларк обращается к исконным вопросам экономической истории: почему одни регионы богаты, а другие бедны; почему случилась промышленная революция, и к каким эффектам экономического роста это привело в разных частях света; как индустриализация обогатила мир и почему же не всех это богатство коснулось? К тому же Кларк, во-первых, использует и широкую хронологию (первый же график его работы рассматривает развитие экономики от «мальтузианской ловушки» до «великого расхождения» на шкале в три тысячелетия). А во-вторых, Кларк применяет глобальный подход, легко перемещаясь из одной точки мира в другую, в зависимости от стоящих перед ним исследовательских проблем и имеющихся ретроспективных экономических данных. Кларк охотно сравнивает занятость и богатство охотников и собирателей с индустриальными рабочими и служащими, пытаясь увидеть пользу исторического сравнения для теории современного экономического роста. Кларк также рассматривает институциональные возможности для экономического роста в различных регионах мира, приводя читателей к выводу, что само наличие институтов играет важную, но не решающую роль. Решающее же значение принадлежит культурным изменениям, которые порождены долгосрочным использованием институтов, в частности, возможностью адаптироваться к экономическим изменениям и привычке к прилежному труду. Конечно, точку зрения Кларка нельзя абсолютизировать, более того, как показывают научные дебаты, некоторые его наблюдения не лишены упрощений¹⁶. Однако пример исследования Кларка показывает, насколько важными, интересными, широкими и даже популярными могут оказаться дискуссии по экономической истории. И более того, первоначально принятый принцип *ceteris paribus* приводит исследователя к выявлению культурно-исторических различий.

***Ad fontes*: от документов к данным**

Современные исследования по экономической истории в основном опираются на оцифрованные исторические источники и данные. Интересно заметить, что если для отечественной экономической истории призыв к источникам синонимичен призыву идти в архивы, то для европейской и американской традиций речь будет скорее о поиске подхо-

дящих данных. Современные информационные технологии позволяют весьма активно обмениваться разнообразными и сложными электронными таблицами и базами данных, содержащими многочисленные экономические параметры. Многообразие уже имеющихся в открытом доступе электронных данных можно оценить, например, на основе электронного каталога «Historical Statistics»¹⁷. Данные, отражающие экономические процессы разных регионов в разные исторические эпохи, позволяют исследователям увидеть собственные изыскания в более широком контексте, понять специфику, увидеть общие черты, найти взаимосвязи.

Образцовым в этом смысле примером является электронный ресурс «Историческая статистика США»¹⁸. Статистические показатели разделены на пять основных категорий: народонаселение, труд и благосостояние, экономическая структура и производительность, экономические секторы, управление и международные отношения. Каждый из разделов содержит сотни таблиц, отражающих динамику развития американской экономической истории на всем протяжении имеющихся статистических наблюдений.

Большая работа по сбору и систематизации динамических историко-экономических показателей ведется в рамках проекта «Maddison Project Database»¹⁹. В рамках проекта, организованного коллегами и учениками Э. Мэддисона, публикуются обновленные данные, составленные по его методике. Подробности об обновлениях исправно публикуются в аналитических материалах, в частности, статье Ю. Болт и Я.Л. ван Зандена²⁰.

Важное место в сборе и электронной публикации данных о глобальном социально-экономическом неравенстве занимает сегодня проект «Clio Infra»²¹. Многочисленные индикаторы неравенства позволяют исследовать глобальные закономерности в рамках институциональной экономики, экономической географии и теории экономического роста. Сопоставление показателей экономического роста и изменения показателей неравенства позволяют выявлять скрытые закономерности на основе весьма обширных данных (некоторые показатели в перспективе будут охватывать хронологию с 1500 до 2013 г.).

Миннесотский центр изучения народонаселения уже много лет собирает уникальную коллекцию данных в рамках проекта IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series)²². Интегрированная коллекция серий микроданных предназначена для общего пользования, причем есть данные как по США, так и по многим странам мира (в рамках про-

екта IPUMS International). Особенностью проекта IPUMS является то, что исследователи после несложной регистрации получают доступ к первичным данным переписей населения, а не только к агрегированным данным в публикациях официальной статистики.

Можно заметить, что интерес к историко-экономическим данным проявляется не только за рубежом, но и в российской практике стали появляться электронные ресурсы подобного рода. Примером тому может служить созданный под руководством Л.И. Бородкина тематический электронный ресурс «Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале XX вв.», опубликованный на сервере исторического факультета МГУ²³. Создана электронная коллекция динамических рядов, характеризующих процессы экономического развития и социальной модернизации России XIX — начала XX вв. Рассматриваемый период — ключевой в контексте модернизационных процессов дореволюционной России²⁴.

В последние годы ведутся работы по созданию «Электронного архива российской исторической статистики XVIII — XXI вв.». Проект под руководством А.М. Маркевича и Х. Кесслера имеет целью собрать по единой программе статистику по экономической и социальной истории России на нескольких временных срезах за последние три века по пяти направлениям: демографии, труду, земле, капиталу и производству. Данные предполагается опубликовать в электронном виде онлайн²⁵.

Необходимо учитывать, что такие электронные ресурсы и такие данные требуют от исследователя не только навыков эконометрического анализа, но и владения источниковедческими навыками и достаточным уровнем исторической экспертизы. Можно сказать, что возможность транслировать исследовательские данные через Интернет становится важной чертой нового уровня международного взаимодействия в экономической истории, которая во многом определит количество и качество приращения нового знания.

Глобальная экономическая история: пути проблематизации

В зарубежных исследованиях последних лет заметны две весьма специфические черты. С одной стороны, это хронологический размах — многие исследования рассматривают развитие историко-экономических явлений на очень длинных хронологических периодах (от века до тысячелетий). С другой стороны, расширение географических границ рассмотрения экономических явлений в свете интеграционных и гло-

бальных изменений, а вместе с тем и постоянные сравнения различных стран и континентов.

Самым красноречивым примером тенденции расширения хронологии и географических границ в историко-экономических исследованиях можно назвать монографию Энгаса Мэддисона «Контурсы мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории», характеризующую два тысячелетия экономического развития мира²⁶. Э. Мэддисон является признанным корифеем историко-экономической статистики²⁷. Его публикации исторической статистики являются наряду со справочниками Брайна Митчелла настольными книгами большинства экономических историков мира²⁸. Тем более интересным кажется обращение Мэддисона к анализу макроэкономических наблюдений большой длительности. Мэддисон в книге недаром рассматривает как прошлое, так и будущее, именно такая диахроническая связь характерна для макроэкономической тенденции современной историографии по экономической истории. Монография открывается обзором развития мира от экономической модели Римской империи до специфики постколониальных моделей в Африке. Вторая часть книги посвящена истории и актуальным проблемам фиксирования экономических наблюдений, их обработки и использования при принятии решений и формировании экономической политики (с середины XVII в. до наших дней). Третья часть исследований Мэддисона посвящена возможностям экономического прогноза на примере демографических и климатических изменений, изучаемых на основе ретроспективных данных.

Другим примером может служить важный опыт по расширению географических границ, предпринятый авторами «Кембриджской экономической истории Европы нового и новейшего времени»²⁹. В рамках паневропейского научного проекта экономические историки проделали значительную работу по обобщению исторических знаний о европейском экономическом развитии в XVIII–XX вв. Результат оказался крайне неожиданным — два тома новой экономической истории устроены проблемно в рамках двух периодов (1700–1870 и 1870–2000 гг.): исследуются такие вопросы, как демография и человеческий капитал, промышленность и сельское хозяйство, сфера услуг и бизнес-циклы. И самое важное, что Европа рассматривается в этом двухтомнике как *единый* экономический организм. Поначалу такой подход может показаться презентистским, мол, если сейчас Европа объединяется, то почему бы не посмотреть на нее как единую и в годы индустриализации. Но при внимательном прочтении складывается совсем иное впечатление: совре-

менные интеграционные процессы нельзя назвать случайностью, т. к. их корни уходят в глубину веков. Отход от национального подхода к истории европейской экономики весьма показателен, т. к. он позволяет гораздо больше сравнивать, чем, например, позволял реализованный в 1960–80-е гг. проект 8-томной «Кембриджской экономической истории Европы»³⁰. По-новому написанная экономическая история единой Европы закладывает основу для переосмысления историко-экономических проблем, равно как и открывает перспективу для новых исследовательских проектов.

Итак, принципы *ceteris paribus* и *ad fontes*, вступив в противоборство в начале «клиометрической революции», стали мирно уживаться в рамках глобальной экономической истории. Более того, можно уверенно утверждать, что первоклассные исследования по экономической истории сегодня опираются на соединение и теории, и источников, и «идеальных типов», т. е. всех трех типов клиометрической междисциплинарности. И можно заметить, что ответ о методологическом выборе экономических историков был дан вполне в духе междисциплинарности: выбор встал не между этими тремя исследовательскими подходами в экономической истории, а выбор сделан в пользу соединения всех этих трех подходов в каждом конкретном исследовании.

¹ В качестве интересного примера приведу заочную дискуссию Л.И. Бородинки с Дж. Тошем: *Бородин Л.И.* Клиометрика: pro et contra (виртуальный диалог) // Экономическая история. Обозрение. Вып. 7. М., 2001. С. 114–132.

² *Бородин Л.И.* Клиометрика // Теория и методология истории / Отв. ред. В.В. Алексеев и др. Волгоград, 2014. С. 440–447.

³ *Cipolla C.* What Is Economic History? // *Between Two Cultures. An Introduction to Economic History* (W.W. Norton & Co., 1992). P. 3–17.

⁴ *Саломатина С.А.* Сорок лет американской клиометрики (заметки по истории научного направления) // Компьютер и экономическая история. Барнаул, 1997. С. 104–130.

⁵ *Davis L.E., Hughes J.R.T., Reiter S.* Aspects of Quantitative Research in Economic History // *Journal of Economic History*, 1960. 20. P. 539–547. Перевод А.Н. Полевой приводится по: *Уильямсон С.* История клиометрики в США // Экономическая история. Обозрение. Вып. 1. М., 1996. С. 75–107 (курсив мой. — А.В.).

⁶ *Two Pioneers of Cliometrics: Robert W. Fogel and Douglass C. North.* Nobel Laureates of 1993. Oxford; Ohio: The Cliometric Society, 1994.

⁷ Разные оценки этапов развития можно найти в сборнике интервью участников клиометрических исследований в США и Великобритании: *Reflections on the Cliometrics Revolution: Conversations with Economic Historians*, edited by

John S. Lyons, Louis P. Cain, and Samuel H. Williamson. London; New York: Routledge, 2008.

⁸ *Samuelson P.A.* Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press, 1947. Подробнее см.: Пол Самуэльсон // Нобелевские лауреаты XX в. Экономика. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 29–35.

⁹ *Boldizzone F.* The Poverty of Clio: Resurrecting Economic History. Princeton University Press, 2011.

¹⁰ *Boldizzone F.* Op. cit. P. 138.

¹¹ *Jones E.L.* The European miracle: environments, economies, and geopolitics in the history of Europe and Asia. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1981.

¹² Анализ ключевых черт современного этапа развития глобальной экономической истории уже был сделан в статье: *Володин А.Ю.* Новые рубежи познания экономической истории // Экономическая история: взгляд из XXI в. М., 2012. С. 10–18.

¹³ *Pomeranz K.* The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton University Press, 2001.

¹⁴ The New Comparative Economic History. Essays in Honor of Jeffrey Williamson / Ed. by T.J. Hatton, K.H. O'Rourke, A. M. Taylor. The MIT Press, 2007.

¹⁵ *Clark G.* A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World. Princeton University Press, 2007. Пер. на рус. яз.: *Кларк Г.* Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира / пер. с англ. Н. Эдельмана. М., 2013.

¹⁶ Обсуждению книги Г. Кларка, в частности, посвящен отдельный номер «Европейского обозрения экономической истории» (см.: Symposium on Gregory Clark's A Farewell to Alms // European Review of Economic History. 2008. Vol. 12, Issue 02).

¹⁷ Historical Statistics. URL: <http://www.historicalstatistics.org> (дата обращения: 10.01.2014).

¹⁸ Historical Statistics of the United States (Millennial Edition Online). URL: <http://hsus.cambridge.org> (дата обращения: 10.01.2014; доступ к табличным данным осуществляется на платной основе).

¹⁹ Maddison Project. URL: <http://www.ggdcc.net/maddison/> (дата обращения 10.01.2014).

²⁰ *Bolt J., van Zanden J.L.* The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820. URL: <http://www.ggdcc.net/maddison/publications/pdf/wp4.pdf> (дата обращения 10.01.2014).

²¹ Clio Infra: Reconstructing Global Inequality URL: <http://www.clio-infra.eu/>

²² IPUMS (Integrated Public Use Microdata Series), Minnesota Population Center. URL: <https://usa.ipums.org/usa/> (дата обращения 10.01.2014).

²³ Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале XX вв. (тематический электронный ресурс). URL: <http://www.hist.msu.ru/Dynamics/> (дата обращения: 10.01.2014).

²⁴ Подробнее см.: *Бородкин Л.И.* Динамика экономического и социального развития России в XIX — начале XX вв. Электронный ресурс // XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4-х кн. / отв. ред. Е. Ясин. М., 2012. Т. 4. С. 285–295.

²⁵ Электронный архив российской исторической статистики, XVIII — XXI вв. URL: http://www.dynastyfdn.com/programs/education/electronic_repository.

²⁶ *Maddison A.* Contours of the World Economy, 1–2030 AD. Essays in Macroeconomic History. Oxford University Press, 2007. Пер. на рус. яз.: *Мэддисон Э.* Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории / пер. с англ. Ю. Каптуревский. М., 2012.

²⁷ Данные, собранные и опубликованные онлайн Э. Мэддисоном при жизни, доступны по адресу URL: <http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm> (дата обращения: 10.01.2014).

²⁸ *Mitchell B.R.* International Historical Statistics: 3 Volume Set, 1750–2005. Palgrave, Macmillan, 2008.

²⁹ The Cambridge Economic History of Modern Europe. Volume 1 (1700–1870), volume 2 (1870 to present day). Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Пер. на рус. яз.: Кембриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени. Т. 1. 1700–1870. М., 2012; Т. 2. 1870 — наши дни. М., 2013.

³⁰ The Cambridge Economic History of Europe. Vol. 1–8. Cambridge: Cambridge University Press, 1966–1989.

ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ VS ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гайдук Владислава Леонидовна
НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва

***Аннотация:** В статье сравниваются две дисциплины: визуальная антропология и визуальные исследования. Сопоставление проводится по следующим критериям: контекст возникновения дисциплины, объект, методы каждой из дисциплин. В результате автор приходит к выводу, что дисциплины возникают в разное время, в разном интеллектуальном контексте, востребуют из смежных дисциплин разные методы, более того, объект визуальной антропологии и визуальных исследований различен.*

***Ключевые слова:** визуальная антропология, визуальные исследования, визуальный поворот, фотография, антропологическое кино.*

В современных русскоязычных исследованиях можно встретить высказывания такого типа: «последствия визуального поворота нашли отражение в появлении такого самостоятельного направления, как “визуальная антропология”»¹. В высказывании присутствует явное временное противоречие. Заключается оно в следующем: визуальный поворот в истории науки принято соотносить с концом 1980-х гг.², визуальная антропология как самостоятельная дисциплина сформировалась в середине XX в. Следовательно, визуальная антропология не может являться результатом визуального поворота. Смещение визуальной антропологии и визуальных исследований возникает довольно часто: наличие визуального компонента в обоих терминах вводит в заблуждение, что при изучении любого визуального материала правомерно задействовать как визуальные исследования, так и визуальную антропологию.

Такой подход не вполне корректен — два разных термина все же обозначают два разных предметных поля. В качестве доказательства этого тезиса обратимся к анализу такого формального критерия научной дисциплины как положение научных центров в университетской иерархии, т. е. проанализируем, к какому структурному подразделению относятся центры визуальной антропологии и центры визуальных исследований. При этом возьмем для анализа зарубежные университеты, в которых

можно найти научные центры, занимающиеся проблематикой обеих дисциплин.

Например, в Университете Южной Калифорнии есть и Центр визуальной антропологии, и Центр визуальных исследований. Центр визуальной антропологии находится на факультете антропологии³, а Центр визуальных исследований — на факультете истории искусства⁴. Сходная ситуация наблюдается и в Университете Оксфорда⁵, Университете Кента⁶ и др. за тем исключением, что отдельного центра визуальной антропологии в этих университетах нет, но подготовка магистров по программе визуальной антропологии осуществляется в институтах социальной и культурной антропологии. Таким образом, различие данных дисциплин подтверждается уже на уровне научных институций.

Дж. Элкинс считает, что каждая дисциплина должна обладать следующим набором характеристик: научные авторитеты, объект исследования, методы исследования⁷. Используем схему, предложенную Дж. Элкинсом, и проанализируем визуальную антропологию и визуальные исследования по заданному алгоритму.

Технологическим импульсом для развития визуальной антропологии стала демократизация способов фиксации фото- и видеоматериала, которая произошла в середине XX в. И хотя появление первых этнографических фильмов связано с именем Р. Флаэрти, который работал в 20–30-е гг. XX в., формирование принципов визуальной антропологии произошло лишь в середине столетия.

Дж. Руби и Р. Чалфен предложили три определения визуальной антропологии: «1) исследование нелингвистических форм человеческой коммуникации, которое обычно включает некоторую визуальную технологию сбора данных и анализа, 2) изучение визуальных продуктов, таких как фильмы, в качестве коммуникативной деятельности и материала культуры, подлежащего этнографическому анализу, 3) использование визуальных посредников для презентации данных, исследовательских находок, а также тех находок, которые в противном случае остались бы вербально незакрепленными»⁸.

Остановимся подробнее на втором пункте, а именно, на изучении фильмов. С одной стороны, дальнейшее развитие визуальной антропологии связано, в первую очередь, с созданием антропологических фильмов. Это утверждение можно подкрепить современным состоянием образовательных программ, в рамках которых готовят специалистов по визуальной антропологии.

Для получения степени магистра визуальной антропологии студенты Университета Южной Калифорнии должны представить свой фильм⁹. Главной целью магистерской программы «Визуальная антропология» в Университете Лондона, колледж Голдсмис, является производство визуального продукта, сделанного в рамках антропологии¹⁰. Создание антропологических фильмов — условие получения степени магистра для студентов таких университетов, как Государственный университет Сан-Франциско¹¹, Национальный Австралийский университет¹², Университет Лейдена¹³ и пр.

С другой стороны, ученые в рамках визуальной антропологии занимаются не только созданием антропологических фильмов, но и исследованием художественных фильмов, в том числе и современных. В сборнике «Изучение культуры на расстоянии»¹⁴, выпущенном под редакцией М. Мид и Р. Метро, впервые говорится о возможности анализа визуальными антропологами художественных фильмов. Остановимся подробнее на методике анализа фильма, предложенного в статье «Анализ фильмов в изучении культуры»¹⁵ М. Вольфенштайн. Автор предлагает четыре возможные темы исследования: во-первых, анализ «философских теорий различных художественных стилей»¹⁶; во-вторых, интерпретация фольклорных элементов в фильмах¹⁷; в-третьих, выявление «универсальных психологических мотивов»¹⁸; в-четвертых, исследование работ отдельных режиссеров и актеров¹⁹.

Общая схема интерпретации содержания фильмов основывается на принципах динамической психологии и сводится к следующим процедурам: в содержании фильма выявляется ряд понятий, взятых из динамической психологии; затем определяется, при помощи каких средств каждая из переменных передается в фильме. Для динамической психологии характерно изучение мотивов в качестве главных регуляторов психики как целостного внутреннего процесса²⁰, следовательно, при анализе фильма главной целью становится анализ мотивов поведения героев и соотношение поведения героев фильма с поведением, общепризнанным в данном обществе²¹.

Но вернемся к антропологическому кино. Некоторые исследователи считают создание антропологических фильмов одним из основных методов визуальной антропологии. В современной технической ситуации практически все антропологи в рамках полевых исследований делают фотографии и записывают видео, но не всегда этот материал становится антропологическим кино или фотографией. Обычная фотография становится антропологической в тот момент, когда она рассматривается не просто как способ фиксации материала, а как объект исследования.

Ситуация с видеоматериалом гораздо сложнее: видеоматериал в визуальной антропологии является не столько объектом исследования, сколько его результатом. Антропологическое кино — это не просто видеоряд, это в первую очередь видеоряд, смонтированный исследователем и снабженный текстовым комментарием²². Создание антропологических фильмов является основной целью визуальной антропологии.

Некоторые исследователи склонны связывать с созданием антропологических фильмов именно отечественную традицию, в отличие от западной, которая работает с различными видами визуального материала, в том числе и с художественными фильмами, фотографиями и др.²³ Подобная точка зрения не вполне верна: приведенный выше анализ образовательных программ показывает, что зарубежная визуальная антропология так же, как и отечественная, соотносится в первую очередь с антропологическим кино. Как в зарубежной традиции, так и в отечественной есть работы, в которых авторы анализируют при помощи антропологических методов художественное кино и художественную фотографию.

Таким образом, визуальная антропология формируется в середине прошлого века в рамках культурной антропологии. Объектом визуальной антропологии являются фиксированные изображения, такие как фотоматериалы, видеоматериалы, рисунки и пр. Помимо методов, заимствованных из культурной антропологии, психологии, социологии, лингвистики, считается, что визуальная антропология обладает собственным методом — созданием антропологического кино.

Визуальные исследования возникают позже визуальной антропологии, хотя до появления визуальных исследований как самостоятельной дисциплины существовали исследования в философии, семиотике, литературной критике и т. д., задавшие определенные рамки изучения визуальной культуры.

Внимание исследователей в первую очередь было сосредоточено вокруг нескольких проблем: соотношение картины и слова, соотношение картины и фотографии, соотношение фотографии и слова. В. Беньямин в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» поднял проблему соотношения копии и оригинала, а вслед за этим фотографии и картины. Возникновение технической репродукции, по мнению автора, стало вызовом искусству в его традиционной форме²⁴. Автор не только анализирует соотношение подлинников и копий, но и обозначает изменение восприятия произведений искусства: из разряда уникальных они переходят в разряд рядовых, обыденных, до-

ступных каждому. Главными объектами анализа становятся такие традиционные формы искусства, как живопись, в качестве новых форм выступают фотография и кино. Для В. Беньямина важно показать, что в новых формах искусства нет представления о подлинности, они а priori нацелены на массовое воспроизведение.

Кроме того, В. Беньямин выводит зависимость произведений искусства, в том числе и фото, и кино, от наблюдателя. В подобном восприятии возможны два полюса: собственно произведение искусства и его экспозиционная ценность. В. Беньямин подчеркивает стремительное преобладание экспозиционной ценности над самим произведением искусства в первой трети XX в. Такая ситуация ставит произведение искусства в прямую зависимость от наблюдателя, т. к. только наблюдатель может оценить его экспозиционную ценность.

Р. Барта в первую очередь интересует взаимосвязь фотографий и слов. На примере рекламной фотографии Р. Барт рассматривает три типа сообщений: языковое сообщение, иконическое денотативное сообщение и иконическое коннотативное сообщение. Функция языкового сообщения по отношению к двум иконическим сводится к связыванию всех трех сообщений воедино и закреплению определенного смысла за рекламным фото. Собственно фотография, по мнению Р. Барта, является денотативным изображением, т. е. идеальным, воспроизводящим реальность. Кроме того, фотография вызывает у человека представление не о бытии-сейчас вещи, а о ее бытии-в-прошлом, чего не может сделать картина²⁵.

Среди работ историков, в которых анализируются элементы визуальной культуры, важно отметить работу М. Фуко «Слова и вещи». Автор начинает исследование с анализа картины Д. Веласкеса «Менины». И хотя автор утверждает, что «сколько бы ни называли видимое, оно не умещается в названном»²⁶, он описывает словами то, что изображено на картине, в той последовательности, которая дает ему возможность сделать выводы о соотношении изображенных предметов между собой. За описанием следует анализ картины, результатом которого является констатация «изъятия субъекта»²⁷. Это, в свою очередь, доказывает опосредованность соотношения слов и вещей на картине.

С. Зонтаг также рассматривает соотношение изображения, в частности фотографического, и слова. И вслед за Р. Бартом она утверждает исключительность фотографии как миниатюры реальности²⁸, в отличие от живописи и прозы, которые являются лишь возможной интерпретацией реальности. А вслед за М. Фуко она придает фотографии политиче-

скую окраску, а именно утверждает, что после 1871 г. «фотография сделалась удобным инструментом современных государств для наблюдения и контроля за все более мобильным населением»²⁹.

Во второй трети XX в. в области истории искусства также происходят некоторые перемены. В работах Э. Панофски³⁰ впервые предлагается метод анализа картин, в котором задействовано изучение не только визуальных особенностей произведения, но и общекультурного контекста эпохи, в которую это произведение было создано. Фактически Э. Панофски предлагает изучать не только изображения, но и тексты, созданные в то же самое время, так как во многих случаях именно тексты смогут помочь исследователю грамотно интерпретировать художественные произведения.

М. Баксандолл продолжает линию, начатую Э. Панофски: он исследует влияние социальных практик — таких, как покровительство тем или иным художникам, заказ картин на определенную тематику и пр., — на формирование форм и стилей живописи в Италии XV в.³¹ Дж. Баксандолл подчеркивает необходимость изучения структуры общества, в котором картины создавались и функционировали.

Т. Митчел подытоживает достижения своих коллег, заявляя, что произошел пикторальный поворот, при котором изображение стало пониматься как результат сложного взаимодействия между визуальностью, властью и различными дискурсами. Условием для пикторального поворота стал кризис мировоззрения, связанный с доминированием новых средств производства информации и с ее визуальным характером³².

Таким образом, можно проследить движение со стороны истории, философии, семиотики, литературной теории в сторону обогащения своих исследований визуальным материалом и проблематизации последнего. С другой же стороны, история искусства идет навстречу всем упомянутым выше наукам, расширяя свои границы за счет изучения различных контекстов, в которых создавались художественные произведения. Визуальные исследования становятся точкой пересечения двух этих линий.

Вслед за термином «пикторальный поворот» появляется и термин «визуальный поворот», который в большей степени соотносится с возникновением визуальных исследований. Визуальный поворот исходит из идеи визуальной культуры «как отличительной черты текущего этапа в развитии современного западного общества»³³. В качестве примера можно привести работы современного американского исследователя медийной культуры Н. Мирзоева. Визуальная культура понимается им

как культура, в которой потребитель ищет информацию в области визуальных технологий; под визуальными технологиями автором понимается все — от живописи до телевидения и Интернета³⁴.

В поле визуальных исследований включаются любые визуальные репрезентации, в том числе и не зафиксированные на материальных носителях. Эта особенность визуальных исследований ставит вопрос об объекте исследований. В опубликованной в журнале *October* в 1996 г. дискуссии, посвященной проблемам изучения визуального, проблема объекта визуальных исследований обсуждалась отдельным пунктом³⁵. В процессе дискуссии высказывались разные мнения, но практически все ученые констатировали конструирование объекта субъектом в процессе работы и нематериальный характер объекта исследований³⁶.

Визуальные исследования возникли на пересечении истории искусства, философии, психоанализа, истории, семиотики и литературной теории в отличие от визуальной антропологии, которая возникла в рамках культурной антропологии. Объект двух дисциплин различен: объектом визуальной антропологии является фиксированное фотоизображение или кинокадр; визуальные исследования, по мнению М. Диковитской, работают в большей степени не с фиксированными изображениями, а с образами или с визуальными репрезентациями³⁷. Как визуальная антропология, так и визуальные исследования используют методы, заимствованные из других наук. Визуальная антропология заимствует методы из культурной антропологии, социологии, психологии и лингвистики; визуальные исследования, в свою очередь, — из истории искусства, семиотики, психоанализа. Кроме того, создание антропологического кино считается собственным методом визуальной антропологии, у визуальных исследований собственных методов нет.

Таким образом, визуальная антропология и визуальные исследования являются принципиально разными дисциплинами: они возникли в разных интеллектуальных контекстах в разное время. Безусловно, в настоящее время границы двух дисциплин все больше размываются и, возможно, в будущем на основании визуальной антропологии и визуальных исследований возникнет некая третья дисциплина.

¹ См.: Кулакова И. Выступление на форуме «Визуальная антропология» // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 62–65; Мазур Л.Н. «Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже XX–XXI вв.: в поисках новых методов исследований // Источниковедение.ru [Электронный ресурс]. Электрон. дан. М., 2010–2014. URL: http://ivid.ucoz.ru/publ/lappo_150/mazur_ld/16-1-0-144 (дата обращения 13.02.2014 г.).

² См.: *Elkins J.* Visual Studies. A skeptical introduction. N. Y., 2003. P. 2; *Cartwright L., Sturken M.* Practices of looking. An introduction to visual culture. Oxford, 2001. P. 5.

³ Center for Visual Anthropology // University of Southern California [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Los Angeles, cop. 2008–2014. URL: <http://dornsife.usc.edu/anth/center-for-visual-anthropology/> (дата обращения 13.02.2014 г.).

⁴ Visual Studies research institute // University of Southern California [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Los Angeles, cop. 2008–2014. URL: <http://dornsife.usc.edu/visual-studies/> (дата обращения 13.02.2014 г.).

⁵ Center for visual studies // University of Oxford [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Oxford, cop. 2007–2014. URL: http://www.humanities.ox.ac.uk/research/research_centres/cvs (дата обращения 13.02.2014 г.); MA in Visual Studies // University of Oxford [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Oxford, cop. 2007–2014. URL: <http://www.isca.ox.ac.uk/prospective-students/degrees/visual-material-and-museum-anthropology/> (дата обращения 13.02.2014 г.).

⁶ Art History and Visual Culture // University of Kent. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Canterbury, cop. 2005–2013. URL: <http://www.kent.ac.uk/arts/arthistory/index.html> (дата обращения 13.02.2014 г.); Visual Anthropology // University of Kent. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Canterbury, cop. 2005–2013. URL: <http://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/201/visual-anthropology> (дата обращения 13.02.2014 г.).

⁷ *Elkins J.* Visual Studies. A skeptical introduction. N. Y., 2003. P. 27.

⁸ Цит. по: *Пинк С.* Визуальная антропология в XXI в. // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 69.

⁹ MA in Visual Anthropology // University of Southern California [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Los Angeles, cop. 2008–2014. URL: <http://dornsife.usc.edu/anth/masters-in-visual-anthropology/> (дата обращения 13.02.2014 г.).

¹⁰ MA in Visual Anthropology // University of London, Goldsmith [Электронный ресурс]. Электрон. дан. London, cop. 2000–2014. URL: <http://www.gold.ac.uk/pg/ma-visual-anthropology/> (дата обращения 13.02.2014 г.).

¹¹ MA Program — Visual Anthropology // San Francisco State University. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. San Francisco, cop. 2000–2014. URL: <http://anthropology.sfsu.edu/content/ma-program-visual-anthropology-emphasis> (дата обращения 13.02.2014 г.).

¹² Graduate course work. Masters of Liberal arts // Australian National University. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Canberra, cop. 2001–2014. URL: <http://archanth.anu.edu.au/visualanthropology/graduate-coursework> (дата обращения 13.02.2014 г.).

¹³ Course program // Leiden university. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Leiden, cop. 2004–2014. URL: <http://socialsciences.leiden.edu/anthropology/students/master/visual-ethnography/introduction/course-programme-ve-ca-ds.html> (дата обращения 13.02.2014 г.).

¹⁴ The study of culture at a distance / Ed. By M. Mead and R. Métraux. Chicago, 1949.

¹⁵ *Wolfenstein M.* Movie analysis in the study of Culture // The study of culture at a distance. Chicago, 1949. P. 267–281.

¹⁶ Ibid. P. 267.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. P. 268.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Динамическая психология // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 274.

²¹ *Weakland J.* Feature films as cultural documents // *Principles of Visual Anthropology*. Berlin; N. Y., 1995. P. 47.

²² *Горных А.А.* Визуальная антропология. Видеть себя другим // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 43.

²³ *Шукуров Ш.* Визуальная антропология: пространственное видение и методы изображения человека // Интеллектуальная Россия. [Электрон. ресурс]. Электрон. дан. М., cop. 2014. URL: http://www.intelros.ru/subject/figures/sharif-shukurov/12757-vizualnaya-antropologiya-prostranstvennoe-videnie-i-metody-izobrazheniya-cheloveka.html#_ftn3 (дата обращения 13.02.2014 г.).

²⁴ *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Учение о подобии. М., 2012. С. 194.

²⁵ *Барт Р.* Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 309–310.

²⁶ *Фуко М.* Слова и вещи. СПб., 1994. С. 47.

²⁷ Там же. С. 52.

²⁸ *Сонтаг С.* В Платоновой пещере // Сонтаг С. О фотографии. М., 2013. С. 13.

²⁹ Там же. С. 15.

³⁰ См.: *Panofsky E.* Meaning in the Visual Arts. Harmondsworth, 1970.

³¹ См.: *Baxandall M.* Painting and Experience in 15 century Italy. Oxford, 1972.

³² *Boehm G., Mitchell W. J. T.* Pictorial versus Iconic Turn: Two letters // *Culture, Theory and Critique*. 2009. 50 (2–3). P. 114–115.

³³ *Инишев И.* «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // *Логос*. 2012. № 1 (85). С. 188.

³⁴ *Mirzoeff N.* What is visual culture // *Visual culture reader*. Routledge, 2002. P. 3.

³⁵ *Visual Culture Questionnaire* // *October*. 1996. Vol. 77. P. 25–70.

³⁶ Ibid. P. 65.

³⁷ *Dikovitskaya M.* Visual culture. The study of the Visual after the Cultural turn. Cambridge, 2006. P. 73.

ИДЕОЛОГЕМА. КОНЦЕПТ? ПОНЯТИЕ! (К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ЕДИНИЦЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ИСТОРИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

Калашников Михаил Васильевич

Саратовский государственный технический
университет им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов

***Аннотация:** в статье выявляются инструментально-эпистемологические особенности таких минимально значимых (значащих) единиц исследования, как идеологема, концепт и понятие, используемых в рамках различных полидисциплинарных научных практик. Рассматриваются различные трактовки понятий «идеологема» и «концепт» и определяется их соотношение с понятием «понятие». В качестве универсальной единицы историко-семантического анализа определяется понятие.*

***Ключевые слова:** идеологема, историко-семантический анализ, концепт, понятие.*

В настоящее время междисциплинарные барьеры сломаны. Естественный язык как знаковая система семантически организованного общественного сознания стал предметным полем целого ряда гуманитарных и социальных наук, которые активно используют в своих исследованиях методы и приемы лингвистики.

Однако складывается парадоксальная ситуация — предмет исследования один, в данном случае язык, а приемов и методов его исследования столько же, сколько новых научных практик. Связано это с тем, что новые научные практики в рамках единого предмета исследования в качестве непосредственного объекта исследования выделяют по-разному определяемые ими минимально значимые (значащие) единицы. В силу единства предмета и метода выделение в качестве непосредственного объекта анализа минимально значимой (значащей) единицы определяет и метод ее исследования.

Цель статьи — выявить инструментально-эпистемологические особенности таких минимально значимых (значащих) единиц исследования, как идеологема, концепт и понятие, используемых в рамках различных полидисциплинарных научных практик, и определить по-

нятие в качестве универсальной единицы историко-семантического анализа¹.

Термин «идеологема» впервые был употреблен в «кругу» М.М. Бахтина. В 1928 г. П.Н. Медведев писал: «...идеологический продукт (идеологема) — часть материальной социальной действительности, окружающей человека, момент материализованного идеологического кругозора»².

Бахтин, исходя из марксистской концепции идеологии как ложного (т. е. частного, но претендующего на всеобщность) сознания, в работе 1929 г. термином «идеологема» обозначил ложность, т. е. односторонность и неполноту критических взглядов на творчество Ф.М. Достоевского современных ему исследователей. В частности, он писал: «Для литературно-критической мысли творчество Достоевского распалось на ряд самостоятельных и противоречащих друг другу философем, представленных его героями. <...> С героями полемизируют, у героев учатся, их воззрения пытаются доразвить до законченной системы. Герой идеологически авторитетен и самостоятелен, он *воспринимается* (выделено нами. — М. К.) как автор собственной полновесной идеологемы, а не как объект завершающего художественного видения Достоевского»³.

В 1963 г. Бахтин заменил термин «идеологема» выражением «идеологическая концепция». Конкретизируя свою мысль, Бахтин писал: «Учиться нужно не у Раскольниковых и не у Сони, не у Ивана Карамазова и не у Зосимы, отрывая их голоса от полифонического целого романов (и уже тем самым *искажая их*) (выделено нами. — М. К.), — учиться нужно у самого Достоевского, как творца полифонического романа»⁴.

Следует сказать, что отнесение понятия к разряду идеологем и, соответственно, анализ его как идеологемы, что делает ряд современных авторов, сужает анализ самого понятия до рамок идеологического дискурса, не говоря уже о том, что само отнесение какого-либо понятия к идеологическому дискурсу — это уже акт идеологический. Более того, инструментализация самого термина «идеологема», происходящая в последние годы, приводит к еще большему сужению сферы его использования. Так, например, определяя в 1995 г. термин «идеологема», Н.А. Купина писала: «Идеологема — вербально закрепленное идеологическое предписание»⁵. Г.Ч. Гусейнов, развивая определение Купиной, в 2003 г. уже писал: «...идеологема может быть представлена любым элементом естественного языка — от буквы до устойчивого словосочетания...» и является «...простейшим переключателем с естественно-частного на казенно-публичный режим речевого поведения, и наоборот»⁶.

В современных исследованиях идеологема рассматривается также как вариант вневременной мифологемы⁷ и определяется как понятие «обязательно употребляемое в качестве оценочного»⁸. Вычленяемая таким образом единица исследования не может претендовать на универсальность. Одновременно вследствие того, что междисциплинарность породила целый ряд новых научных направлений, идеологема получает разные трактовки в лингвистических и когнитивных исследованиях⁹.

Этимология концепта связана с латинским *concipere* (*conceptum*) — «познавать, воспринимать, постигать, зачинать, быть беременным». Первоначально слово использовалось в медицине в значении «забеременеть». В начале 1990-х гг. в отечественной науке концепт был институирован как базовый, основной термин таких достаточно проблематичных научных областей, как лингвокультурология и когнитология, всецело обязанных своим появлением ситуации постмодерна в филологии и лингвистике¹⁰. В силу неопределенности предметных областей этих наук оказался востребован и не менее неопределенный термин концепт.

Одной из причин того, что именно концепт, пребывавший до этого в «подвалах» науки, оказался востребован в рамках новых научных направлений, стало неправильно проведенное различие между понятиями вообще и инструментальными понятиями (терминами) — в частности, имеющими жесткий смысл и использующимися в научных практиках в качестве «инструментов» познания. Все это в итоге породило не прекращающуюся до настоящего времени волну когнитивно-лингвистической эквилибристики.

Понятия, понимаемые адептами новых направлений только как рационализированные инструменты науки, были отнесены ими к ее ведению. А чтобы отличить в рамках новых научных направлений понятия естественного языка как единицы анализа от инструментализированных понятий (терминов) «естественные» понятия переименовали в концепты.

В этом, вероятно, был какой-то смысл. Новым наукам необходимо было представить и предоставить свой заново «концептуализированный» объект исследования. В итоге концепт, наряду с такими еще более сомнительными умозрительными конструктами, появившимися несколько ранее, как «языковая личность» и «картина мира» («языковая картина мира»), стал базовым термином лингвокультурологии и когнитологии. Вместе с тем в рамках этих научных областей концепт до сих пор остается не только не определенным, то есть нетерминологизированным, но и неопределенным, в самом широком смысле этого слова, понятием.

В 1996 г., пытаясь определить «концепт» в рамках когнитологии, Е.С. Кубрякова писала, что это «...единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (*lingua mentalis*), всей картины мира, отраженной в человеческой психике». Концепты, как полагала Кубрякова, «...отражают содержание результатов человеческой деятельности и познания мира в виде неких “квантов” знания». Предположив, «...что способность к образованию концептов является врожденной...», Кубрякова пошла еще дальше. В частности, она писала: «Конструирование концептуальной системы <...> происходит еще на **доязыковой** стадии существования индивида и вся она приобретает невербальный характер, почему и должна рассматриваться в терминах *ментальных репрезентаций* (представлений)»¹¹. (Выделено Кубряковой. — М. К.)

Таким образом, согласно Кубряковой, «концепт» — это почти «врожденный» «“квант” знания»¹² «языка мозга», имеющий к тому же «невербальный характер» и сконструированный «еще на **доязыковой** стадии существования индивида», то есть в возрасте от 0 до 1,5–2 лет. Конечно, изучать *таким образом* определенный объект практически невозможно, поэтому в рамках когнитологии «концепт» достаточно быстро становится если не синонимом «понятия», то его заместителем.

Спустя несколько лет Кубрякова давала уже совсем иное определение «концепта». В 2004 г. она писала: «Концепт — это некий отдельный смысл, некая идея, имеющаяся у нас в сознании <...> такая идея существует как оперативная единица в мыслительных процессах, причем единица, выступающая как гештальт — как вполне самостоятельная и четко выделяемая отдельная от других сущность». Пытаясь отделить предметные области когнитологии и лингвокультурологии, но не желая употреблять само слово «понятие», Кубрякова замечает: «Культуролог подчеркивает, что концептов русской культуры немного. Для когнитолога же возможна иная точка зрения — для него все или почти все слова — знаки существования концепта, т. е. того смысла, вокруг которого организуются категории»¹³. Непонятно, однако, к чему относятся «категории» — то ли это «концепты» лингвокультурологов, то ли это заместители «понятий».

Культурологи (лингвокультурологи) отнеслись к «понятиям» не столь агрессивно как когнитологи. В 1997 г. Ю.С. Степанов констатировал: «Концепт — явление того же порядка, что и понятие». Отметив, что «по своей внутренней форме в русском языке слова концепт и понятие одинаковы...», Степанов вместе с тем заметил: «Концепт и понятие —

термины разных наук; второе употребляется главным образом в логике и философии, тогда как первое, концепт, является термином в одной отрасли логики — в математической логике, а в последнее время закрепились также <...> в культурологии...»¹⁴

Отождествив «концепт» математической логики с «концептом» культурологии, Степанов писал: «В науке о культуре термин концепт употребляется, — когда абстрагируются от культурного содержания, а говорят только о структуре (слова Степанова. — М. К.), — в общем так же, как в математической логике. Так же понимается структура содержания слова и в современном языкознании». Самое примечательное, что в качестве образца использования термина «концепт» Степанов принял математическую логику «...в ее наиболее распространенной версии, <...> в системе Г. Фреге и А. Черча...».

Однако если термин «концепт» Степанов позаимствовал из математической логики, то структуру «понятия» он выстроил полностью в соответствии с положениями логической семантики Г. Фреге, где «смысл» и «значение» противопоставляются друг другу. Степанов писал: «В математической логике <...> термином “концепт” называют лишь содержание понятия; таким образом, термин “концепт” становится синонимичным термину смысл. В то время как термин “значение” становится синонимичным термину “объем понятия”. Говоря проще, значение слова — это тот предмет или те предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с нормами данного языка применимо, а концепт — это смысл слова»¹⁵.

Одним их методологических принципов логики как науки является редукционизм — сведение сложного к простому. Причем редукционизм для логики является не случайным, а сущностно необходимым, поэтому, «...следуя по пути, проложенному Фреге и Расселом, она стремится превратить концепт (понятие. — М. К.)¹⁶ в функцию». Еще одной особенностью логики является то, что она оперирует только уже известными, заранее заданными значениями слов: «...поскольку референцию она [логика] рассматривает внутренне пустой, просто как истинностное значение, то она и прилагает ее только к уже образованным состояниям вещей или телам...»¹⁷.

Таким образом, согласно Степанову, значения слов являются не только абсолютными и неизменными, но уже и заранее заданными сознанию человека. А единственной задачей самого человека становится применение слов «правильно, в соответствии с нормами данного языка», то есть адекватно их заранее известным значениям. Абсурдность по-

добного утверждения, если его применять вне рамок логики, очевидна. Оно, в частности, ставит запрет на метафоризацию, так как это будет уже неправильным употреблением слова. Ж. Делез и Ф. Гваттари, в логике Степанова, вообще должны быть объявлены вне закона, так как они писали: «Творить все новые концепты — таков предмет философии. <...> Концепт должен быть сотворен... <...> Концепты не ждут нас уже готовыми <...> Их должно изобретать, изготавливать или, скорее, творить, и без подписи сотворившего они ничто. <...> Концепт не дается заранее, он творится, должен быть сотворен...»¹⁸.

Приводя пример *концептуально-логического* анализа слова, Степанов пишет: «В русском языке слово петух имеет “значение” и “смысл”. Его “значение” — это все птицы определенного внешнего вида <...> “Смыслом” же слова петух будет нечто иное (хотя, разумеется, находящееся в соответствии со “значением”): а) домашняя птица, б) самец кур, в) птица, поющая определенным образом <...> г) птица, названная по своему особенному пению <...> д) вещая птица...»¹⁹.

Заметим, что Л. Витгенштейн, который справедливо полагал, что значение слова есть способ его употребления, выступал против именно такого понимания значения слова «значение». Витгенштейн писал: «Обсудим прежде всего такой момент данного аргумента: слово не имеет значения, если ему ничего не соответствует. Важно отметить, что слово “значение” употребляется в противоречии с нормами языка, если им обозначают вещь, “соответствующую” данному слову. То есть значение имени смешивают с *носителем* имени. Когда умирает господин *N*, то говорят, что умирает носитель данного имени, но не его значение. Ведь говорить так было бы бессмысленно, ибо, утратив имя свое значение, не имело бы смысла говорить “господин *N* умер”»²⁰. (Выделено в публикации. — М. К.) Перефразируя Витгенштейна, можно сказать, что согласно Степанову, люди питаются не мясом петуха, а его «значением», или, как минимум, частью его «значения».

Так как для Степанова «концепт — это смысл слова», то он и определяет его так: «Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. <...> “пучок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, <...> основная ячейка культуры в ментальном мире человека»²¹. Непонятным остается только одно — зачем Степанову понадобился сам термин «концепт»?

В 2007 г. была издана новая книга Степанова, в которой он, смешав план творческого познания и план изучения плана творческого позна-

ния, манифестировал: «...создается *всеобщая гуманитарная наука*, или новая всеобщая антропология, объединяющая разные виды искусств и разделы наук о них»²². (Выделено Степановым. — М. К.)

В рамках «новой науки» соответственно несколько изменилась и трактовка термина «концепт», который теперь рассматривается Степановым как явление культуры родственное «понятию» не только в логике, но и в психологии и философии, а исторически он оказывается близок «идеям» Платона. Метафорически концепт трактуется и как «тонкая пленка». Вместе с тем он определяется и как «...*понятие*, расширенное в результате всей современной научной ситуации». Однако, как полагает Степанов, «Понятие “определяется”, концепт же “переживается”». И «...включает в себя не только логические признаки, но и компоненты научных, психологических, авангардно-художественных, эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций». Одновременно определяющей чертой концепта, согласно Степанову, является его «*минимальность*, или *минимализация*»²³. (Выделено Степановым. — М. К.)

Еще одним особенным свойством концептов в трактовке Степанова является то, что самые большие концепты могут существовать «без имени»²⁴. Степанов пишет: «Осуществление концепта — это прежде всего его имя, но часто, притом в самых важных случаях, просто фраза, целое высказывание, бытовое, музыкальное или живописное, картина или даже нечто несловесное, “недискретное”»²⁵. В январе 2008 г. Степанов в интервью А. Нилогову определил концепты как «тонкие ментальные понятия»²⁶.

Следует заметить, что изучение концептов, образовавшихся якобы до их наименования, если это не какие-то созданные человеком вещи, и, тем более само представление о том, что они могут существовать без имени, т. е. без соответствующей формы, — абсурдно. Путь не только к пониманию, но и к творческому освоению любой действительности — физической, социальной, виртуальной, — лежит через ее именование. «В сознании нет пустых форм, — писал Э. Бенвенист, — как нет и не получивших названия понятий»²⁷. Хотя бы, добавим, и «тонких ментальных».

В настоящее время изучение концептов превратилось в крайне субъективное «творчество концептов», когда существующие в общественном сознании понятия и их словоформы наполняются «сгустками смыслов», соответствующих, по мнению исследователей, данным понятиям. В итоге концепт становится сконструированной самим исследователем предметностью, которая затем им же самим и изучается. Также в обще-

ственном сознании за концептами все больше и больше закрепляется представление об их «деланности», «произведенности». Они также выступают и как уникальные, единичные вещи и товары.

Понятие, в отличие от концепта, — это всегда метафорически образованная абстракция того или иного уровня. Абстрагироваться в сознании человека могут действительно существующие предметности или же социальные явления, всегда существующие только как паутина отношений с узлами институций и принимающие в сознании видимость предметностей, поэтому мы их и называем мнимыми предметностями, или же, наконец, чистые виртуальности, хотя и представляющиеся самому сознанию вследствие их грамматической категоризации как предметности. Поэтому смысл какого-либо понятия, вследствие его изначальной метафоричности и абстрактности, может быть понят только с помощью контекстного анализа значения слова, являющегося формой данного понятия.

Инструментальные понятия, которые используются в рамках научного дискурса, являются не более чем частным случаем употребления понятий естественного языка, имеющих общую с ними форму (слово). Понятия «термин» и «категория» следует также рассматривать как частные случаи использования понятия «понятие».

Термин (*terminus* — в переводе с латыни: предел, граница) — это понятие с заданным, заранее определенным самим исследователем значением. Термины — это и есть те инструментальные понятия, которые используются в научных практиках.

Категории представляют собой метапонятия, то есть понятия высших уровней метафорически образованных абстракций.

Внешней формой идеологем (мифологем), категорий, концептов, понятий и терминов является слово, вне которого они не существуют.

Таким образом, именно понятие, как минимально значимая (значащая) единица, формой которого в свою очередь является соответствующее ему слово, должно быть непосредственным объектом анализа в историко-семантических исследованиях. В русском языке слово «понятие» означает, одновременно, и некий феномен сознания в его схваченности, и процесс понимания, то есть *понятия* некоего предмета, явления или совокупности явлений, которые сознание человека соотносит с этим феноменом. В силу этого понятие динамично в своем объеме и содержании, что и проявляется в изменении значения соответствующего ему слова. Идеологема и концепт должны рассматриваться только как частные случаи употребления и использования соответствующих слов и понятий.

¹ Об особенностях авторского подхода см.: *Калашиков М.В.* Историко-семантический анализ в историческом исследовании: от истории понятий к истории общественного сознания // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 368–390. Применение метода в практическом исследовании см.: *Калашиков М.В.* Понятие либерализм в русском общественном сознании XIX века // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 464–513.

² *Медведев П.Н.* [Бахтин М.М.—?] Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику // Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000. С. 191.

³ *Бахтин М.М.* Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 2000. Т. 2. С. 11.

⁴ *Он же.* Проблемы поэтики Достоевского // Там же. 2002. Т. 6. С. 9, 45.

⁵ *Купина Н.А.* Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь, 1995. С. 13.

⁶ *Гусейнов Г.Ч.* Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. М., 2003. С. 13, 27.

⁷ *Питина С.А.* Концепты мифологического мышления как составляющая концептосферы национальной картины мира. Челябинск, 2002. С. 156–157.

⁸ *Одесский М.* Идеологема «революция» и возможность социальных потрясений в современной России // Логос. 2006. № 5 (56). С. 132.

⁹ См., например: *Мальшева Е.Г.* Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика. 2009. № 4 (30). С. 32–40; *Нахимова Е.А.* Идеологема Сталин в современной массовой коммуникации // Политическая лингвистика. 2011. № 2 (36). С. 152–156; и др.

¹⁰ См., например: Логический анализ языка: Культурные концепты / АН СССР, Ин-т языкознания. М., 1991; *Лихачев Д.С.* Концептосфера русского языка // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. 1993. Т. 52. № 1. С. 3–9; и др.

¹¹ *Кубрякова Е.С.* Концепт // Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. С. 90–92. В своих построениях Кубрякова опиралась на теоретико-гипотетические построения А. Вежбицкой, которая в 1997 г. суммировала их так: «...принятая <...> теория постулирует существование не только врожденного и универсального “лексикона человеческих мыслей”, но также и врожденного и универсального “синтаксиса человеческих мыслей”. Эти две гипотезы, вместе взятые, равносильны постулированию чего-то такого, что можно бы назвать “языком мысли”, или, как я назвала это в моей книге 1980 г., “Lingua mentalis”». (*Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. С. 55.)

¹² Впрочем, некоторые исследователи считают концепт «глобальной мыслительной» единицей. (*Лопова З.Л., Стернин И.А.* Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001. С. 93.)

¹³ *Кубрякова Е.С.* Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004. С. 316, 318.

¹⁴ *Степанов Ю.С.* Концепт // Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2004. С. 42.

¹⁵ Там же. С. 44.

¹⁶ С.Н. Зенкин, переводчик книги Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что такое философия?», оставил французское слово *concept*, которому соответствует русское слово «понятие», без перевода, пытаясь тем самым отличить его от инструментальных «понятий» науки, которые сами авторы, отличая их от «понятий» философии, назвали «функтивами». «Функтивы» С.Н. Зенкин также оставил без перевода. (*Зенкин С.Н.* Послесловие переводчика // Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.; СПб., 1998. С. 280–281.) Отметим, что русские переводы книг Делеза, и не только его, некритически восприняты научной общественностью, в значительной мере способствовали распространению термина «концепт» в отечественных гуманитарных и социальных науках.

¹⁷ Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 172, 176.

¹⁸ Там же. С. 14–15, 21.

¹⁹ Степанов Ю.С. Концепт. С. 44.

²⁰ Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 ч. М., 1994. Ч. 1. С. 98.

²¹ Степанов Ю.С. Концепт. С. 43.

²² Степанов Ю.С. Концепты: тонкая пленка цивилизации. М., 2007. С. 13.

²³ Там же. С. 18–20.

²⁴ В этом отношении на Степанова, возможно, оказало влияние положение С. Пинкера, приведенное, в частности, А. Вежбицкой: «Пинкер пишет: “Поскольку умственная жизнь происходит независимо от конкретного языка, концепты свободы (*freedom*) и равенства могут быть объектом мысли, даже если они не имеют языкового обозначения”». (*Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. С. 23.)

²⁵ Степанов Ю.С. Концепты: тонкая пленка цивилизации. С. 2.

²⁶ «Олбанцы, вперед!» Юрий Степанов о новейших тенденциях в русском языке. Интервью с Юрием Сергеевичем Степановым // НГ-Ex libris. 2008. № 3.

²⁷ Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 92. Заметим, что книга была издана под редакцией Ю.С. Степанова.

МЕМЕТИКА КАК ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИОГРАФИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ

Фокин Александр Александрович

Челябинский государственный университет,

г. Челябинск

***Аннотация:** В статье предлагается новый подход к изучению научных сообществ в целом и исторических групп в частности. Изучение коллективных практик вместо отдельных биографических исследований представляется более актуальной задачей историографии на данный момент. Комплексы мемов могут рассматриваться как важная часть развития исторического знания и теории истории. Необходимо изучать не только отдельных историков и их биографию, а те идеи, которые они производят или распространяют.*

***Ключевые слова:** историография, методология истории, меметика, мем, научные школы, историографический кластер.*

Современная историческая наука активно стремится преодолеть дисциплинарные стены и выстроить методологические мосты. Показателем этого являются различные повороты в гуманитарном знании. В данный момент вряд ли кто сможет точно установить, сколько их было и в какие стороны предлагалось повернуть историкам. Поскольку длительное время отечественная историческая наука развивалась в отрыве от западной традиции, которую можно признать мейнстримом, в современных условиях следует признать разрыв в восприятии теоретических новшеств. Часть историков, самая значительная, на наш взгляд, не имеет представления о наличии поворотов. Эту группу можно отождествить с «туземной наукой», о которой размышляют М. Соколов и К. Титаев¹. Поэтому значительная часть людей, относящих себя к исторической традиции, оказывается исключена из дискуссий о путях развития исторического знания и проблемах научного трансфера. Другая часть резко негативно воспринимает подобные новшества, находясь на позициях позитивизма, зачастую в худшем его проявлении, и считая, что есть комплекс проверенных методов, которые работали у их учителей, работают у них и будут работать у их учеников, а значит, не надо ничего менять и придумывать. Третья часть, стремясь преодолеть разрыв, начинает массовый экспорт различных подходов, иногда это происходит механи-

чески, без серьезного осмысления и рефлексии, превращаясь в некий научный карго-культ.

Если говорить об историках, рефлексирующих по поводу методов и подходов, то призывы к междисциплинарности, полидисциплинарности или к интердисциплинарности в последнее время приобретают значительную популярность. По сравнению с использованием методов только одной дисциплины, без привлечения смежных областей знания, междисциплинарная парадигма выглядит более прогрессивной. Но, по сути, она закрепляет существующее разделение на самостоятельные области знания. Если использовать образное сравнение, то междисциплинарный подход выступает в роли моста, который связывает отдельные острова, сохраняя разрыв между ними. Продуктивнее взять курс на соединение методов различных дисциплин, альтернативой междисциплинарности в таком случае выступает не разобщенность, а пандисциплинарность как слияние методологий, суть которой можно выразить формулой «если работает — используй». На мой взгляд, стоит признать разграничение между дисциплинами, существующими только в силу традиции и бытования определенных практик. Можно согласиться с высказыванием М.М. Крома, сделанным им на выступлении в Центре сравнительных исторических и политических исследований Пермского государственного национального исследовательского университета о том, что практически невозможно выявить особые методы историков или провести принципиальную границу между историей и социологией, поскольку она проходит только в головах историков и социологов. Одновременно с этим можно отчетливо наблюдать существенное разрастание и дифференциацию исследовательских традиций. Уже не только историки, филологи и социологи не могут найти общего языка, но даже внутри одной дисциплины возникают непреодолимые барьеры. Возможно, путь к синтезу лежит не через изучение методов и подходов, а через изучение практик, традиций и идей, которые являются строительным материалом для «научных стен».

Одной из главных трудностей в изучении подобного рода традиций является особое отношение к методологии со стороны современного отечественного исторического сообщества. Можно списать это на наследие советского прошлого, в рамках которого была гегемония марксизма, требующего не осмысления, а только поиска подходящих цитат в работах классиков. Несмотря на присутствие предмета «Теория и методология истории» в ФГОС ВПО «История» (бакалавриат), обязательно методологического раздела в кандидатских и докторских диссертаци-

ях, можно признать практически полное отсутствие российских работ по данной теме. Главным текстом, написанным отечественным историком в последнее время, является монография И.Д. Ковальченко². Несмотря на то что монография была издана четверть века назад, она до сих пор является главным ориентиром многих студентов, аспирантов, докторантов в методологии истории³. Книга содержит ряд интересных положений, особенно в области количественных исследований, но в целом описывает лишь базовые методы, которые ритуально и зачастую слепо переносятся в работы, подобно сакральному знанию, где форма оказывается важнее содержания. Многие историки готовы согласиться с фразой, приписываемой Б.А. Романову: «Заниматься методологией истории — все равно что доить козла», поэтому традиции сообщества ориентируют не на рефлексию о методах, а на работу с источниками. Можно вспомнить творческое наследие А.Я. Гуревича, когда на базе изучения средневековой культуры были заложены основы антропологической концепции истории, опирающейся на принципы исторической школы «Анналов». Но это, скорее, исключение, подтверждающее правило. Несмотря на то, что в перечне специальностей научных работников существует шифр 07.00.09 — «Историография, источниковедение и методы исторического исследования», в списке диссертаций, представленных к защите, на сайте ВАК нельзя обнаружить работы, посвященные методам исторического исследования. Есть диссертации, рассматривающие методы отдельных историков⁴, но они относятся к области историографии.

Большинство российских историков придерживаются принципа, который можно обозначить как «интуитивная методология». Они знают, как провести исследовательскую работу от поиска источников до написания готового текста, но не могут объяснить, как они это делают. В результате возникают две методологии: одна — неосознаваемая, но работающая, и другая — «ритуальная», которую необходимо проговаривать, выражая верность принципам «историзма и объективности», тем самым подкрепляя идентичность с большинством. В итоге, несмотря на признание фундаментального значения методологии и теории истории, она в лучшем случае осмысливается в контексте истории исторического знания.

В последнее время в России именно историография отличается интересом к пониманию принципов работы историков. Благодаря таким институциям, как Российское общество интеллектуальной истории, и журналу «Диалог со временем» удается осуществлять трансфер и распространение наработок зарубежных коллег, а также аккумулировать усилия для совместных проектов. Прежде всего историографы акцен-

тируют свое внимание на личности историка, поэтому большинство работ носит биографический характер. После распада большого советского исторического нарратива открылось множество тем, ранее находившихся в забвении, и произошло возвращение забытых имен, например дореволюционных историков, или переосмысление и переоценка их работ. Следующим шагом в историографии стало изучение научных школ, например, дискуссия о «школе Ключевского» или университетских сообществах — таких, как московские и Санкт-Петербургские историки.

В.П. Корзун, перечисляя методики изучения научных школ, среди прочего выделяет культурологический и коммуникативный подходы. Первый рассматривает науку как культурную практику, которая включает не только знание, но и ценности. Таким образом, формируются определенные корпорации, основной целью которых является самовоспроизводство. Второй подходит к научным школам как к сообществам с определенной коммуникативной структурой, в которой могут быть выделены как внутринаучные коммуникации, так и внешние, связанные со взаимодействием с обществом и властью⁵. Но рассматривать эти подходы только применительно к научным школам нецелесообразно, поскольку большинство научных коммуникаций носит неформальный характер. Работа с конечным продуктом научной деятельности — монографиями, статьями, диссертациями, а также архивными и мемуарными источниками — оправдана с точки зрения доступности материала. Но при этом в сфере внимания оказываются только пиковые точки, а рутинные и повседневные практики, тем более неудачи, зачастую не рассматриваются авторами.

Именно изучение коллективных практик вместо отдельных биографических исследований представляется более актуальной задачей на данный момент. Можно посмотреть на историков как на элементы сложной системы, не сводимой к сумме ее частей, которые вынуждены существовать в определенных территориальных рамках с ограниченными ресурсами и бороться за свое выживание и развитие.

В качестве рабочей гипотезы предлагается введение понятия «историографический кластер», которое позволит перейти от эмпирического описания к теоретическому обобщению. Можно предложить как узкое, так и широкое определения понятия. В узком смысле это региональные коммуникативные образования профессиональных историков, объединенных формальными и неформальными связями и работающих в тесной кооперации, в этом случае главной характеристикой становятся

именно территориальные границы. В различных городах и областях складываются собственные культурологические традиции и традиции изучения региональной истории, что позволяет сформироваться отличительным чертам «историографического кластера». Говоря о широком определении, необходимо отметить, что с развитием коммуникационных технологий значение границ и расстояний постоянно уменьшается. В современных условиях исследователь может гораздо активнее осуществлять коммуникацию с коллегами из других городов и стран, чем с историками своего региона. В таком случае кластер строится исходя не из территориальной близости, а из общих научных интересов. Важным каналом формирования историографических кластеров в широком понимании являются участие в конференциях, научные журналы, монографии и т. п. Так, марксистов, позитивистов, неогегельянцев нельзя рассматривать в качестве научной школы, как формальной, так и неформальной, но они вполне укладываются в концепцию «историографического кластера».

Изучая влияние и распространение идеи, можно обратиться к концепции мемов — информационных единиц, которые передаются как по горизонтали (между историками одного ранга), так и по вертикали (между учителем и учеником или исходят от авторитета). В 1976 г. Р. Докинз предложил использовать термин «мем» как обозначение единицы культурной информации. Вот что он пишет в своей работе: «Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией»⁶. Исследователь выделяет качества, обеспечивающие выживаемость мемов: долговечность, плодовитость и точность копирования. Распространяясь как вертикально, так и горизонтально, мемы, подобно генам, стараются создать как можно больше копий себя. Конкуренция между мемами может приводить или к исчезновению некоторых из них, или к трансформациям. Но если отбор генов происходит в силу эволюционных законов и борьбы за ресурсы, то за что борются мемы, что является их ресурсом? Человеческий мозг в чем-то подобен компьютеру, каждый раз информация заполняет некий объем и в конечном итоге переполняет наш мозг. Так что мемы исчезают по причине поражения в конкурентной борьбе за место в нашем сознании. Важно отметить еще одну схожесть генов и мемов: они действуют не отдельно, а совместно друг с другом, возникают цепочки, в которых одни элементы поддерживают другие.

На данном этапе меметика — еще окончательно не сформировавшаяся дисциплина, в которой есть ряд спорных моментов и нерешенных проблем. И. Носырев в своей работе, посвященной применению меметики к истории религии, приводит хороший анализ критики концепции мемов и разбирает «проклятые вопросы меметики»⁷. Можно согласиться с его мыслью о том, что меметика пока находится в начале становления и основной претензией к ней выступает страх «биологизаторства» по причине несвязанности меметики с существующими гуманитарными традициями. При этом сама книга И. Носырева, как и ряд других исследований, демонстрирует продуктивность использования концепции мемов.

Комплексы мемов могут рассматриваться как важная часть развития исторического знания и теории истории. В таком случае вместо отдельных историков с их биографическими перипетиями необходимо изучать те идеи, которые они производят или распространяют.

Существует точка зрения, что в науке определяющее значение имеют единицы, которые могут быть правы, в отличие от заблуждающегося большинства. Поэтому надо изучать творчество выдающихся ученых, а все остальные являются информационным шумом. Такой подход позволяет сосредоточиться на наиболее значимых фигурах и эпизодах, но при этом научная повседневность оказывается в тени. Можно провести аналогию с айсбергом, когда видна только небольшая часть льда, а основная масса находится под водой. Возможно, для естественных дисциплин, которые обладают формализованным языком и могут проводить экспериментальные проверки, идеи отдельных людей оказываются более значимы, чем точка зрения большинства. Но, на мой взгляд, гуманитарное знание в целом и история в частности являются в гораздо большей степени конвенциональными дисциплинами. Именно консolidированное мнение группы становится определяющим критерием для достоверности концепции. Историк необходимо создавать текст, убедительный для его коллег. Если представить, что «Монтайю, окситанская деревня (1294—1324)» или «Сыр и черви» оказались в XIX в., то вряд ли они были бы поняты и приняты историками той эпохи, поскольку мемы, содержащиеся в данных работах, имели мало точек соприкосновения с доминировавшими мемкомплексами.

Критерий талантливости и значимости непосредственно связан с общим уровнем. Например, в некоторых «историографических кластерах» хорошее знание иностранного языка открывает перед человеком больше возможностей, чем у его коллег, которые плохо владеют другими языками, но в условиях, когда людей со знанием языка много, данный

фактор теряет свое значение. Научная деятельность связана с общением с коллегами, профессиональный исследователь должен существовать в определенной среде, оказывающей на него влияние. Есть известная фраза, приписываемая разным людям, про карликов, стоящих на плечах гигантов. Любой автор вынужден опираться на труды других исследователей, поэтому большинство исторических трудов содержат анализ литературы по рассматриваемой проблеме. Именно поэтому работы малоизвестных историков могут служить фундаментом, на который опираются авторитеты, что является еще одним аргументом в пользу необходимости изучения сообщества историков как системы, в которой функционируют мемы.

Окружение историка может играть не только позитивную, но и негативную роль. Между коллегами зачастую существует конкуренция за ресурсы, аналогичная естественному отбору. В современных российских вузах молодежь не имеет возможности устроиться на кафедры в силу нехватки ставок, поскольку их занимают старшие коллеги. Схожая ситуация с грантами, командировками, публикациями. Как и в природе, индивид может не выдержать конкуренции и не получить возможности размножить свои мемы. С другой стороны, человеку, имеющему определенные преимущества, например административные, гораздо проще построить собственные мемы в мемкомплексы своих подчиненных или учеников.

Обмен мемами — важная часть деятельности любого историка. Если он ничего не публикует, не участвует в конференциях, не читает лекции, то можно сказать, что он не существует как исследователь. Фактически все сферы деятельности историка связаны с функционированием мемов. Например, модную ныне в России наукометрию и оценку деятельности по показателям РИНЦ можно описать в категориях мемов, поскольку индекс цитирования отражает, насколько успешно один исследователь распространяет свои мемы среди коллег.

Исходя из вышеперечисленного, представляется, что меметика может стать одним из продуктивных подходов к изучению историографии и методологии истории. При этом необходимо понимать, что на данный момент и в ближайшей перспективе меметика не станет методом, а будет только вариантом интерпретации данных (различие этих понятий можно описать в компьютерных аналогиях: если метод — это hardware, то подход — это software.). Главной проблемой меметики, как в глобальном плане, так и в рамках исторических исследований, является сложность дифференциации мема. Что в трудах по истории может рассматриваться

как базовая единица передачи информации? Что является структурным элементом исторического исследования? Ответы на эти вопросы должны быть в центре любого труда по меметическому подходу к историографии и методологии. Поиск ответов может проходить не только в теоретической плоскости, но и через изучение конкретных проблем при обязательной теоретической рефлексии. Необходимо выработать привычку не просто следовать «исследовательским рефлексам», а подвергать самоанализу свои действия. В любом случае меметике необходимо обрести сторонников для дальнейшего развития, и данная статья содержит набор мемов для внедрения их в мемкомплексы читателя. Насколько успешно выполнена эта задача, покажет время.

¹ *Соколов М., Титаев К.* Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. С. 259.

² *Ковальченко И.Д.* Методы исторического исследования. М., 1987.

³ Можно указать еще ряд работ в этой теме: *Барг М.А.* Категории и методы исторической науки. М., 1984; *Коломийцев В.Ф.* Методология история. М., 2001; *Румянцева М.Ф.* Теория истории: Учебное пособие. М., 2002; *Смоленский Н.И.* Теория и методология истории. М., 2008; Теория и методология истории: Учебник для вузов / Отв. ред. В.В. Алексеев, Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Л.Е. Гринин. Волгоград, 2014, и др.

⁴ *Кадыкова М.Н.* Проблема биографического метода в исторических исследованиях Т. Карлейля: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2013; *Закиров А.В.* Концепция исторического времени в творчестве Р. Козеллека: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2013; *Левашкина З.Н.* Современные методологические возможности полидисциплинарного анализа историко-психологической природы жестокости и механизмов ее изживания на средневековом Западе: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2013.

⁵ *Корзун В.П.* Научные сообщества историков России: практики антропологического описания (из лекционного опыта) // Вестник ЧелГУ. 2012. № 16. С. 104–106.

⁶ *Докинз Р.* Эгоистичный ген. М., 1993. С. 189.

⁷ *Носырев И.Н.* Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов. М., 2013.

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЫЗОВ В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ

Клягин Сергей Вячеславович

Российский государственный гуманитарный университет,
г. Москва

***Аннотация:** В статье рассматривается проблема развития коммуникативных наук как междисциплинарного феномена, который проявляется во взаимодействии между различными областями знания о языке и языковыми практиками. Показаны направления и актуальные ограничения междисциплинарной кооперации на основе коммуникативных наук. Предложен проективный сценарий развития дисциплинарного поля коммуникативных наук в отечественной научно-образовательной среде.*

***Ключевые слова:** социальная коммуникация, коммуникативные науки, научная дисциплина, социально-культурная обусловленность, научная кооперация.*

Взаимодействие между различными научными дисциплинами и, шире, динамически изменяющимися эпистемологическими регионами отличается в современном социально-гуманитарном познании возрастающим многообразием. Эффективность такого взаимодействия повышается при наличии достаточных общих предпосылок для этого (ресурсы, инфраструктура, воля к сотрудничеству, наличие подготовленных для этого людей), а также при использовании направляющих векторов, «силовых линий» взаимодействия (области научной для научной кооперации, каналы для обмена методиками и результатами исследования между различными областями знания). В настоящее время для социально-гуманитарного познания важнейшим явлением жизни, где соединяются одновременно предпосылки, а также факторы теоретико-методологических и социально-культурных интеракций, в возрастающей степени становятся коммуникативные науки, а также практики социальной коммуникации в индустрии производства знаний и идей.

В общем плане социальная коммуникация выражается в использовании в общественных отношениях возможностей человеческого языка, богатства устной и письменной речи людей. Кроме того, в настоящее время коммуникативные практики активно реализуются в работе

средств массовой информации, в функционировании компьютерных информационных систем, использовании Интернета, в использовании масштабных и разнопрофильных транспортных систем, в формировании и принятии во внимание крупных миграционных потоков между различными регионами мира. То есть коммуникация — это системный феномен, в котором складывается и структурируется устойчивая определенность жизни человека и общества¹.

Главное же состоит в том, что социальные коммуникации становятся неотъемлемой частью современного общественного производства, ядро которого перемещается из материально-вещественной сферы в новую, динамично расширяющуюся область реальности, которую образуют идеи, знания, информация и связанные с ними технологические инновации². Такое положение дел, в конечном итоге, находит выражение в феномене «коммуникативной революции» (Э. Гидденс)³.

Необходимость систематического изучения социальных коммуникаций, важность обеспечения их преемственности и эффективности с помощью образовательных практик приводит во второй трети XX в. к возникновению коммуникативных наук (communication studies) и в целом к формированию коммуникативной парадигмы социально-гуманитарного научного познания⁴. Подобно реальным практикам социальных коммуникаций коммуникативные науки как область научно-практических знаний охватывают широкий круг проблем и тем. Коммуникативные науки ориентированы на изучение широкого комплекса социальных взаимодействий, которые реализуются преимущественно в использовании знаково-символических средств на индивидуальном, межличностном, групповом, социальном и метасоциальном уровнях.

Закономерно, что роль социальных коммуникаций была очень важна на всех исторических этапах развития науки. Также закономерно и то, что в современных условиях проявляется возрастающая значимость коммуникативных наук в диалоге между различными научными дисциплинами.

Коммуникативные науки занимают определенную дисциплинарную «нишу» в изучении языка и практик его использования. Эскизная схема научно-дисциплинарной кооперации в этой области могла бы выглядеть следующим образом. Языкознание и филология обращены преимущественно ко всему содержательному «объему» языка, включая и представления об устройении языка и о его социально-культурных проявлениях и практическом использовании. В лингвистике, поскольку она основана на специфических философско-методологических установках, основное

внимание исследователей связано с формами и структурами языка и с логико-технологическими подходами к его интерпретациям и приложениям. Коммуникативные науки направлены главным образом на вопросы действенности языковых практик, во многом являются каналом трансляции конституитивных знаний из смежных научно-дисциплинарных областей в формат знаний прескриптивных и процедурно-технологических. Таким образом, коммуникативные науки не дублируют другие научные дисциплины, изучающие языковые практики. Они также не являются конкурентами этих дисциплин в построении и реализации различных научно-образовательных проектов. Напротив, коммуникативные науки могли бы выступить своего рода «локомотивом» культурно-исторической и технологической динамики в социально-гуманитарном научном познании, связующим звеном между мозаичными запросами практики и многообразием возможностей научно-дисциплинарных предложений. В настоящее время в коммуникативных науках созданы для этого достаточно перспективные потенциалы междисциплинарного воздействия. Так например, заслуживают внимания разнообразные практические научно-образовательные приложения и инструменты для сфер социального и производственного управления, социокультурных взаимодействий, политических коммуникаций, массовых коммуникаций, маркетинговых и корпоративных коммуникаций, а также в коммуникативных практиках общественной связности (PR, GR, public affairs).

Актуальная роль и возможные перспективы коммуникативных наук для междисциплинарного взаимодействия раскрываются в трех основных аспектах.

Во-первых, коммуникативные науки через содержательную связь с широким кругом социально-гуманитарных дисциплин включают в себя идеи, дискурсы и традиции целого ряда влиятельных культурных ареалов. Коммуникативные науки собирают, интегрируют сообщения из науки и образования, из разнообразных медийных практик, литературы, искусства, политики и религии. Таким образом, складывается концептуальная коммуникативная рамка, своего рода «линза» сообщений, которая становится важной деталью различных механизмов социокультурной интеракции, трансляции и интерпретации. За счет этого коммуникативные науки в целом начинают выполнять роль некоего значимого социально-культурного макросообщения. Необходимо подчеркнуть, что способность различных сообществ генерировать, воспринимать и понимать сообщение такого уровня сложности является в современном мире важным показателем социальной инклюзии.

Практическая общительность коммуникативных наук реализуется в научно-образовательной и издательской деятельности, в формировании профильных баз данных и библиотек на различных материальных носителях, в создании информационных систем для крупных, в том числе международных, профессиональных коммуникативных ассоциаций (NCA, ICA, WCA).

Во-вторых, в присущем им научно-дисциплинарном организационном формате коммуникативные науки являются частью инфраструктуры эпистемологической и социокультурной логистики во взаимодействии между различными научными дисциплинами. Отработанные алгоритмы и последовательности взаимодействия, реализуемые в ходе подготовки и проведения профессиональных конференций и семинаров, обмен студентами и преподавателями в рамках научных проектов и в образовательной сфере, системы распространения различных информационных продуктов, возможность реализации проектов культурно-образовательного туризма — все это превращает коммуникативные науки в полноценный, «широкополосный» канал междисциплинарного сотрудничества. Очевидно, что использование этого инструмента и в дальнейшем может рассматриваться в качестве действенного фактора межкультурного общения.

В-третьих, нельзя недооценивать внутренний теоретико-методологический потенциал коммуникативных наук. Эксперты в этой области вносят большой вклад в изучение работы СМИ, политических и организационных коммуникаций, широкого спектра взаимодействий в различных социокультурных проектах.

Наряду с преобладающими позитивными возможностями коммуникативных наук в междисциплинарном взаимодействии, необходимо учитывать и некоторые ограничения в обращении к коммуникативным наукам как перспективной междисциплинарной области.

Прежде всего следует отметить разный уровень социальной институализации коммуникативных наук в различных странах, в том числе в России и США, где эта область знания является одной из наиболее динамично развивающихся. Если за океаном эта область знания реально признана в качестве научной дисциплины, то в нашей стране, в странах Восточной Европы проблемами социальной коммуникации занимаются представители различных, и нередко весьма разрозненных, научно-образовательных, экспертных и практических профессиональных сообществ (филология, лингвистика, культурология, социология, реклама и связи с общественностью, маркетинговые коммуникации и пр.). След-

ствиями такого положения являются различные «нестыковки» в ходе реализации международных научно-образовательных проектов, некоторые концептуальные и терминологические разночтения в понимании теоретико-методологических оснований и прагматических контекстов коммуникативных практик.

На уровне взаимодействия между отдельными университетскими образовательными программами, между профессиональными ассоциациями (в нашей стране, например, это Российская коммуникативная ассоциация, Ассоциация медиаобразования, Российская ассоциация по связям с общественностью) предпринимаются определенные усилия для преодоления разницы в уровне развития и признания коммуникативных наук. Однако общая проблема остается. В отсутствии реальных перспектив легитимизации дисциплинарного статуса коммуникативных наук в России она может решаться преимущественно за счет наращивания усилий в реализации междисциплинарной кооперации и целевых научно-образовательных проектов.

Неизбежным следствием объективных трудностей становятся субъективные ограничения для использования коммуникативных наук в междисциплинарном взаимодействии. Эти ограничения, к сожалению, находят выражение в пока еще недостаточной профессиональной и организационной структурированности коммуникативного сектора в российской научно-образовательной культуре, в том числе в сфере гуманитарного университетского образования.

Наконец, еще одна крупная тема, важная для обсуждения перспектив междисциплинарного взаимодействия на основе коммуникативных наук как подвижной, открытой эпистемологической модели, связана с особенностями понимания коммуникативных практик, базовых для них феноменов слова и языка, в различных социокультурных регионах.

В настоящее время преимущественное внимание исследователей обращено на дисциплинарное качество коммуникативных наук в тех научно-образовательных культурах, где коммуникативные науки институализированы и признаны различными научно-профессиональными сообществами. На этой основе предпринимаются попытки переноса готовых дисциплинарных теоретических «матриц» и организационных моделей на другие развивающиеся научно-образовательные регионы и культуры.

Опыт развития коммуникативных наук в России показывает возможность различных сценариев развития событий в развитии комму-

никативных наук как базовой области, «платформы» научно-дисциплинарного взаимодействия. Для интерпретации этого подхода может быть использована идея метакоммуникативной, двухуровневой модели изучения коммуникации Р. Крейга⁵. В этой модели коммуникация рассматривается во взаимодействии нескольких относительно самостоятельных научных исследовательских направлений. Предусматривается также возможность масштабирования феноменов, которые могут включаться в аналитическое пространство модели. С учетом сильного влияния на отечественные социально-гуманитарные науки общих культурных и экономических факторов «поле» коммуникативных исследований в нашей стране может строиться во взаимодействии трех взаимосвязанных областей. К ним относятся: система институциональной науки и научно-образовательных учреждений (А); область деловых и профессиональных коммуникаций и корпоративного образования (В); социально-культурная сфера (ценности и традиции культуры) (С).

Названный ранее вариант «лидерского» междисциплинарного взаимодействия реализуется в конфигурации доминирования «А», изолирования и принижения значимости «В», а также игнорирования «С». Вероятен также и некий ускоренный «протестный» вариант внедисциплинарного развития, когда практические задачи решаются на основе ситуативно приспособленных идей, методов и технологий. В этом случае «А» находится в изоляции, «В» доминирует, а «С» игнорируется. Такого рода развитие событий наблюдается в ситуациях, когда на первый план в изучении и реализации коммуникативных практик выходит повседневная деловая конъюнктура, интересы различных корпоративных субъектов и сообществ.

Наиболее же перспективным представляется сценарий проективного (продисциплинарного) развития коммуникативных наук и их встраивания в научно-образовательную кооперацию с другими областями знания. В этом случае может быть налажено оптимальное, диалоговое взаимодействие всех названных областей, за счет чего может быть осуществлено именно органическое культивирование дисциплинарного, интегративного эпистемологического проектного потенциалов коммуникативных наук. При этом важно налаживание постоянного взаимодействия между различными организациями, заинтересованными в изучении коммуникативных наук, а также продвижении моделей культурно-исторически контекстуализированных коммуникативных практик.

В целом же необходимо в итоге подчеркнуть, что дальнейшее развитие коммуникативных наук, адаптированное к научно-образовательным

реалиям и социально-культурным особенностям различных стран и социально-культурных регионов, может стать важным вкладом в повышение уровня междисциплинарного диалога в современном социально-гуманитарном познании.

¹ *Клягин С.В.* Социальная коммуникация: созидание человека и общества // Вестник РГГУ. Сер. «Политология. Социально-коммуникативные науки». 2007. С. 33–46.

² См.: *Уэбстер Ф.* Теории информационного общества. М., 2004; *Бодрийар Ж.* К критике политической экономии знака. М., 2007.

³ *Гидденс Э.* Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004. С. 87.

⁴ *Гнатюк О.Л.* Основы теории коммуникации. М., 2010; *Клюканов И.Э.* Коммуникативный универсум. М., 2010.

⁵ *Craig R.* Communication Theory as a Field // *Communication Theory*. 1999. May. P. 119–161.

СОЮЗ ПО УМОЛЧАНИЮ: СТУДИИ ПАМЯТИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Киридон Алла Николаевна

Украинский институт национальной памяти,
г. Киев

***Аннотация:** В рамках предлагаемой статьи предпринята попытка сосредоточить внимание на практике применения междисциплинарного подхода к конструированию нового направления в социогуманитаристике — студий памяти. Задача исследования — выявить существующие проблемы методологии и тенденции развития теоретического осмысления процессов коллективной памяти в междисциплинарном пространстве; обосновать необходимость формирования студий памяти как перспективного направления междисциплинарного пространства; определить методологический статус и позиции студий памяти в структуре социогуманитаристики; предложить концептуальную модель студий памяти; обосновать целесообразность и условия интеграции различных направлений социогуманитаристики; установить характер этих связей; выявить возможный потенциал студий памяти как направления в сфере междисциплинарности. Кроме того, усматривается необходимость установления конфигурации студий памяти (характера связей между различными отраслями гуманитарного знания, работающих в парадигме памяти); определить «степень автономии» студий памяти в междисциплинарном пространстве.*

***Ключевые слова:** memory studies, память, парадигма памяти, междисциплинарность, методология.*

В течение последних десятилетий исследование проблем коллективной памяти (которая находит выражение в формах коллективных коммеморативных действий, иногда конфликтных) превратилось в одну из ведущих тем отечественной и зарубежной гуманитаристики. Смена мировоззренческих приоритетов в научной картине мира, заинтересованность мирового научного сообщества в исследовании широкого круга проблем коллективной памяти и выявлении различной оптики дискурса памяти, находит выражение в ее полиаспектном изучении. Интерес к исследованиям, определяемым общим термином memory studies, вызван целым рядом обстоятельств. В современных работах изучается природа коллективной памяти, проявляющая себя в процессах социальных трансформаций,

которые связаны с формами репрезентации коллективного исторического знания; используются термины «идентичность», «историческая память», «коллективная историческая память» и т. п.¹

Теоретические основания *memory studies*, складывавшиеся с конца XIX до середины XX вв., разбросаны по разным научным дисциплинам. В частности, П. Хаттон выделяет в этом поле сегменты, сформировавшиеся в первой половине XX в.: исторический (Ф. Ариес, Ж. Лефевр, Ф. Фюре, П. Нора и др.), социологический (М. Хальбвакс), психологический (У. Вордсворт, З. Фрейд, и др.), культурологический (М. Фуко, Ф. Йейтс и др.), герменевтический (Г.-Х. Гадамер)². Российский исследователь А. Дахин предлагает расширение теоретического поля также за счет философского сегмента (А. Бергсон, С. Трубецкой и др.)³. Центральной зоной социально-гуманитарных дисциплин, по мнению доктора политических наук М. Деметрадзе является социокультурная матрица междисциплинарности. Последняя устанавливает систему координат их функционирования и применения; социокультурную содержательность их взаимосвязи; первичность социоцентричности, антропоцентричности, проблемовывяляющее и проблемоопределяющее свойство, социокультурную ориентацию и т. д.⁴

В последнее время наметилась тенденция совместного поиска концептуальной базы, выработки методологии исследования и обособления студий памяти в автономное направление. При этом важно помнить, что появление любого нового научного направления или дисциплины обуславливается не только логикой развития научного знания, своеобразным интеллектуальным климатом, но и релятивизацией знаний общественному развитию, «контекстом открытия»⁵. Студии памяти оказались в предметном поле междисциплинарного пространства, констатируя изменение научно-теоретических приоритетов. Эволюция мировоззренческих основ, формирующих целостную картину мира современного человека, привела к аспектному расширению дискурса памяти, кристаллизации теоретических подходов, инновационных исследовательских векторов, сегментации/интеграции пространства памяти.

В рамках предлагаемой статьи предпринята попытка сосредоточить внимание на практике применения междисциплинарного подхода к конструированию нового направления в социогуманитаристике — студий памяти. Проблема памяти как бы растворена в различных отраслях гуманитаристики. Соответственно анализ исследовательской парадигмы памяти и ее теоретико-методологических основ демонстрирует блок эпистемологических проблем, требующих решения в контексте

теории и методологии междисциплинарности. Но, в свою очередь, вопрос о методологии междисциплинарности относится к числу сложных и запутанных в современном знании. Как подчеркивает М. Кром, «междисциплинарность сегодня — это прежде всего особый интеллектуальный климат, предполагающий рефлексию и широкие научные интересы, выходящие за рамки непосредственной специализации». В институциональном же плане междисциплинарность принимает довольно «мягкие» и гибкие формы: журналы (вроде «Одиссея» или немецкой *Historische Anthropologie*), конференции и международные исследовательские группы⁶.

Задача исследования — выявить существующие проблемы методологии и тенденции развития теоретического осмысления процессов коллективной памяти в междисциплинарном пространстве; обосновать необходимость формирования студий памяти как перспективного направления междисциплинарного пространства; определить методологический статус и позиции студий памяти в структуре социогуманитаристики; предложить концептуальную модель студий памяти; обосновать целесообразность и условия интеграции различных направлений социогуманитаристики; установить характер этих связей; детерминировать методологический арсенал студий памяти; выявить возможный потенциал студий памяти как направления в сфере междисциплинарности. Кроме того, усматривается необходимость установления конфигурации студий памяти (характера связей между различными отраслями гуманитарного знания, работающих в парадигме памяти); определить «степень автономии» студий памяти в междисциплинарном пространстве.

Междисциплинарность в современной философии науки понимается как система взаимодействий. Речь идет о разных уровнях взаимодействия — от простого обмена идеями до взаимной интеграции концепций, методологий, исследовательских процедур, терминологических дискурсов. Как минимум, «осуществляется взаимное обогащение понятийного аппарата и методологических принципов, а также возможность возникновения новых дисциплин на стыке этих форм когнитивных практик»⁷. Причем за междисциплинарностью (в отличие от таких понятий, как «мультидисциплинарность», «плюридисциплинарность», «трансдисциплинарность») закрепляется необходимая практика создания специальных коллективов исследователей, объединенных для совместной работы над общей проблемой, осуществляющих постоянную коммуникацию⁸.

Соответственно, актуальность декларируемой проблемы обусловлена рядом причин.

Во-первых, активизация дискурса памяти в политико-идеологическом поле в условиях социальных трансформаций последних десятилетий развития общества. Особую актуальность данная проблема приобретает для обществ, переживающих трансформационные процессы в силу сложного поиска идентичности. Реформы, развернувшиеся на бывшем советском пространстве в начале 90-х гг. XX в., не только кардинально изменили внутреннюю экономическую и политическую ситуацию, но и трансформировали восприятие прошлого, активизировали интерес к национальной идентичности. Память может в этой ситуации служить как для усиления социальной дифференциации, усложнения адаптации в трансформирующемся обществе и деактивации отдельных социальных групп как авторов социальной практики, так и для единения общества. Вместе с тем следует учитывать, что апеллирование политиков или общественных деятелей к категории памяти приводит к нивелированию смысловой нагрузки термина.

Во-вторых, анализ историографии (акцентируем внимание на значительном количественном росте публикаций⁹) свидетельствует о приоритетности студий памяти в последнее десятилетие, демонстрируя внимание различных научных дисциплин к данному явлению, хотя преимущественно сквозь призму различных отраслевых задач. Использование или обращение к термину «память» с различными коннотациями представителями различных гуманитарных отраслей требует некоей предметной демаркации.

В-третьих, современная парадигма памяти демонстрирует сложную иерархию дискурсов памяти, разнообразие методологических принципов ее исследования.

В-четвертых, необходимость выработки подходов и инструментов структуризации межпарадигмального пространства.

В-пятых, поиск новых форм развития межпарадигмальности.

Таким образом, объективные тенденции научного осмысления процессов в русле междисциплинарных исследований определяют актуальность и диктуют специфику предлагаемой статьи. Ориентация на «вписывание» студий памяти в междисциплинарное пространство намечает новые векторы исследований¹⁰.

Вместе с тем должна быть создана модель закрепления ее принципов, задающая систему координат, определяющая векторы развития различных теорий, обеспечивающая антропоцентризм и социоцентризм

всего комплекса социально-гуманитарных наук. Речь идет о научной концепции междисциплинарности социально-гуманитарных наук, обеспечивающей все эти требования и принципы самой междисциплинарности.

Рационально-конструктивную универсальную модель междисциплинарной парадигмы памяти, на наш взгляд, следует построить на основе социокультурной методологии. Социокультурная методология, базирующаяся на категориях «социальное» и «культура» (связующим звеном которых является категория «антропология»), образует стержень, ядро, матрицу всех социально-гуманитарных наук и дисциплин. Корневую часть и опорную точку социокультурных основ методологии междисциплинарности образует категория «социальное». Она устанавливает основной принцип междисциплинарности — соответствие индикатору социальности социально-гуманитарных дисциплин, направлений, теорий, а также отвечая за фильтрацию информации. Она же образует поле междисциплинарности, которое можно назвать лабораторией междисциплинарности, где все социально-гуманитарные дисциплины и теории функционируют, подчиняясь правилам социальности. Поэтому категория «социальное» не только закладывает социокультурный принцип междисциплинарности, но и выполняет инструментальную роль фильтрации социально-гуманитарных дисциплин, получая социальную информацию из разных институтов и о разных процессах — социальных, экономических, правовых, культурных, политических¹¹.

Главной целью такой матрицы является формирование структуры и содержательной основы теории междисциплинарности в парадигме памяти. Обозначенная цель требует решения следующих задач:

- 1) наполнить междисциплинарные связи в парадигме исследований памяти социокультурным содержанием;
- 2) ориентировать социологические, психологические, исторические, политические, правовые, культурные и другие дисциплины и теории на конкретные объекты проблематики *temoгу studies*;
- 3) получать всестороннюю информацию о наработках в «пространстве памяти»;
- 4) уточнить структуру каждой дисциплины, теории, их границы, области пересечения и принципы, на которых такое пересечение возможно;
- 5) образовать информационно-коммуникативные социокультурные каналы, ориентирующие социально-гуманитарные дисциплины;
- 6) обеспечить связь теорий через содержательную матрицу методологии каждой из дисциплин;

7) разработать необходимый для междисциплинарного поля дискурса памяти понятийный аппарат;

8) задать социокультурные координаты функционирования социально-гуманитарных дисциплин и теорий в парадигме памяти;

9) обеспечить достижение практических результатов в междисциплинарной парадигме *memory studies*.

Можно сказать, что категория «социальное» устанавливает связи между собственно социологическими и другими науками, определяя социальную направленность последних. Можно выделить следующие функции категории «социальное»: а) связующего звена социально-гуманитарных наук, б) агрегации (объединителя этих же дисциплин); в) индикатора (показателя социальности социально-гуманитарных дисциплин и общественно-значимых процессов); г) аккумулятора (собирателя информации о функциях институтов и процессов в социокультурном пространстве).

Начало интересу социологов и историков к проблеме социальной памяти положили работы М. Хальбвакса, получившие известность на Западе в первой половине XX в. Пионерство в студиях памяти (*memory studies*) принадлежит зарубежной историографии. В 1970-е гг. в Западной Европе и США произошел новый всплеск в поисках закономерностей отражения исторических событий, фактов, лиц в культуре современности. Во многом это было связано с необходимостью формирования образов холокоста¹².

Длительное время различные формы присутствия прошлого в настоящем обсуждались в категориях традиции, наследия, исторического сознания, социальной мифологии. Важными вехами на этом пути можно считать следующие события научной жизни 1960–1980-х гг.: выход книги «Традиция» (1981) Э. Шилза, возникновение проекта создания дисциплины «традициология» Э.С. Маркаряна, публикация сборника статей «Изобретение традиций» (1983) под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера, появление работ по проблемам исторического сознания советских и польских историков и социологов (Н. Ассордбрай, Ю. Левады, Е. Топольского, М. Барга, Б. Шацкой и др.).

Постепенно тематические границы расширялись. Проблематика памяти более или менее независимо стала складываться одновременно во многих различных академических дисциплинах. Для обозначения общего предметного поля различных смыслов памяти в англоязычном научном тезаурусе появляется термин *memory studies* (исследование памяти). Знаковым в этом смысле стал выход в 1989 г. первого номера американского журнала *History & Memory*.

Термин «память» вышел на первый план и начал претендовать на статус ключевого концепта новой парадигмы современного социально-гуманитарного знания лишь на рубеже 1980—1990-х гг.¹³. Неминуемо возник вопрос (как и в отношении других направлений или дисциплин, например, культурологии): «Что это — веяния новой моды или научный прорыв?»¹⁴.

Разделяем подход российского исследователя А. Васильева относительно того, что студии памяти — междисциплинарное направление анализа социально-культурных явлений и процессов, сложившееся вокруг изучения коллективной мемориализации и коллективной амнезии. Студии памяти позволяют под определенным углом зрения рассмотреть всю совокупность явлений человеческой культуры, увидев их взаимосвязь с точки зрения того, как «образы-воспоминания» сохранялись, передавались, актуализировались, вытеснялись и использовались в той или иной культуре¹⁵.

Проблема идентификации научного статуса студий памяти усугубляется тем, что попытки определения по аналогии с другими гуманитарными науками и в качестве одной из них оказываются малопродуктивными и неубедительными. С точки зрения формирования научной парадигмы (признаки которой описал в свое время Т. Кун), студии памяти создают определенное гуманитарное сообщество, объединенное дискурсом памяти, вырабатывающим определенную методологию интерпретации и проблематизации смыслов памяти, фиксируемой категорией «память», разработкой специфического метода познания, «собирающего» смыслы памяти, как бы «разбросанные» по проблемным областям социально-гуманитарного знания, воссоздающего в сознании исследователя память как целостность.

Речь идет о формировании гуманитарного сообщества, объединенного дискурсом памяти, исповедующего определенную методологию интерпретации и понимания культурной реальности; онтологизации и проблематизации особой реальности, фиксируемой категорией «память»; разработке специфического метода познания, «собирающего» культурную реальность, как бы «разбросанную» по проблемным областям социально-гуманитарного знания, воссоздающего в сознании исследователя образ события или личности как целостность.

Разделяем точку зрения тех исследователей, которые склонны считать формирование *memory studies* важным проявлением «антропологического поворота» современной гуманитаристики. Изначально данная проблематика разрабатывалась в первую очередь в связи с изучением нации и национальной идентичности.

Проблемное поле memory studies неуклонно расширяется. Сегодня студии памяти предполагают исследования в различных форматах, средах, контекстах. Следовательно, возможно функционирование различного теоретического междисциплинарного репертуара и параллельных исследований в парадигме памяти. При этом важно учитывать общность и специфику методов, различие дисциплинарных подходов этого проблемного поля, а также цели и результаты их применения для познания прошлого. Подходы memory studies активно применяются к социальным общностям и организациям самого разного типа. Все это свидетельствует в пользу тезиса о memory studies как парадигме современного социально-гуманитарного знания¹⁶.

Понятийное поле студий памяти охватывает довольно широкий спектр проблем: «социальные, культурные, когнитивные, политические и технологические сдвиги, влияющие на то, как, что и почему индивиды, группы и общества помнят и забывают»; «природа, манипуляция и оспаривание памяти в современную эпоху»; «повседневные воспоминания», «коллективная, публичная, социальная и общая память»; «биографии и история»; «этика памяти и забвения»; «воспоминания и память»; «органичная и искусственная память»; «СМИ и механизмы»; «документы и архивы»; «космополитизм и глобализация»; «культурная память и наследие»; «катастрофы и травмы»; «устная история и культура свидетелей»; «память и политика идентичности» и др.¹⁷

Студии памяти могут рассматриваться в качестве уникального симбиоза истории, психологии, философии, социологии, культурологии, политологии и других наук гуманитарного цикла, предметным полем коих выступают смыслы памяти. Различные ракурсы памятных смыслов предлагали:

- История — изучает прошлое на основании различных видов источников, в том числе — историографических представлений о прошлом; при этом учитывается темпоральность памяти и фиксация этого феномена в различных историографических источниках. Память составляет антропологическую основу исторического знания.
- Философия — изучает законы объективации конкретно-исторического опыта общества; познавательного, производственного и коллективного опыта человеческой деятельности, аккумулирует практический и теоретический опыт человечества. Память, как важная составляющая, необходимая для инициации процесса мышления, связывает элементы жизненного опыта человека в единое целое.

- Психология — изучает «работу» памяти, индивидуальные и групповые психофизиологические особенности памяти, факторы, способствующие передаче и восприятию информации, причины вытеснения, повторения и кодирования памяти. Память рассматривается как способность к получению, хранению и воспроизведению жизненного опыта.
- Социология — изучает механизмы социального взаимодействия социальных субъектов, символической интеракции, социальной обусловленности норм, стереотипов общения и поведения, формирования общественного мнения.
- Культурология ориентирована на выяснение того, как формируются и «работают» образы исторических явлений в конкретной культуре, какова их социальная роль и функции по мере нарастания исторической дистанцированности.
- Этнография — изучает язык, символику, традиции, выработанные определенным этносом в качестве способа собственной идентичности бытовые и культурные особенности памяти в этнических ареалах.
- Семиотика изучает особенности знакового представления прошлого в социальной среде настоящего и формы функционирования знаковых систем в социуме.
- Лингвистика — изучает вербальную репрезентацию образов прошлого, механизмы словесной фиксации смыслов памяти.

Современные традиции исследований в парадигме памяти позволяют на уровне первичной теоретической оценки обратить внимание на специфическую сложность нового направления — студий памяти (неясность и неопределенность содержания предмета и методов исследования), а также на междисциплинарность нового направления.

Междисциплинарность предполагает ряд условий (методологических принципов) координации взаимодействия. Важнейшими среди них являются:

- выработка единых, приемлемых для всех участников исходных представлений об объекте изучения (принцип релевантности);
- построение единого сложноорганизованного предмета исследования;
- выделение той дисциплины, которая отражает высшие уровни развития объекта и структурирование интегрального знания на основе концептуального аппарата этой дисциплины;
- субординация и координация методов исследования, выяснение места и значения каждого из них во взаимосвязанном решении познавательных задач (принцип конгруэнтности);

- принцип генеральной цели междисциплинарного исследования, которая позволит осуществить отбор необходимого комплекса наук;
- создание единой теоретической концепции объекта, который составит ядро общей исследовательской программы¹⁸.

Осуществление исследований в рамках студий памяти предполагает следование основным принципам, очерчивающим границы данной парадигмы. К их числу относятся следующие положения:

- понимание социальной/культурной памяти как процесса постоянного развертывания, трансформаций и видоизменений;
- восприятие социальной/культурной памяти как явления, для которого характерна нелинейная, не всегда однозначно предсказуемая динамика развития;
- признание исторического, изменчивого характера принятых в той или иной культуре мнемонических практик, позволяющее говорить о наличии различных «культур воспоминания», характерных для того или иного сообщества;
- учет неразрывной связи, которая существует между социальной/культурной памятью и коллективными (в том числе и национальными) идентичностями, признание основополагающей роли культурной памяти для формирования социальной солидарности;
- понимание глубокой вовлеченности сюжетов и образов социальной/культурной памяти в социальные конфликты различного уровня;
- рассмотрение социальной/культурной памяти в связи с «местами памяти» и мемориальными ландшафтами, анализ топографии социально значимых воспоминаний;
- учет избирательности, социальной распределенности и потенциальной конфликтности социальной/культурной памяти;
- понимание того, что социальная/культурная память всегда является инструментом политики и используется социальными группами для достижения определенных целей, получения тех или иных выгод и преимуществ¹⁹.

Основные вопросы формирования концептуального представления о студиях памяти проецируются в фундаментальную проблему построения теоретических подходов к исследованию межпарадигмального пространства.

Недостаточный уровень теоретического осмысления, применения концептуальных разработок к разрешению прикладных проблем дис-

курса памяти делают изучение данного предметного поля особо актуальным.

Специфика ситуации состоит в том, что, с одной стороны, изучение проблем коллективной памяти выступает фактором, катализирующим необходимость интеграции различных социогуманитарных отраслей; с другой — исследовательские парадигмы каждой отрасли гуманитарного знания обуславливают содержание, темпы и масштабы изучения дискурса памяти. Исследовательские векторы формируют студии памяти как особое научное направление. Решение данной задачи требует не только изучения различных подходов и методологического инструментария отдельных дисциплин, но и решения широкого спектра проблем междисциплинарности.

Кроме того, своеобразие ситуации состоит в отсутствии единого методологического подхода к определению содержания понятия «студии памяти». Это формирует не только многообразие феноменов реальности, которые обозначаются данным терминологически образованием, но и создает иллюзию изученности данной проблемы, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Кроме того, анализ проблемы требует учета того, что междисциплинарные подходы ретроспективно имеют истоки в разных культурных и когнитивных традициях.

Анализируя проблемы становления нового направления — студий памяти неизбежны аналогии с процессом утверждения иных новых научных направлений или дисциплин. К примеру, анализируя трудности и проблемы становления культурологии, А. Запесоцкий обратил внимание на несколько обстоятельств, замедляющих процесс ее легитимации в России: «Первое, и весьма существенное, лежит в сфере психологии. Научный мир встречает со все большим раздражением провозглашение новых отраслей научного знания, видя в них (нередко справедливо) проявления дилетантизма, псевдонаучной активности. Второе обстоятельство — это мнение об избыточности культурологии в системе наук о человеческой деятельности, существовавшее до последнего времени у ряда авторитетных специалистов, в основном философов»²⁰. Экстраполируя эти положения на процесс становления студий памяти, также можно обратить внимание на некоторое недоверие, скепсис или даже отторжение нового направления в гуманитаристике. Рассматривая студии памяти лишь как дань моде, иногда студии памяти считают не самостоятельной отраслью или направлением гуманитаристики, а лишь некоей суммарной синтезированной сферой парадигмы памяти (или как дифференцированные подходы различных дисциплин, или как некий их синтез в сфере парадигмы памяти).

Студии памяти в современной гуманитаристике только формируются и создают иллюзию своеобразного синтеза различных наук в изучении проблем парадигмального поля памяти. На самом деле, определение методологического статуса студий в феноменологическом поле междисциплинарности продемонстрировал тематическую, аспектную и методологическую ограниченность проблемных комплексов, фактическую изолированность достижений различных отраслей гуманитарной науки в теоретической базе исследований. Анализ историографии позволяет говорить о преобладании точечных, разрозненных исследований памяти.

Наиболее значимые достижения конкретных социальных и гуманитарных наук, изучающих различные аспекты функционирования памяти в жизни общества, с одной стороны, задают подходы и методологию исследования. С другой стороны, вырабатываемый инструментарий требует построения студий памяти, следуя определенным канонам. В свою очередь, такая модель сама развивается под влиянием этих достижений.

Таким образом, формирование студий памяти в гуманитаристике обусловлено невозможностью объяснить процессы и события в традиционных нарративных схемах различных гуманитарных наук, где переплетаются каузальные последовательности, фактографические данные, интерпретации различного уровня обобщения. Память стала одним из объектов исследований многих гуманитарных дисциплин. Здесь «иные сценарии и иные конвенции» (Е. Топольский²¹). Изучение процессов продемонстрировало междисциплинарный характер исследований памяти, оформив своеобразный союз по умолчанию. Представляется, что студии памяти могут быть своеобразной теоретической интерпретационной схемой, придающей исследованию импульс и влияющей на результат. При этом студии памяти не посягают на автономию существующих дисциплин в гуманитаристике. Основной проблематикой этой области знания становится обособление студий памяти в автономное направление.

¹ См.: *О'Дрисколл М.* Примирение с Англией: ирландский нейтралитет, политическая идентичность и народное сознание // Россия — Ирландия: Коллективная память. М., 2007; *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Социология знания о прошлом. М., 2005.

² *Хаттон П.* История как искусство памяти. СПб., 2003.

³ *Дахин А.В.* Общественное развитие и вызовы коллективной памяти: перспектива философской концептуализации *memory studies* // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 42–44.

⁴ *Деметрадзе М.Р.* Социокультурная основа междисциплинарной методологии социально-гуманитарных наук // *ВВ: Проблемы общества и политики*. 2013. № 12. С. 17–40.

⁵ Как подчеркнул Д. Тош, «смыслы, связывающие слова и предметы, <...> соответствуют установлениям, порожденным реальной культурой и реальными общественными отношениями» (*Тош Д.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 179).

⁶ *Кром М.М.* Междисциплинарность и возникновение новых направлений в исторической науке (на примере исторической антропологии) // «Стены и мосты»: Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях: Материалы международной научной конференции (Москва, РГГУ, 13–14 июня 2012 г. / Отв. ред. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова. М., 2012. С. 48–49).

⁷ *Микешина Л.А.* Диалог когнитивных практик. Из истории эпистемологии и философии науки. М., 2010. С. 119.

⁸ *Василькова В.В.* Междисциплинарность как когнитивная практика (на примере становления коммуникативной теории) // *Коммуникация и образование: Сб. статей / Под ред. С.И. Дудника*. СПб., 2004. С. 69.

⁹ Подробнее см.: *Киридон А.* Студії пам'яті в Україні: основні тенденції історіографії // Студії пам'яті в Україні: Історіографічний дискурс. Бібліографічний покажчик. К., 2013. С. 5–48.

¹⁰ *Деметрадзе М.Р.* Социокультурная основа междисциплинарной методологии социально-гуманитарных наук // *ВВ: Проблемы общества и политики*. 2013. № 12. С. 17–40.

¹¹ Там же.

¹² *Святославский А.В.* К проблеме формирования образа И.В. Сталина в отечественной коллективной памяти с 1930-х гг. до современности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/05/1251430659/6.pdf>

¹³ *Васильев А.Г.* Memory studies: единство парадигмы — многообразие объектов (Обзор англоязычных книг по истории памяти) // *Новое литературное обозрение*. 2012. № 117.

¹⁴ *Запесоцкий А.С.* Формирование науки о культуре текст приводится по статье: *Культурология как отрасль научного знания* // *Вестник Российской академии наук*. 2010. Т. 80. № 12. С. 1064.

¹⁵ *Васильев А.Г.* Memory studies...

¹⁶ Там же.

¹⁷ *Olick J.K.* Collective Memory: a memoir and prospect // *Memory Studies*. 2008. V. 1. N 1. P. 23.

¹⁸ *Василькова В.В.* Междисциплинарность как когнитивная практика (на примере становления коммуникативной теории) // *Коммуникация и образование: сб. статей / Под ред. С.И. Дудника*. СПб., 2004. С. 69–70.

¹⁹ *Васильев А.Г.* Культурная память/забвение и национальная идентичность: теоретические основания анализа // *Культурная память в контексте формирова-*

ния национальной идентичности России в XXI веке: коллективная монография / Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Н.А. Кочеляева. М., 2012. С. 33–34.

²⁰ *Запесоцкий А.С.* Формирование науки о культуре. Текст приводится по статье: Культурология как отрасль научного знания // Вестник Российской академии наук. 2010. Т. 80. № 12. С. 1066.

²¹ *Топольський Є.* Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної на рації. К., 2012. С. 380.

О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВОГО СОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Бакшутова Екатерина Валерьевна

Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия,
г. Самара

***Аннотация:** Цель настоящей статьи — попытка показать на фоне декларируемой необходимости междисциплинарных исследований актуальную проблему действительного принятия социальной психологией феноменов и методов исследования гуманитарных наук. В статье показана возможность такой интеграции и рассматривается теоретическая модель изучения группового сознания интеллигенции, ризоматическая система, включающая в себя такие аспекты группового сознания, как миф, дискурс, конфликт, идентичность. Предложено понятие «дискурсивное опосредствование» группового сознания» для объяснения генезиса группового сознания идеологической группы.*

***Ключевые слова:** групповое сознание, большая атипичная группа, внеструктурная модель, дискурсивное опосредствование, интеллигенция.*

Кажется очевидным и совершенно не требующим доказательства тезис о том, что психология — наука междисциплинарная. Таковой она и была со времен основателя как первой экспериментальной лаборатории, так и «психологии народов» — В. Вундта. В то же время кризис психологии, начавшийся сразу с превращением ее в науку самостоятельную, время от времени возобновляющийся (в начале XX в. — время Л.С. Выготского, в начале XXI в. — время постмодернизма, понимаемого в психологии именно как междисциплинарность) и не разрешающийся, затрудняет принятие не (вне) парадигмальности психологии. Некоторое единство в понимании предмета психологии как «психического» не делает столь же однозначным понимание методов и приемов изучения предмета. Попытка определить психологию только как науку естественную или только как гуманитарную поныне разделяет ученых на два слабо примиримых сообщества. А вполне можно было бы признать, что не все секреты психики нам пока подвластны, и если мы не исследуем соб-

ственно работу мозга, то большинство фактов психической жизни доступно нам в опосредствованном виде, уже оформленными дискурсивно в силу тех или иных конвенций эпохи, территории, семьи, системы образования. И уж тем более сказанное касается социальной психологии.

В последние годы в отечественной психологии личности, общей психологии (психология памяти), психологии идентичности все чаще обращаются к качественным методам исследования, герменевтике, ранее относимой к методам гуманитаристики. В целом все методы гуманитаристики могут быть отнесены к качественным методам, за каждым из которых «скрывается» методологическая позиция и особая исследовательская парадигма.

Предлагаемый нами подход (мы называем его гуманитарным — таков он для социальной психологии, но, в сущности, это междисциплинарный подход) к изучению психологии больших социальных групп связан с несколькими возможными аспектами исследования.

Временной аспект предполагает исследования не только актуальных свойств, признаков, состояний макросоциальных объектов, но и их ретроспективные, психолого-исторические исследования, что обеспечит понимание динамики процессов, свойств или состояний.

Пространственный аспект предполагает сочетание результатов актуальных эмпирических исследований и т. н. продуктов деятельности. Не только собственно исторических источников, документов, но и любых, входящих в исследуемое предметное поле текстов и дискурсов, то есть и законченных грамматических структур, и актуально произнесенных текстов, текстов — коммуникативных событий.

Инструментальный аспект — использование в исследовании социально-психологических явлений комплекса методов: традиционных для социальной психологии (и количественных, и качественных методов, таких как интервью или контент-анализ), а также методов гуманитаристики — нарративного, историко-дискурсивного и критического дискурс-анализа, герменевтического и лингвистического видов анализа. Все они необходимы, т. к. поскольку групповое сознание опосредствуется дискурсом, а в дискурсе говорящий использует речь и язык, определенные языковые коды, комбинация которых образует дискурсивные правила, — правила речи, конструирующие групповую идентичность, ее историю и биографию.

Рассматривая деятельность интеллигенции как текст, как череду высказываний-текстов, т. е. дискурс, мы вынуждены апеллировать к разному виду текстов. Интерпретативные методы в психологии личности

(нарративный анализ, дискурсивная психология и др.) обращаются с индивидуальным случаем, уникальным жизненным миром или отдельной жизненной историей. В ситуации изучения психологии большой группы применим и анализ индивидуальных историй, поскольку группа состоит из личностей, история интеллигенции полна эпонимических фигур, всем известных (Н.А. Бердяев, А.А. Блок, Д.С. Лихачев, С.С. Аверинцев, А.И. Солженицын и др.) — т. е. мы можем исследовать и индивидуальные нарративы (тематическое кодирование, конденсация смысла, наррадигмальный метод). Тем более что дискурс интеллигенции образуется отдельными текстами и отдельными высказываниями, из которых складывается «большой» интеллигентский текст. Далее, интеллигенция не есть совокупность однородных элементов. Она дифференцируется по политическим убеждениям, видам деятельности, ценностям, ситуативным факторам. Следовательно, для обнаружения закономерностей, организующих групповую специфику психологии большой группы, мы можем исследовать отношения, взаимодействия и особенности коммуникации внутри малой группы интеллигенции (в частности, в нашем случае это продукты деятельности виртуального сообщества «Интеллигенты 2.5»), используя с этой целью как опросные методы, так и методы субъективной семантики, функциональной грамматики и собственно интерпретации. И наконец, имея возможность исторического, историко-культурного анализа, подход к дискурсу интеллигенции как к целостному многомерному саморазвивающемуся социально-психологическому феномену (критический дискурс-анализ, дискурсивно-исторический метод, семантический дифференциал, социальные представления), дает нам возможность выявить определенные закономерности динамики данной группы.

Интеллигенция, обладая рядом типичных для большой группы признаков, является атипичной, поскольку она дискурсивна. Дискурс представляет собой групповую совместную деятельность, благодаря которой конструируется групповая идентичность, производится групповой социальный капитал как возможность получения высокого социального статуса группой и индивидами и формируются культурные коды нации. Дискурсивное опосредствование, где социальное и орудийное опосредствование соединяются, порождает групповое сознание интеллигенции. Любой человек может попасть в дискурсивное поле интеллигенции, однако не каждый в него попадает и тем более остается в нем. Легче всего это происходит в определенном социальном окружении, уже включенном в дискурс. Интенция эта может возникнуть и индивидуально, но

через посредство дискурса — литературы, публицистики, «кухонных разговоров о судьбах мира». Попадая в интеллигентский дискурс как совокупность формальных текстов и актуальных высказываний, индивид участвует в разговоре не с другим индивидом, а целым комплексом истин, мировоззренческих установок, идеологий, интерпретаций, связанных не с личностным самоопределением, а с самоопределением культуры, общественного развития и т. п.

Сознание интеллигенции как система — это непараллельная эволюция разнородных феноменов, происходящая не за счет дифференциации, а благодаря соединению разных линий развития, которое и создает устойчивость группы. Система эта имеет определенную специфику — несомненно, что мы имеем дело с целостностью группового сознания интеллигенции, с некоторой структуризацией, поскольку система состоит из элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом; система самодетерминируется и предполагает множественность моделей описания. Однако принципиально важная, на наш взгляд, характеристика группового сознания интеллигенции в качестве системы связана с тем, что она имеет не иерархическое, не уровневое строение, и у нее нет центра. Любой из названных нами элементов данной системы может рассматриваться в качестве системообразующего признака.

На наш взгляд, целям и задачам изучения группового сознания российской интеллигенции более соответствует модель системы, описанная Ж. Делезом и Ф. Гваттари — ризома. Это один из ведущих концептов постмодернистского языка наряду с дискурсом, текстом и нарративом. Как справедливо отмечает Е.В. Пилюгина, это наименее популярный термин в словаре социально-гуманитарных наук, и объясняет это тем, что «концептуальный образ ризомы более сложный, неоднозначный, чем когнитивные пространства дискурса или нарратива. В нем больше коннотативных, эмоционально-оценочных, составляющих, своеобразных «дополнительных измерений» и «переменных», что делает практически невозможным определение указанного понятия, а значит, существенно усложняет референции с ним других концептов. Осознание ноумена ризомы возможно посредством обнаружения признаков ризомы в тех или иных социальных явлениях»¹.

Ризома (от фр. *rhizome* — корневище) — не замкнутая, не структурированная, не иерархизированная, не значимая, подвижно организованная система с децентрированным центром, все (условные) точки которой связаны между собой нелинейными связями. Если культура, основанная на центрировании (логоцентристская), уподобляется Ж. Делезом

и Ф. Гваттари дереву, проросшему в голове, то ризоматическая — траве, скрытому стеблю, луковице, клубню, а также сети, которая всегда предлагает конъюнкцию «и... и... и»: образующие ее элементы гетерогенны, равноправны, между ними «союз и только союз», их связи имеют «поперечный» (нелинейный) характер, откуда возникает еще одно уподобление — ручью без начала и конца, совершающему перпендикулярное движение, подтачивая оба берега реки, — что в свою очередь акцентирует фактор самодвижения системы².

Ризома используется нами как модель для представления и описания системы группового сознания интеллигенции. Ризома — неопределенная вероятностная, как ее называют авторы — «мочковатая» система, порождающая в субъекте новый тип единства — «единства амбивалентности и сверхдетерминации»³, что нельзя лучше позволяет описать и систему группового сознания интеллигенции, и ее социальную активность как группового субъекта модернизации.

Первые принципы, лежащие в основе устройства ризомы, это *принципы соединения и неоднородности, гетерогенность*. Согласно им, каждая точка ризомы может и должна быть соединена с любой другой — ризома не имеет исходного пункта развития, она децентрирована и антииерархична по своей природе: «семиотические звенья любой природы соединяются здесь с крайне различными способами кодирования — биологическими, политическими, экономическими и т. д., запускающими в игру не только разные режимы знаков, но также и статусы состояния вещей»⁴. В любом высказывании мы имеем дело не с идеальным говорящим-слушающим, а с целым сплетением маркеров власти, искусства, науки, «микropolitикой социального поля», жестикующий, сленгов и специализированных языков, и всегда есть язык, доминирующий в политическом многообразии, захватывающий власть.

Дискурс — это не язык, но без языка дискурс не может обходиться, так же как и без других инструментов опосредствования/конструирования сознания. Мы рассматриваем групповое сознание интеллигенции как гетерофеноменное, включающее такие элементы, как: миф, идентичность, дискурс, конфликт. Все эти понятия обозначают разные стороны жизни индивидов и обществ и в то же время составляют предметную область различных наук. Миф — это система знаний и переживаний реальности, восходящая к самым первым типам человеческого общества, миф является живым, пока он выполняет свою этиологическую функцию — объяснения жизненного мира. Миф как форма мышления реален и в современных сообществах, а также является предме-

том исследования широкого круга гуманитарных дисциплин, в психологии близкими ему понятиями являются «образ» и «стереотипы». В первом случае мы можем иметь дело с живым мифом, а во втором — уже с выхолощенным и удаленным от «природы», превращенным в идеологию. Идентичность — феномен, который также изучается многими науками, и в психологии занимает существенное место, но в разных науках описывается на разных языках, которые раскрывают суть этого феномена — самоидентичность и тождественность миру. Конфликт — неотъемлемая часть жизнедеятельности всех систем, и в ряде случаев — один из факторов сохранения системы как целого. Дискурс как явление жизни также присутствует всегда и везде; как научное понятие не только связано с «лингвистическим поворотом» в науках, но имеет множество определений, дефиниций и уже вошло в психологический тезаурус.

Эти механизмы опосредствования/конструирования группового сознания интеллигенции, вероятно, не имеют определенного генетического источника (так же как и ризома — антигенеалогия), но прослеживаются на всем протяжении истории интеллигенции. Взаимосвязи взаимопорождения существуют между всеми феноменами. Например: 1) **Идентичность** требует постоянной верификации признаков, особенно в условиях социальной нестабильности, для чего используется дискурс, то есть идентичность интеллигенции — дискурсивна; дискурсом постоянно воспроизводится **миф** об идентичности (о происхождении, о непрерывности развития, об исключительных качествах и т. п.); мифы делятся на позитивные и негативные, то есть **идентичность** интеллигенции характеризуется **конфликтом** (дивергенцией) представлений о роли группы в общественной структуре: политическая деятельность/культурно-просветительская деятельность. Таким образом, миф, конфликт и дискурс порождают идентичность.

2) **Конфликт** порождается мифом, идентичностью и дискурсом, и в них же проявляется, т. к. **мифы** противоречивы (негативный и позитивный), **дискурс** антиномичен, т. к. поддерживает либо негативный, либо позитивный миф и конструирует соответственно позитивную либо негативную **идентификацию**. Кроме того, групповое сознание и самосознание **конфликтно**, т. к. оно не только противопоставляет интеллигенцию другим группам, но осуществляет разделение внутри группы на «подлинных» и «неподлинных» интеллигентов. При этом участники группы обладают индивидуализированным сознанием, что затрудняет постановку и реализацию групповых целей, осознания групповых потребностей и интересов.

3) **Миф** порождается и поддерживается конфликтом, дискурсом и идентичностью. **Конфликт** самооценок и самоотношения порождает мифы с разным полюсом оценки. Об этом писал еще В.О. Ключевский, когда описывал первых книжников. **Идентичность**, возникающая на основе первых мифов, посредством **дискурса** постоянно вносит свою лепту в их поддержку для того, чтобы обеспечивать устойчивость самосознания, оценку и определенные ожидания со стороны других групп общества. Поддерживаются то одни мифы, то другие, соответствующие потребностям группы в разные периоды времени. При этом другие группы в оценке интеллигенции также апеллируют к сконструированным ею самой мифам.

4) **Дискурс** конструируется тремя другими элементами и сам их конструирует. Идентичность — цель и результат дискурса, он осуществляется ради конструирования **идентичности**. Поскольку она почти всегда неясна и неустойчива, то постоянно существует необходимость дискурсивного опосредствования. Дискурс возникает и разворачивается вокруг **мифов** об интеллигенции: плохая она или хорошая, или исключительная; своя или чужая; подлинная или неподлинная и т. д. Как видим, дискурс антиномичен, поскольку изначально существует **конфликт** группового сознания и самосознания.

Третий принцип, который характеризует ризому, — это принцип *«множественности»*. Последняя должна пониматься сама по себе, вне связи как с субъектом, так и с объектом — «нет единства, которое служило бы стержнем в объекте или разделялось бы в субъекте»⁵. При ризоматическом подходе, таким образом, главенствующая роль отводится не точкам контакта, а линиям, соединяющим точки. «Ризома, или множественность, не позволяет себя сверхкодировать»⁶ — на наш взгляд, такая гносеологическая модель весьма адекватна системе группового сознания интеллигенции. Об интеллигенции писать очень легко — любую возникшую идею можно проиллюстрировать и подтвердить огромным количеством цитат. Но и сложно — по этой же причине, так как существует другое количество речевых множеств, опровергающих ту или иную идею. Кроме того, один и тот же текст можно интерпретировать совершенно противоположным образом. «Множества определяются внешним — абстрактной линией, линией ускользания или детерриторизации, следуя которой, они меняют природу, соединяясь с другими множествами»⁷. Попробовать обнаружить внутренние линии, соединяющие множества, и есть наша задача анализа дискурсивного опосредствования группового сознания интеллигенции. Здесь множественность прежде

всего обуславливается конфликтом как динамической характеристикой группы. Причем конфликт этот дивергентный, неразрешимый, который проявляется на уровне сознания и деятельности интеллигенции — двойственность установок, мировоззрений, самоотношения. Множественность связана и с неразделимостью субъекта и объекта интеллигентского дискурса — ни одна группа не находится в такой ситуации, поскольку рефлексией общественного устройства, ролей, статусов, конфликтов других групп, как правило, занята также интеллигенция. Интеллигенция является объектом и субъектом процесса познания, при этом ризомная форма группового сознания обуславливает идеологическую автономность личности внутри группы — у каждого ее представителя фактически собственное мировоззрение, свое представление об образце поведения интеллигенции и интеллигентов.

Следующий принцип, имманентный ризоме, получил название принцип «*a—означающего разрыва*»⁸. Согласно ему, корневище может быть разорвано в любом месте, но, несмотря на это, оно возобновит свой рост либо в старом направлении, либо выберет новое. «Мы создаем разрыв, проводим линию ускользания, но всегда рискуем обнаружить на ней организации, рестратифицирующие совокупность, образования, возвращающие власть означаемому, атрибуции, восстанавливающие субъекта...»⁹ История российской интеллигенции показывает, что, несмотря на все трудности, которые претерпела эта группа, унижение, уничтожение, она все равно восстанавливается, возобновляет свою антиномичную активность, реконструируя в дискурсе биографию; уточняет дефиниции идентичности, опираясь на миф, тем самым восстанавливая означаемое, захватывая его код.

Последними принципами, заложенными в основу построения ризомы, являются «*картография и декалькомания*». С их помощью Ж. Делез и Ф. Гваттари заявляют, что ризома — это не механизм копирования, а карта с множеством входов. Здесь аналогии с ризомой не так однозначны, поскольку групповое сознание имеет свойства и кальки (герметичный миф, воспроизводство всех признаков системы — дискурсивное конструирование идентичности, антиномичность сознания, конфликт, наконец — поиск генеалогии), и карты (несмотря на сохранность элементов системы, она изменяется во времени, приспосабливаясь к реальным условиям, отчасти трансформируя первоначальное смысловое содержание).

Мы должны отметить еще одно сходство/отличие нашего понимания системы группового сознания интеллигенции от ризомы. По сути,

ризома представляет собой бесконечность, и для описания реальности такая модель подходит, однако для научного исследования работа с такой системой затруднительна. Поэтому наш гносеологический инструмент для изучения содержания группового сознания мы ограничили четырьмя инструментами опосредствования, плато — на языке Ж. Делеза и Ф. Гваттари. «Плато всегда посреди — не в начале, не в конце. Ризома состоит из плато... Каждое плато может быть прочитано с любого места и находится в соединении с каким угодно другим местом...»¹⁰ Ниже мы более подробно рассмотрим теоретические аспекты изучения каждого из элементов системы и их дискурсивное опосредствование.

Ризома как модель описания сознания большой группы позволяет соединить традиционные для изучения социальной психологией феномены, с привнесенными из предметных полей других наук. По сути, как предмет исследования они несколько не противоречат социальной психологии, но называются другими словами. Сложность восприятия междисциплинарных исследований в социальной психологии обусловлена не смыслом, а системой значений — привычных либо не привычных для научного дискурса той или иной науки.

¹ *Пилюгина Е.В.* Феноменология ризомы. Ризоморфные среды // Современные научные исследования. Выпуск 1. Концепт, 2013. С. 2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://e-koncept.ru/article/1043/>. Дата обращения: 14.07.13.

² *Ильин И.П.* Постмодернизм: Словарь терминов. М., 2001.

³ *Делез Ж., Гваттари Ф.* Тысяча плато. Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Я.И. Свирского, науч. ред. В.Ю. Кузнецов. Екатеринбург; М., 2010. С. 11.

⁴ Там же. С. 12.

⁵ Там же. С. 14.

⁶ Там же. С. 15.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 16.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 38–39.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛОГО В ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКЕ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД *POPULAR MUSIC STUDIES*

Колесник Александра Сергеевна
НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва

Репрезентации прошлого уже несколько последних десятилетий является предметом активных дискуссий в сфере гуманитарных и социальных наук¹. В поле зрения исследователей достаточно длительный период времени находилось изучение исторического знания преимущественно в рамках профессионального сообщества ученых, дисциплинарные границы исторической науки и возможности применения истории в рамках других наук. Интерес же к «бытованию» и использованию прошлого в популярной массовой культуре появился достаточно недавно. Стало очевидно, что искусство представляет разные конструкции для разных вариантов обращения с прошлым и требует более детального теоретического и методологического осмысления в этом качестве. Однако далеко не все культурные формы изучаются в этой связи равномерно. Исследователи уделяют большое внимание визуальным искусствам, в особенности кино, которое в силу своей образно-нарративной природы легче поддается анализу хотя бы с точки зрения репрезентации². Такая работа также во многом проделана и в отношении классической музыки³, прежде всего в опере⁴, где привлечение и обыгрывание каких-то конкретных исторических сюжетов и персонажей достаточно легко «считывается» слушателем. Между тем популярная музыка, как и другие виды массовой культуры, способна использовать историю и прошлое как инструмент для выражения актуального культурного содержания и, можно предположить, участвовать в процессе формирования массовых представлений о прошлом. При анализе музыки любого типа исследователь сталкивается с многочисленными проблемами декодирования смыслов. В связи с этим возникает целый ряд вопросов: как происходит репрезентация прошлого в массовой культуре в целом и в популярной музыке в частности? Как строится музыкальное высказывание о прошлом? Как с ним можно работать на разных уровнях? Я бы хотела подробнее остановиться, с одной стороны, на рассмотрении проблематики репрезентации

прошлого в популярной музыке, с другой — обратиться к историографическому вопросу, а именно, становлению исследований популярной музыки в традиции *cultural studies*.

Эпистемологически исторические темы множественны и совершенно по-разному могут быть представлены в разных культурных формах. По замечанию историка Джерома де Гроота⁵, такие форматы работы с прошлым в популярной культуре разнообразны и могут принимать различные формы: ностальгии, самопознания и самоопределения; выступать как способ отношения к настоящему; как набор легко идентифицируемых культурных тропов, используемых без какого-либо конкретного смысла, а в качестве художественного приема; для обозначения «другого» и т. д. Вариативность работы с прошлым в рамках популярной музыки также включает использование истории и исторических образов в различных целях. Существуют не только отдельные музыкальные жанры, в рамках которых происходит детальная реконструкция исторических музыкальных форм и воссоздание атмосферы определенных исторических периодов⁶, но и в целом исторические сюжеты неоднократно становились предметом пристального внимания музыкантов, активно вовлекаясь и перерабатываясь в их творчестве. Однако в данном случае речь идет не только и даже не столько о конструировании прошлой социальной реальности, сколько об использовании истории и прошлого как инструмента или как художественного приема. В частности, британская популярная музыка представляет множество подобных примеров. Так, в 1960-е гг. использование исторических образов и исторических музыкальных форм в британской популярной музыке стало одним из ключевых инструментов определения своего места не только на отечественной музыкальной арене, но и возможностью определения «типичного британского звука». В творчестве таких музыкальных групп, как The Kinks, Jethro Tull или Genesis, активной составляющей стало обращение к сюжетам из национальной истории: Викторианской эпохе, довоенной городской песне, британскому мюзик-холлу. В 1970-е гг. использование исторических образов и исторических сюжетов в музыкальной практике ряда групп стало способом выражения протеста, несогласия и критического комментария настоящей политической и социальной ситуации в Великобритании, как, например, в творчестве панк-групп Sex Pistols или The Clash. В 1980-е гг. практики коллекционирования виниловых пластинок и музыкальных артефактов стали способом хранения и поддержания музыкальной традиции, что открыло возможность формирования нового музыкального направления, получившего название инди-

рок (в качестве примера здесь можно отметить такие группы, как The Smiths или The La's).

Историк Джером де Грот, исследуя разные способы «потребления» истории в современной популярной культуре, описывает такую эксплуатацию предыдущих периодов ее истории через понятие *re-enactment*⁷, т. е. «восстановление», что в различных вариациях можно наблюдать в современной британской популярной музыке. Базирующиеся в своей основе на стилистике предыдущих декад (блюзе и поп-роке шестидесятых, панке семидесятых и т. д.), «новые-старые» музыкальные поджанры получили подстрочное название *revival*, предлагая слушателям разные музыкальные «возрождения». Британский музыкальный критик Саймон Рейнольдс в вышедшей в 2011 г. книге назвал это явление «ретроманией»⁸. Ярким примером такого обращения к прошлому и помещения его в эпицентр творческой активности является новая ирландская группа The Strypes⁹, сформированная в 2008 г. в г. Каван и на настоящее время ставшая одной из ключевых молодых популярных рок-групп в Англии. Группа, состоящая из подростков от 14 до 16 лет, довольно точно воссоздают звук, который делали The Beatles пятьдесят лет назад — это скиффл и ритм-энд-блюз, то есть, иными словами, это музыка их бабушек и дедушек. Можно сказать, что на место напряженного чувства прошлого, свойственного модернизму, приходит утрата чувства истории как памяти и возникают суррогаты темпорального, выражающиеся в ретро-стилях и образах.

Как видно даже из этого краткого обзора, сложившееся представление о популярной музыке как о высказывании, часто даже поверхностном, о сегодняшнем дне и настоящем в целом не всегда оказывается корректным. Популярная музыка, как и другие виды массовой культуры, представляет различные репрезентации прошлого и различные варианты работы с прошлым. Исследование популярной музыки именно в таком ракурсе требует привлечения разнообразного методологического инструментария, который не всегда могут предложить традиционные подходы к пониманию и изучению музыкального материала.

Традиционными сферами исследования музыки являются музыковедение и социология музыки. В каждой из этих дисциплин разработаны определенный взгляд на музыку и подходы к ее изучению. Музыковеды изучают композиционную структуру нотной записи, соответствие того или иного музыкального произведения определенным канонам, отводя второстепенную роль условиям его исполнения и рецепции слушателем. Социологи сосредоточены преимущественно на исследовании природы

производства, дистрибуции и потребления музыки разными группами слушателей, а также места музыки в процессе различения и разграничения социальных групп. Несмотря на то что в изучении музыки и «музыкального» уже сложились определенные историографические традиции, популярная музыка стала объектом интереса исследователей относительно недавно, и правомерность ее «присутствия» в академическом поле в западной историографии продолжительное время оспаривалась. С развитием *cultural studies* произошел отход от адорновской дихотомии «высокой» (серьезной) классической музыки и «низкой» (легкой, развлекательной) популярной музыки, что позволило взглянуть на последнюю как на феномен, который невозможно классифицировать и оценить однозначно. Популярная музыка стала включаться исследователями в социально-политические и общекультурные контексты, что поставило вопрос о том, как она «устроена» и как она «работает» на разных уровнях.

Можно выделить несколько историографических направлений, сосредоточенных на изучении популярной музыки. Первым направлением стала социология популярной музыки, сложившаяся в 1970-е гг. и базирующаяся во многом на идеях мыслителей Франкфуртской школы (главным образом Т. Адорно). Именно Адорно легитимировал присутствие популярной музыки в академическом дискурсе, что на последующие полвека стало предметом многочисленных дискуссий не только в научном сообществе, но и в среде музыкальных критиков и самих музыкантов. Весьма актуальной в контексте будущих исследований оказалась идея Адорно о том, что популярная музыка как таковая не может быть определена исключительно как эстетический феномен. Иными словами, «чистая музыка» есть фантазм, никогда не встречающийся в реальности: музыка определяется многими внемузыкальными факторами, без учета которых невозможно понять ее в полной мере. Социологов¹⁰ в целом интересуют стратегии, через которые популярная музыка мобилизована в качестве ресурса для возникновения различных представлений, как инструмента повседневных практик, формирования групповых идентичностей; взаимодействие музыки и общества и влияние конкретных форм общественного бытования на музыкальное творчество, исполнительство и публику. В центре внимания исследователей находится социальная функция музыки, т. е. роль музыки в создании и конституировании социальных групп, их взаимодействии, развитии и изменении (что станет основой исследований, например, рок-музыки¹¹). Одним из ключевых элементов популярной

музыки становится фигура слушателя как потребителя музыкальной продукции.

Вторым направлением является появившееся в 1980-е гг. новое музыковедение, включающее в себя три смежные дисциплины *pop-musicology*, *new musicology* и *popular music analysis*, которое противопоставило себя традиции традиционного британского и классического немецкого музыковедения. Для него прежде всего характерен отказ от канонизации музыкальных произведений и идеи абсолютной музыки (категория *Meisterwerk-Ästhetik*), которые являются базовыми в классическом музыковедении (поиск идеального строя, построение наиболее совершенных гармоний, споры об эстетическом совершенстве музыкальных композиций и т. д.). Новые музыковеды попытались адаптировать язык, терминологию традиционного музыковедения к работе с популярной музыкой, выделяя основные характеристики при анализе популярной музыки¹² («тембр», «ритм», «голос», «гармония», «динамика», «звук» и т. д.). Предметом исследований, выполненных в русле «нового музыковедения», становится непосредственно музыкальная составляющая популярной музыки — это изучение мелодии, гармонии, полифонии, музыкального ритма и метра, инструментовки, анализ музыкального произведения и музыкальных форм.

По большей части, методологические споры о популярной музыке в научных кругах можно сгруппировать в три проблемные дискуссии. Во-первых, подход к этой теме с формальной позиции западного музыковедения, в рамках которого музыковеды сконцентрировались на звуке самом-по-себе, проводя тесный текстовый анализ популярной музыки (то, что впоследствии стало называться «музыковедческой герменевтикой»). Во-вторых, помещение музыки в конкретные социокультурные контексты, на что в большей степени были ориентированы социологи музыки. В-третьих, изучения парадигмы и логики, через которые неожиданно резонирует музыка, теоретики культурных исследований «подключили» популярную музыку к вопросам политической идеологии и социальной власти. Каждый из этих подходов предоставил глубокие проникновения в суть популярной музыки. Кроме того, представители каждого из этих направлений сохраняли интенцию к выходу за дисциплинарные границы с целью сгенерировать новые стратегии для понимания популярной музыки. Музыковеды опирались на этнографические и социологические интервью и обратили свое внимание на теоретическое исследование звука в различных контекстах; социологи обратили пристальное внимание на музыку как звук; исследователи, работавшие

в русле *cultural studies*, начали включать музыку и музыкальные тексты для формулировки абстрактных категорий силы (власти). Тем не менее разногласия по поводу дисциплинарных границ ограничивали изучение популярной музыки как исследовательского поля.

Одними из первых, кто обратился к осмыслению популярной музыки как совокупности социальных институтов и практик, что позволило взглянуть на популярную музыку как на коммуникативную среду, в рамках которой все элементы взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние, были социолог Саймон Фрис¹³ и музыковед Филипп Тэгг¹⁴. Предложенное ими понимание популярной музыки легло в основу *popular music studies* — третьего направления культурных исследований, появившегося в Великобритании в начале 1980-х гг. Текстовый и музыкальный походы являлись основными технологиями анализа популярной музыки на начальных этапах. Однако, как отмечает музыковед Дай Гриффитс¹⁵, осознание исследователями ограниченности только этих двух подходов открыло *popular music studies* для социологии и других общественных наук, которые стремились рассматривать популярную музыку как комплекс социальных институтов, практик и взаимосвязей (музыкальной индустрии, аудитории, способов записи и дистрибуции музыкальной продукции¹⁶) в рамках более широких социально-политических и культурных контекстов, став чем-то вроде зонтичной дисциплины, собирающей обширный спектр разнообразных гуманитарных и социальных теорий и методологических стратегий. Как указывает музыковед Мартин Клу-нан: «*Popular music studies* изучает музыку не просто в контексте, а в контекстах»¹⁷. Начав с исследований идеологических и социальных условий формирования и функционирования популярной музыки, в дальнейшем исследователи обратились к политическим, историческим, национальным, этническим, гендерным аспектам популярной музыки. Сформулированное в 2000-е гг. социологом и одним из идеологов *popular music studies* Саймоном Фрисом¹⁸ представление о необходимости изучения экономической составляющей музыкальной индустрии определило новую стратегию данного направления — междисциплинарные исследования в области музыкальной экономики (от профессионализации в музыкальном бизнесе до способов продажи музыкальной продукции через интернет-каналы).

Междисциплинарный проект *popular music studies* предполагает совмещение в одном исследовательском поле возможностей и методологий различных гуманитарных и социальных дисциплин: «музыковедения, *media* и *cultural studies*, социологии, антропологии, этно-

музыковедения, фольклористики, психологии, социальной истории и культурной географии»¹⁹. Основу методологического инструментария *popular music studies*²⁰ составляет переход от текстового анализа, т. е. от использования партитур (которыми почти никогда не пользуются сами производители и исполнители популярной музыки) и прочих текстов в качестве основного источника, к изучению социальных институтов и культурных практик, с помощью которых популярная музыка функционирует в современной культуре: музыкальной индустрии, способов звукозаписи, способов презентации и дистрибуции музыкальной продукции, характера аудитории и разных способов рецепции и т. д. Отходя от анализа исключительно письменных источников — партитур (которых зачастую и не существует в популярной музыке), нотных переложений и транскриптов, — в рамках *popular music studies* значительно расширилась источниковая база. Условно можно выделить несколько групп источников: аудиоисточники (песни, альбомы, синглы, EP и т. д.), *performance*²¹ (концерты, живые выступления, клипы, кинематографические источники, аукционы, процесс звукозаписи, интервью, высказывания музыкантов, менеджеров групп и т. д.), медиа (рецензии, статьи в периодических изданиях, интернет-источники), артефакты (одежда музыкантов, музыкальные инструменты, носители (CD, DVD, виниловые пластинки, кассеты и т. д.)).

Популярная музыка является более широким по своим масштабам понятием, не ограниченным, казалось бы, только одним музыкальным продуктом и его характеристиками. Это сложная система социальных практик: создание и запись музыкального продукта, его презентация (включая видеоклипы, концерты, обложки альбомов, концертные выступления музыкантов), распространение и рецепция аудиторией. Популярную музыку необходимо рассматривать в контексте популярной культуры. Такой взгляд предполагает анализ не только условий и практик производства, особенностей текстовой и музыкальной формы, режимов потребления музыки, но и специфику дискурсов о популярной музыке, видах социальных практик, способов прослушивания, просмотра и покупки музыкальной продукции. Определенные направления культурного понимания являются результатом сложного комплекса взаимодействий между этими различными сторонами. Соответственно, значение популярной музыки не может быть считано только на одном уровне, будь то производство, презентация или рецепция аудиторией. Понимание данной культурной формы, выработанное в рамках *popular music studies*, позволяет охватить весь спектр элементов популярной музыки

как многоуровневого явления для анализа того, какое прошлое, какими средствами и каким образом привлекается и используется в рамках данной символической системы на каждом из уровней. Вариативность работы с прошлым и его значение на разных уровнях составляет специфику различных моделей репрезентации прошлого в популярной музыке.

¹ См., например: *Феномен прошлого* / Ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев. М., 2005; *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Теория исторического знания. СПб., 2007; *Groot de J.* Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. L., 2008.

² См., например: *Hayward S.* Cinema Studies. The Key Concepts. L., 2000; *Rosenstone R.* Visions of the Past: the Challenge of Film to our Idea of History. Cambridge, 1995; *Самутина Н.В.* Современное европейское кино и идея культуры («прошло-го») // *Феномен прошлого* / Сост. и науч. ред. И. Савельева, А. Полетаев. М., 2005. С. 337–367; *The History on Film Reader* / Ed. by M. Hughes-Warrington. L., 2009; *Gray A., Bell E.* History on Television. L., 2013.

³ См., например: *Lawson C., Stowell R.* The Historical Performance of Music: An Introduction. Cambridge, 1999; *Butt J.* Playing with History: The Historical Approach to Musical Performance. Cambridge, 2002; *Music of the Past, Instruments and Imagination: Proceedings of the Harmoniques International Congress, Lausanne, 2004.* Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft / M. Latcham (ed.). Bern, 2006; и др.

⁴ См., например: *Locke R.P.* Constructing the Oriental «Other»: Saint-Saens's «Samson et Dalila» // *Cambridge Opera Journal.* 1991. № 3. P. 261–303; *Jellinek G.* History Through the Opera Glass: From the Rise of Caesar to the Fall of Napoleon. N.Y., 1994; *Ketterer R.* Ancient Rome in Early Opera. Chicago, 2009.

⁵ *Groot de J.* Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. L., 2008. P. 8.

⁶ Как, например, музыканты популярной британской фолк-группы Blackmore's Night, которые собирают и реконструируют кельтский, скандинавский и германский фольклор, аранжируя его с использованием не только современных музыкальных инструментов, но и воссозданных инструментов XIII–XV вв.

⁷ *Groot de J.* Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. L., 2008. P. 124.

⁸ *Reynolds S.* Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past. L., 2011.

⁹ The Strypes. Official website. [Элект. ресурс], 2013. Режим доступа: <http://thestrypes.com/>, свободный.

¹⁰ См., например: *Frith S.* The Sociology of Rock (Communication and Society). L., 1978; *Wicke P.* Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology. Cambridge, 1990; *Mukerji Ch., Schudson M.* Popular Culture // *Annual Review of Sociology.* 1986. Vol. 12. P. 47–66; *Roy W. G., Dowd T. J.* What Is Sociological About Music? // *The Annual Review of Sociology.* Palo Alto, 2000. Vol. 36. P. 183–205; *Martin P. J.* Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music. Music and Society. Manchester, 1997; *DeNora T.* Music and Social Experience // *The Blackwell Companion to the Sociology of Culture.* Blackwell, 2005.

¹¹ См., например: *Frith S. The Sociology of Rock (Communication and Society)*. L., 1978; *Routh F. Contemporary British Music. The Twenty-Five Years from 1945 to 1970*. L., 1972.

¹² См., например: *Covach J. We Won't Get Fooled Again: Rock Music and Musical Analysis // Keeping Score: Music, Disciplinarily, Culture / D. Schwarz, A. Kassabian, L. Siegel (ed.). Charlottesville, 1997. P. 75–90.*

¹³ *Frith S. The Sociology of Rock (Communication and Society)*. L., 1978.

¹⁴ *Tagg Ph. Analyzing Popular Music: Theory, Method and Practice // Popular Music*. 1982. Vol. 2: Theory and Method. P. 37–67.

¹⁵ *Griffiths D. The High Analysis of Low Culture // Music Analysis*. 1999. Vol. 18. № 3. P. 389–434.

¹⁶ *Frith S. The Sociology of Rock (Communication and Society)*. L., 1978; *Frith S. Music Industry Research: Where Now? Where Next? Notes From Britain // Popular Music*. 2000. Vol. 19. № 3. P. 387–393; *Cloonan M. What Is Popular Music Studies? Some Observations // British Journal of Music Education*. 2005. Vol. 22. № 1. P. 77–93.

¹⁷ *Cloonan M. What is Popular Music Studies? Some Observations // British Journal of Music Education*. 2005. Vol. 22. № 1. P. 91.

¹⁸ *Frith S. Music Industry Research: Where Now? Where Next? Notes From Britain // Popular Music*. 2000. Vol. 19. № 3. P. 392.

¹⁹ *Cloonan M. What is Popular Music Studies? Some Observations // British Journal of Music Education*. 2005. Vol. 22. № 1. P. 82.

²⁰ См., например: *Tagg Ph. Analyzing Popular Music: Theory, Method and Practice // Popular Music*. 1982. Vol. 2: Theory and Method. P. 37–67; *Frith S. Music Industry Research: Where Now? Where Next? Notes from Britain // Popular Music*. 2000. Vol. 19. № 3. P. 387–393; *Cloonan M. What is Popular Music Studies? Some observations // B. J. Music*. 2005. Vol. 22. № 1. P. 77–93; *Bennett A., Shank B., Toynebee J. The Popular Music Studies Reader*. L., 2006; *Shuker R. Popular Music: The Key Concepts*. L., 2005; *Shuker R. Understanding Popular Music*. L., 2001; *Toynebee J. Making Popular Music: Musicians, Creativity and Institutions*. Oxford, 2000; *Wall T. Studying Popular Music Culture*. L., 2003; *Wicke P. Rock Music: Culture, Aesthetics and Sociology*. Cambridge, 1990; *Williamson J., Cloonan M. Rethinking the Music Industry // Popular Music*. 2007. Vol. 26. № 2. P. 305–322.

²¹ Достаточно сложно подобрать адекватный эквивалент в русском языке термину *performace*, поэтому пока будем использовать его в оригинальной версии (тем более учитывая, что в современном русскоязычном неакадемическом пространстве он именно так и используется).

ВИЗУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: ТЕОРИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Братолобова Мария Викторовна
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону

***Аннотация:** Предмет визуальной истории составляют история быта и повседневности, история семьи, гендерная история, история детства, история культуры, городская история, история труда и общественная деятельность, история религиозности, история этносов и т. п., отраженные в визуальном источнике, который уже существует (фотография, фильм, сатирическая графика, открытка, картина, и т. п.) или создается (фильм, слайд, сайт и т. п.). Цель статьи показать возможности изучения визуальных источников по истории России с помощью специальных методов и приемов.*

***Ключевые слова:** визуальные источники, история России, клуб визуальных исследований.*

Визуальные исследования — междисциплинарное направление, возникшее на пересечении истории, философии, семиотики, культурных исследований, социологии, искусствознания, нацеленное на комплексное исследование феномена визуальной культуры и формирование методологии анализа визуального образа применительно к различным типам визуальных «текстов».

Обращение к визуальным источникам по истории России представляется нам важным. Визуальная история России мало затронута исследовательским вниманием. Елена Вишленкова, исследователь истории Российской империи XIX–XX вв., объясняет пренебрежение визуальными источниками тем, что, во-первых, историки империи не любят работать с традиционными произведениями искусства, наталкиваясь на дисциплинарные интересы и незыблемые концепции традиционного искусствоведения. Во-вторых, в отечественной историографии за Российской империей утвердился статус пространства письменной культуры, в котором визуальное устойчиво воспринимается как вторичное¹. В результате этого до последнего времени исследователи, работающие с символическим миром Российской империи, рассматривали визуальные репрезентации либо как иллюстрацию письменного текста, либо как специфическую

упаковку для артикулированных идей². О таком отношении к визуальным источникам можно говорить применительно ко всей истории России.

Представляется интересным поделиться опытом работы клуба визуальных исследований в истории России, действующего на историческом факультете Южного Федерального университета, привлекая преподавателей и студентов, готовых использовать методики визуальных исследований. Цели создания клуба заключаются в следующем: развитие visual studies; установление контактов с отечественными и зарубежными исследователями, работающими в этом направлении; повышение эффективности научных разработок бакалавров, студентов и магистрантов ЮФУ. Задачи: приобретение студентами навыков работы с визуальными текстами как особым типом исторического источника; ознакомление с особенностями визуальной культуры и ее месте в системе гуманитарного знания; применение студентами полученных знаний в области научных исследований, а именно в разработке дипломных и магистерских работ, выполненных по тематике клуба и под руководством ее сотрудников; публикация результатов исследований; инициирование совместных исследовательских проектов студентов и преподавателей; участие в конференциях по проблематике визуальных исследований.

Организаторами клуба визуальных исследований за основу были взяты подходы к визуальным источникам, сформулированные В. Кивельсон и Д. Нойбергером: «использование визуального для того, чтобы найти информацию, не отраженную в письменных источниках; декодирование символических значений и коннотаций в визуальных источниках; определение исторически специфичных способов видения и приписывания значения визуальному знанию в тот или иной момент времени изучение практик видения как формирующих и иногда трансформирующих аспектов исторического опыта³».

В отечественной историографии традиция использования визуальных источников непродолжительна. Интерес историков к визуальным объектам как самостоятельным источникам познания прошлого наметился в 80-х гг. XX в., что совпало с поворотом от макроистории к миру повседневности «маленького» человека, участника истории, не оставившего письменных свидетельств о прожитой жизни. Визуальные образы могут отражать такие трудноуловимые в письменных источниках аспекты социальной действительности, которые кажутся современникам само собой разумеющимися, общеизвестными и именно поэтому не акцентируются в текстах⁴. Искажение реальности, зависящее от воли создателя или потребителя изображения, тоже представляет собой источ-

ник для изучения менталитета эпохи или социума. Кроме того, сегодня очевидно развитие междисциплинарных подходов к изучению истории, и именно в этой сфере визуалистика предоставляет широчайшее поле деятельности для исследователей. Помимо исследования теоретических подходов к изучению визуальной истории и культуры и их критического потенциала для анализа визуальных практик⁵, основными направлениями исследований клуба являются следующие: анализ форм и значений разнообразных визуальных практик, определяющих специфику культуры (искусство, кинематограф, фотография, карикатура, географическая карта, городское пространство и т. д.).

Визуальный поворот оказывает существенное влияние на изменение технологий исторического познания и, возможно, станет причиной их кардинальной перестройки. Хотя историки в большинстве своем до сих пор сохраняют верность письменным источникам, почти не замечая появления визуальных документов: в исторических исследованиях последние используются пока крайне редко в силу специфики отражения информации и отсутствия полноценного методического инструментария, обеспечивающего возможность исторических реконструкций.⁶ Тем не менее историческая наука не может полностью игнорировать новые веяния и постепенно приобщается к проблемам изучения визуальных документов. Указывая на возможность визуального изучения истории, М. Блок отмечал, что «следы прошлого... доступны прямому восприятию. Это почти все огромное количество неписьменных свидетельств...»⁷ Деятельность клуба визуальных исследований помогает студентам решить проблему метода, так как для формирования навыков работы с различными визуальными источниками необходимо владеть совокупностью технических приемов, применяемых в разных науках. На наш взгляд, без междисциплинарности невозможно дальнейшее развитие истории как науки.

На заседаниях клуба особое внимание уделяется такому визуальному источнику, как фотография. Фотография, как и всякий исторический источник, представляет собой своего рода код или текст с зашифрованной информацией, которая с определенной долей вероятности может быть раскрыта внимательным исследователем. Преподаватели вместе со студентами формируют критический подход к пониманию фотографии — через чтение и обсуждения набирают инструментарий теории фотографии, изучают и учатся рассуждать о фотографии. Представляет исследовательский интерес и любительская семейная фотография. Социализация является основной темой любительской фотографии

в изучаемой культуре, что проявляется в непосредственной включенности фотографии в ритуалы жизненного цикла и роли фотографических практик в конструировании личности, в создании и поддержании групповой идентичности. Исследуя фотографии, можно реконструировать особенности жизнеустройства, быта и нормативной культуры, а также элементы семейной обрядности. Для анализа фотографий преподаватели учат студентов анализировать изображения с помощью визуальной семиотики, секвенционного анализа (объективной герменевтики). В центре внимания такие понятия, как денотативное и коннотативное сообщение, коннотация, миф, идеология, иконические и иконографические коды, а также ресурсы репрезентации. Обязательным условием является чтение научной литературы на английском языке.

Самому материальному из визуальных искусств — архитектуре уделяется немало внимания в заседаниях клуба. Анализ комплекса монументальных памятников, созданных в Российской империи в конце XVIII — начале XX в. помогает студентам упорядочивать сведения о России, анализировать технологии визуального конструирования абсолютной монархии в России. Монументальные памятники несли существенную политическую, идеологическую, пропагандистскую и художественную нагрузку. Комплекс монументальных памятников служит яркой и исчерпывающей характеристикой создавшего их политического режима, его направленности и устойчивости. Исследования такого вида визуальных источников существенно обогащают исторические и культурно-географические представления о конкретной эпохе.

Исследованию в рамках работы клуба подвергается политическая карикатура и пропагандистские плакаты времен российских войн XIX — XX вв. Участники клуба пытаются исследовать, какое отражение в российской сатирической графике находят важные события и явления общественно-политической жизни и международных отношений⁸. Важно понять «язык карикатуры» как своеобразной разновидности публицистики, определить специальные приемы, используемые художниками, знание которых позволяет лучше понять смысл созданного им образа и механизм воздействия на читателя. Студенты рассматривают политические карикатуры в качестве средства для конструирования образа врага. Особый интерес у студентов вызвал проект о формировании с помощью визуальных образов стереотипа восприятия Отечественной войны 1812 г., Русско-японской войны, Первой и Второй мировых войн.

Серьезное внимание уделяется картам России, которые «представляли собой ту географическую основу, которая упорядочивала другие отрасли знания, от естественной истории до историй национальных»⁹. На многочисленных примерах показано, как картографы формировали картину мира, далеко не всегда руководствуясь в своей деятельности исключительно объективными данными. На конкретном материале студенты вместе с преподавателями отрабатывают и обобщают те специальные исследовательские подходы и процедуры, с помощью которых можно извлечь информацию того или иного рода из такого специфического визуального источника. Картография может быть отнесена к жанру новой культурной истории: это и сам выбор невербальных (визуальных) источников — карт как основного материала для исследования, и их интерпретация (дешифровка) с целью выявления представлений — правовых, политических, религиозных, эстетических — создававших их людей. Составители карт изображали мир таким образом, который был понятен им самим, в контексте своего опыта и своей ментальной вселенной¹⁰. Карты, картуши, атласы помогут выяснить, насколько они умело скрывают свою собственную силу как инструмент строительства государства, политического доминирования и социального контроля. Представляется интересным проследить на картографическом материале процесс рождения в сознании европейцев фобий и вымыслов, касающихся обширных пространств далекой и неведомой России.

Огромной силой эмоционального воздействия обладает такой аудиовизуальный источник как кино. Историческим источником может служить и документальный, и художественный фильм. В кинематографе заложена богатейшая культурно-историческая и социальная информация. Художественный фильм невозможно оценить с точки зрения достоверности исторических фактов. Характер субъективности автора и отражение ментальности социума дают информацию не о той истории, которая показана в фильме, а о том времени, когда он снят. Не разделяя научно-познавательное и художественно-эстетическое восприятие мира, мы должны признать, что игровое и документальное кино, по сути, является системой знаков, подлежащих прочтению и осмыслению при помощи исследовательских принципов текстологии, герменевтики и семиотики¹¹. Кроме того, давно уже признано, что «важнейшее из искусств» является мощным средством пропаганды нормативных представлений того или иного социума. Татьяна Дашкова отмечает, что в последнее время исследователей заинтересовали способы проявления идеологии не как набора политических тезисов, а в качестве «сложного со-

четания вербальных и визуальных стратегий»¹². Особый интерес для участников клуба представляет этнографическое кино и возможность увидеть перспективы визуальной антропологии. Фильм может быть важным способом этнографического исследования. Занятия клуба посвящены осмыслению возможности развития систематизированного метода изучения этнографического фильма, в частности «этнографичности» фильма.

Студенты, участвующие в работе клуба, большей частью работают с визуальными источниками — анализируют их, извлекают и обобщают необходимую информацию, обсуждают ее, сопоставляют полученные сведения с уже имеющимися у них знаниями. Практическая работа включает подготовку групповых проектов. Групповой проект состоит из практической и аналитической частей. Практическая часть предполагает поиск, подбор и исследование визуального ряда из фотографий, карикатур, плакатов и т. д. (не менее 30) или видеоряда, выполненного на одну из тем. На основе созданного визуального ряда выполняется исследование, оформленное в письменном виде. Групповые проекты проходят защиту в сопровождении электронной презентации.

Участие в работе клуба способствует развитию профессиональных и общекультурных компетенций студентов, ориентированных на изучение теоретических подходов к интерпретации визуальных источников по отечественной истории, а также формированию навыков их использования в исследовательской и образовательной практиках. В центре внимания — исследовательский, образовательный и воспитательный потенциал: произведений живописи, архитектуры и скульптуры; различных видов агитационной продукции; разных типов кинематографического искусства, фотографий.

Продемонстрировав потенциал визуальных источников, необходимо заметить, что ни одна из имеющихся методик их исследования не совершенна сама по себе и не эффективна вне культурно-исторического контекста. По мнению многих исследователей, наиболее перспективно комбинировать различные подходы к анализу изображений, исходя их конкретной исследовательской задачи. Для адекватного понимания прошлого нужна совокупность различных источников и различных методов их изучения. В целом можно констатировать, что визуалистика уверенно отвоевывает себе пространство в исторической науке. Это новое направление познания прошлого предоставляет широкое поле для развития междисциплинарных исследований, что также является одной из актуальных тенденций современной историографии.

Для студентов участие в работе клуба имеет практическое значение, т. к. нацелено на углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения истории. При этом приобретаются навыки визуального анализа, а также заостряется «зрение историка»: приемы работы с нетрадиционными документами.

В будущем планируется создание лаборатории визуальной истории и культуры. Лаборатория будет заниматься научно-исследовательской и методической работой, формированием банка визуальных ресурсов для использования в исследованиях и образовательном процессе. Финансирование работы лаборатории предполагается осуществлять за счет грантов. Рост числа центров визуальной истории и антропологии, проведение многочисленных конференций, посвященных проблемам визуального и объединяющих историков, филологов, социологов, культурологов, философов, свидетельствует об изменении традиции восприятия реальности главным образом через письменные тексты.

¹ Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011. С. 15.

² Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999.

³ Янковская Г. Рец. на кн.: Valerie A. Kivelson and Joan Neuberger (Eds.), *Picturing Russia: Explorations in Visual Culture* (New Haven; L.: Yale University Press, 2008). xv+284 pp.; ill., maps. ISBN: 978–0300–119–619 // *Ab Imperio*. 2009. № 1. С. 439–447.

⁴ Щербакowa Е.И. Визуальная история: освоение нового пространства // *Исторические исследования в России-III. Пятнадцать лет спустя* / под ред. Г.А. Бордюгова. М., 2011. С. 474.

⁵ Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 2008; Бергер А. Видеть — значит верить: Введение в зрительную коммуникацию. М., 2005; Александров Е.В. Опыт рассмотрения теоретических и методологических проблем визуальной антропологии. М., 2003; Александров Е.В. Система визуальной антропологии в России: ступени «погружение» и проблемы // *Материальная база культуры*. М., 1997. Вып. 1. С. 60–65; Баллиси А. Визуально-антропологический проект в условиях существования многих культур // *Информ-культура. Материальная база сферы культуры. Научно-информационный сборник*. Вып. 2. М., 1998; *Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность* / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В. Круткина. Саратов, 2007; *Визуальная антропология: режимы видимости при социализме* / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М., 2009; Флаэрти Р. Статьи. Свидетельства. Сценарии. М., 1980; Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М., 2009; Banks M. *Visual research methods* // http://www.soc.surrey.ac.uk/nigel_gilbert.htm; Ruby J. *Visual Anthropology* // *Encyclopedia of Cultural Anthropology* / Edit by David Levinson and Melvin Ember, editors. New York: Henry Holt and Company, 1996. <http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/cultanthro>.

html; *Ruby J.* “Images of Rural America”. *History of Photography* 12 (1988):327–343 (*Ruby J.* *Visual Anthropology*. In *Encyclopedia of Cultural Anthropology*, David Levinson and Melvin Ember, editors. New York: Henry Holt and Company. Vol. 4:1345–1351 (<http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/cultanthro.html>); Worth Sol. *Studying Visual Communication*, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1988 // <http://astro.temple.edu/~ruby/wava/worth/sintro.htm>.

⁶ *Мазур Л.Н.* Визуальный поворот в исторической науке на рубеже XX–XXI вв.: в поисках новых методов исследования [Электронный ресурс]. URL: http://ivid.usoz.ru/publ/larro_150/mazur_ld/16-1-0-144 (дата обращения: 5.02.2014).

⁷ *Блок М.* Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 33.

⁸ *Братолобова М.В.* Политическая карикатура в области войска Донского в начале XX в. // *Материалы XXIII музейной научно-практической конференции*. 4 апреля 2013 г. Новочеркасский музей истории донского казачества. Новочеркасск, 2013.

⁹ *Ларри Вульф.* Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 519.

¹⁰ *Кивельсон В.* Картография царства: Земля и ее значения в России XVII века / Валери Кивельсон; пер. с англ. Наталии Мишаковой. М., 2012. С. 22–23.

¹¹ *Щербакова Е.И.* Визуальная история: освоение нового пространства // *Исторические исследования в России-III*. Пятнадцать лет спустя / под ред. Г.А. Бордюгова. М.: АИРО XXI, 2011. С. 479.

¹² *Дашкова Т.* Любовь и быт в кинофильмах 1930 — начала 1950-х гг. // *История страны. История кино*. М., 2004. С. 23.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 1920–1940-х гг. В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОЙ СЕМИОСФЕРЫ (ОПЫТ ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА)

Тихонов Виталий Витальевич

Институт российской истории РАН,
г. Москва

***Аннотация:** Статья представляет собой опыт применения семиотического подхода к изучению советской исторической науки 1920–1940-х годов. Затрагиваются такие проблемы, как влияние «сталинской» семиосферы на историков, образ врага в исторических нарративах, прецедентные тексты и пространственный континуум в историографии.*

***Ключевые слова:** Советская историческая наука, семиотика, семиосфера, исторический нарратив, прецедентные тексты, «История ВКП(б). Краткий курс».*

Советское общество было пронизано символами и мифами. По мнению Г.Г. Почепцова, как кажется, несколько преувеличенному, «в Советском Союзе не было несимволической действительности»¹. А вот мнение М.Я. Геллера: «Набор мифов создает вокруг советского человека магическое кольцо, закрывающее все выходы во внешний мир»². Явная и скрытая символика окружала советского человека вне зависимости от его места в социальной иерархии, образования, профессиональной подготовки и политических взглядов. Не были исключением и историки. Историк В.П. Смирнов в своих воспоминаниях подчеркивал: «... Создавался мифологический образ страны и мира, в котором мы жили, а известно, что “мифологическое сознание” обладает большой устойчивостью. Подобно религиозному сознанию, оно способно не замечать или не воспринимать факты, не соответствующие мифу»³.

Исходя из вышесказанного, представляется важным рассмотрение того семиотического пространства, в котором находилась историческая наука. Не будет преувеличением сказать, что все историки оказались в центре символической системы. Стоит отметить, что существовал своеобразный порог восприятия советских символов со стороны представителей разных поколений и, так сказать, субкультур историков. Очевидно, что ученые «старой школы» критичнее глядели на действительность и ее символическое воплощение, в то время как молодые историки-маркси-

сты были гораздо восприимчивее к советской идеологии, отраженной в символике.

Семиотический анализ постепенно занимает свою нишу в отечественных исторических исследованиях⁴. К сожалению, специальной работы, посвященной выявлению символического контекста развития исторической науки, до сих пор нет, хотя в многочисленных публикациях присутствуют отдельные ценные наблюдения. Приходится констатировать, что, несмотря на стремление Тартуско-Московской школы предложить историкам развернутую программу по исследованию прошлого на основе анализа семиотических систем, возникающих в процессе коммуникации⁵, эти идеи профессиональными историками оказались практически не востребованы.

Главным источником моделирования советской семиосферы⁷ 1920–40 гг. был, конечно же, сам И.В. Сталин. Именно его высказывания и тексты оказывались теми кирпичами, из которых строилась историческая политика в СССР. Органы пропаганды, образования и науки (грань между ними часто стиралась) иногда творчески переосмысливали идеи вождя, но сути не меняли. Особую роль играли «сталинские указания». На деле они часто звучали туманно, но всегда были «исчерпывающими»⁷. «Без знания этих указаний не может обойтись ни один историк, какой бы эпохой и какими бы конкретными вопросами он ни занимался»⁸. Имея мифические «исчерпывающие» указания историки, тем не менее совершали ошибки. Объяснялось это только тем, что они либо не поняли этих указаний, либо сознательно их проигнорировали. Последнее уже квалифицировалось как саботаж и вредительство.

«Сталинские указания» сродни приказам гениального полководца, ведущего свои войска от победы к победе: «Сталинские указания, касавшиеся как общеметодологических проблем, так и отдельных конкретных вопросов истории, стали основой решительного перелома на фронте исторической науки»⁹.

Значительный интерес представляет и язык Сталина, воплощенный в том числе и в главных для историков директивных текстах и выступлениях. В семиотике принято выделять естественный и искусственный языки. Искусственный язык разрабатывается учеными специально для того, чтобы сформировать универсальные непротиворечивые термины, понятия и категории, исключающие или минимизирующие двоякое толкование. Сталин всегда предпочитал естественный язык, подразумевающий различные интерпретации и восприятия. Этим частично можно объяснить и особую любовь диктатора к истории, где терминология зна-

чительно проще и неопределеннее по сравнению даже с другими гуманитарными дисциплинами. Помимо того, что самого Сталина можно обвинить в недостаточной образованности, популизме, эта любовь объясняется и тем, что в естественном языке проще подстраивать смыслы под собственный дискурс, трансформировать их, в нужный момент показывая, что имелось в виду совсем не то, что усвоили слушатели или читатели. Такая позиция позволяла играть роль единственного интерпретатора.

Определяя свой статус в советской символической иерархии, Сталин позиционировал себя как «Ленин сегодня». Другой вариант: «Сталин — ученик Ленина». Таким образом, если следовать за терминологией семиотики, Сталин — это цитата Ленина. Не будем вдаваться в рассуждения о том, насколько это верно. В данном случае это не важно. Необходимо подчеркнуть другое. Помимо культа отца-основателя, присущего любому обществу и государству, это отражает бинарность советской символики¹⁰. Примеры: Маркс—Энгельс, рабочий—колхозница, Чапаев—Фурманов, Ленин—Сталин, революция—контрреволюция, красные—белые и т. д. Данный код прослеживается в исторической мифологии. Например, «Кутузов — ученик Суворова» схема, которая была реализована как в популярных, пропагандистских сочинениях о русской военной славе, так и в серьезных научных монографиях.

В первое десятилетие существования советской власти к прошлому демонстрировалось явное пренебрежение. Пафос строительства нового общества и разрушение наследия предыдущего не способствовали обращению к истории. В 1930-е гг. значение образов прошлого в идеологии заметно возросло. Связать это можно не только с поворотом к построению «социализма в отдельно взятой стране» и культивации «советского патриотизма», но и с растущим противостоянием, в том числе и символическим, с Германией. В Третьем рейхе история играла структурообразующую роль. Исторические образы являлись фундаментом довольно иррациональной идеологии. Как следствие, внешнеполитическая доктрина нацизма делала особый акцент на мифологизированное прошлое. Советская сторона должна была дать адекватный ответ, в том числе и мифо-исторический. Так историки и история оказались на передовой идеологического фронта.

Метафора фронта или войны являлась фундаментальной в советской мифологии. Пропаганда конструировала милитаризированный дискурс, внедряя в общество менталитет «осажденной крепости», мобилизационную психологию. Даже за урожай приходилось биться. Историче-

ская наука — не исключение. Регулярное напоминание о том, что история — важный участок идеологического фронта, — обыденность для советских историков. Особенно это стало популярным во время и после Великой Отечественной войны, когда военная терминология тотально заполнила социальное пространство. Отсюда и популярная метафора — «прорыв исторического фронта». Любое обнаруженное идеологическое упущение в работе историков оценивалось именно так. Фронт могли прорвать внешние враги (буржуазные историки), но куда чаще его прорывали враги внутренние, то есть, даже находясь внутри страны, историк был на линии фронта. Это наблюдение позволяет утверждать, что в пространственном континууме советского мифа фронт был повсюду, он не имел четких границ. Немаловажно и другое: «прорыв фронта» мог произойти не только, да и не столько из-за действий врага, сколько из-за бездействия или оплошности самих «солдат» невидимого фронта. Любое послабление — это предательство. Метафора фронта как нельзя лучше поддерживала атмосферу напряжения и мобилизации, насаждавшуюся в обществе. Ведь мало где человек находится в таком же напряжении и так же мобилизован, как на фронте.

Фронт — это еще и демаркационная линия между своим миром и миром врага. Мифология фронта была важным элементом изоляционистской политики. Как известно, за линию фронта перебираются только перебежчики или разведчики. Отсюда стандартизированные отчеты советских историков о посещении международных конгрессов, больше похожие на рапорты о проведенных диверсиях и операциях.

Элементом милитаризированной психологии является и культивируемая «воинственность» советской интеллигенции. В частности, к историкам постоянно звучали призывы не забывать о партийности и воинственности, объединенных в корявом словосочетании «партийная воинственность». Причем особая воинственность требовалась всегда, но особенно здесь и сейчас. С точки зрения идеологии, советский историк не мог расслабиться ни на минуту. Война закончилась, но дальше еще сложнее — в мирное время враг не так очевиден, нельзя терять партийную бдительность! Наглядно это видно на примере кампаний по борьбе с «буржуазным объективизмом».

Любая империя невозможна без образа врага. Соглашаясь с тем, что СССР нельзя считать классической империей, подчеркнем, что из-за своего стремления быть лидером всего «прогрессивного человечества» Советский Союз просто вынужден был конструировать символическую реальность, вполне имперскую хотя бы по глобальному масштабу и ам-

биям. «Враги», как известно, могли быть и внешними, и внутренними. Риторика и символика борьбы с внутренними врагами прочно утвердилась и в исторической науке. Этот ярлык щедро навешивался. Враг постоянно мобилизован, он «не дремлет», поэтому советские историки, вслед за остальными гражданами, должны были проявлять бдительность. Один из лейтмотивов непрекращающейся кампании за критику и самокритику — это притупление бдительности. Врагом мог оказаться любой, даже близкий коллега. Например, в исторической науке таким внутренним врагом оказалась «школа Покровского» и буржуазные националисты. Борьба с ними сопровождалась вполне шпионской терминологией. Миф о враге оказывался основополагающим в картине мира: «...Когда партия перешла в решительное наступление против последнего капиталистического класса — кулачества, борьба на историческом фронте обострилась. Между буржуазными историками Западной Европы и враждебными марксизму историками, работавшими в СССР, установился единый антимарксистский фронт. Усилилась вредительская идеологическая работа буржуазных националистов. Так, например, на Украине протаскивались «теории», пущенные в ход австрийским шпионом Яворским и группкой украинских нацдемов...»¹¹

В классовой картине мира враги — это обязательно обреченные силы реакции, мешающие прогрессу, воплощенному в новом советском обществе. Это уходящие с исторической сцены классы: «Политический смысл этой борьбы на историческом фронте заключался в том, что умиравшие эксплуататорские классы попытались закрепить на основных идеологических позициях, в особенности на фронте исторической науки»¹². Вновь важную роль отводили историкам, которые должны были обнаружить врагов в прошлом, и показать их обреченность в исторической перспективе.

Военизированная атмосфера предполагала наличие героев. Героика — отличительная черта молодого советского государства. Эпоха «Великого перелома» требовала образцов для подражания. Характерными героями первых десятилетий советской власти были «герои физического, а не интеллектуального типа»¹³. Наиболее ярко этот образ отразился в соцреализме: на страницах литературных произведений и экране¹⁴. Советские герои — это люди действия. Отсюда такая любовь советской пропаганды к Ивану Грозному, Петру I, внешне простоватому, но энергичному Суворову, революционерам и т. д., ведь все они — люди действия. И совершенное неприятие метущегося интеллигента. В данном символическом контексте работники интеллектуального труда оказы-

вались на периферии советской картины мира. Но ситуация поменялась в годы войны, когда научная продукция сыграла одну из решающих ролей в разгроме врага. Советское руководство наглядно убедилось, что будущее за крупными научными державами. В послевоенное время статус ученого резко возрастает, приобретая героические черты. Чудаковатые люди науки приобретают почет не меньший, чем строгие военные¹⁵.

Все же в советской мифологии ученые так и не смогли занять ведущей позиции, неизменно оказываясь вторичными по отношению к союзу рабочих и крестьян. Любопытная деталь, имеющая с нашей точки зрения и важное символическое значение. Мимоходом брошенная на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 г. фраза о том, что «революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся», привела к тому, что специалисты по античности сосредоточили главные усилия на поиске и обосновании революции рабов как главного фактора падения Римской империи¹⁶. Обычно научные идеи высказываются не перед колхозниками. Но здесь была важна именно символика: колхозник своим классовым инстинктом понимает все ничуть не хуже, а даже лучше, чем представитель интеллигентской прослойки.

Но герои не могут существовать сами по себе. Это в буржуазном мире все пронизано индивидуализмом и нарциссизмом. Интеллектуальный герой страны Советов — это слуга народа. Он такой же участник пятилеток, как и рядовой колхозник или рабочий. В торжественных статьях, посвященных Сталинской премии, мы находим настойчивые напоминания о том, что ученый — это слуга народа. Его ценность определяется тем, что он может дать простому народу. В статье А.М. Панкратовой комбинируется метафора фронта и службы народу: «Достижения советских историков на фронте исторической науки, однако, нельзя еще признать достаточными, чтобы удовлетворить громадные потребности советского народа, идейные запросы которого непрерывно растут»¹⁷.

Но связка ученый—народ, как и все в СССР, должна реализовываться не напрямую, а через посредничество партии. Лозунг «Народ и партия — едины!» — хорошее обоснование такого порядка вещей. Таким образом, идеологема «ученый — слуга народа» в реальности превращается в «ученый — слуга партии».

Для распространения символов важны каналы их передачи. Здесь советская действительность предлагала широкий спектр. Это и вербальные, и визуальные источники, опубликованные и неопубликованные

стенограммы речей, официальные периодические издания идеологической направленности (журнал «Большевик», газеты «Правда», «Культура и жизнь» и т. д.), информация на партсобраниях и т. д. Особым каналом стали неофициальные речи Сталина и членов его окружения, различные тосты. Играл они роль и в исторической науке.

В исторической науке такими каналами являлись не только официальные издания, но и собственная профессиональная периодика и книги. В этом смысле любопытна эволюция названия главного исторического журнала страны «Вопросы истории». В 1920-е гг. выходили издания, из которых собственно и выросли «Вопросы истории». Имеются в виду «Историк-марксист» (с 1926 г.) и «Борьба классов» (с 1931 г.)¹⁸. Оба названия семантически отражали бескомпромиссность борьбы с чуждой историографией. Название «Историк-марксист» словно указывало, что только историки — приверженцы правильной марксистской методологии могли публиковать здесь свои труды. После разгрома «школы Покровского», появления новой конституции, провозглашавшей общенародное государство, и все возрастающей в самой исторической науке роли историков «старой школы» название смягчили. От былой воинственности не осталось и следа: с 1937 г. журналы объединили, а новому изданию дали вполне нейтральное название «Исторический журнал». Наконец, после войны издание стало известно как «Вопросы истории». Новое имя отражало некоторые послабления первых послевоенных лет. Выяснилось, что в истории есть какие-то вопросы, а это уже предполагало полемику, дискуссионность, непредрежденность самой истории как научного знания. Впрочем, если у кого и существовали иллюзии на этот счет, то вскоре они развеялись. Тем не менее любопытно то, что именно на послевоенное время падает самое большое количество дискуссий со времен относительно либеральных 1920-х гг.

Любая культура не может существовать без так называемых «прецедентных текстов». Под этим понимается такой текст, который: «1) значим для той или личности в познавательном и эмоциональном отношении; 2) имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известны и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников; 3) обращение к которому возобновляется неоднократно в дискурсе языковой личности»¹⁹. Советская «цивилизация» стала источником множества таких текстов. Особой значимостью для историков обладал «Краткий курс истории ВКП(б)».

«История ВКП(б). Краткий курс» занимал центральное место в сталинской исторической мифологии. В нем прямо указывалось на то, что

его целью является воспитание интеллигенции. По наблюдению филолога Г.Г. Почепцова, эту книгу можно считать вполне художественным произведением как по языку, который скорее напоминает газетный жанр или язык митинга, так и потому, что Сталин работал с ним не по канонам научного текста, где необходимо отразить действительность как можно полнее и объективнее, а по канонам художественным, где творческий замысел позволяет переписывать реальность. Многочисленные «враги народа» попросту были вычеркнуты из истории как ненужные для сюжета персонажи²⁰. Именно здесь была прописана одна из главных мифологем эпохи — враг повсюду, а беспощадная борьба с ним — долг каждого.

Особенностью «Краткого курса» был его сакральный статус. На это указывают несколько черт. Во-первых, официальная непогрешимость оценок и истин, прописанных здесь. Во-вторых, тот факт, что после первой публикации его много раз переиздавали, но практически ничего в нем не меняли. Только имя Ежова исчезло. Несмотря на то что в послевоенное время содержание книги заметно расходилось с духом внутренней политики, она не подверглась какому-либо редактированию²¹. Это свойство сакрального, вдобавок канонизированного текста. Такие тексты в созданной при их помощи информационной среде начинают проецировать многочисленные символические клоны, что ведет к ритуализации информационного пространства, появлению эффекта повтора. В советской исторической науке такое тиражирование хотя бы на формальном уровне хорошо видно. Постоянное цитирование «Курса» и других текстов Сталина превратилось в необходимый атрибут научно-исторических сочинений. Более того, тиражировалась не только риторика, но и концепции и оценки. «Жрецы» науки имели действенное средство борьбы с «ересью» путем сравнения постулатов исходного текста и сочинений собственно историков.

В любой семиотической системе ключевое положение занимает пространственный континуум. В уже упомянутой книге «Трансформация образа советской исторической науки...» выделен специальный параграф, посвященный социокультурному ландшафту²². В нем описываются институционально-структурные изменения (появление новых научных институтов, исторических кафедр, музеев и т. д.) в пространственном измерении Советского Союза. Здесь хотелось бы обратить внимание на другое. В коммуникативном процессе между столичной и провинциальной исторической наукой Москва играла определяющую роль как транслятор символов, идеологем и мифов. Не

была исключением и историческая наука. Наглядно это видно на примере идеологических кампаний, когда кампании на местах — это символическое, хотя и искаженное повторение столичных мероприятий. В производстве символов столица всегда занимает доминирующее положение по отношению к другим частям страны. Другое дело, что местная специфика иногда оказывалась настолько сильной, что задавала неожиданные повороты и векторы. В роли провинции выступает даже Ленинград. Так, на проработочное собрание, посвященное разгрому «буржуазного объективизма» в Ленинградском отделении института истории, в 1948 г. приезжает москвич В.И. Шунков, который задает направление всему процессу.

Но связь между Москвой и провинцией не так проста, как может показаться вначале. Огромную роль в идеологических кампаниях сыграют провинциальные «маленькие люди»²³ (еще один семиотический феномен сталинской эпохи). Они нередко задавали тон и как бы сглаживали различие двух миров, нивелировали статус столичных авторитетов. Их биографии были примером того, что даже заштатный провинциальный преподаватель или ученый может покорить Москву, если, конечно, правильно поймет направление идеологических перемен. В этом проявилась еще одна особенность советского мифологического пространства: Москва — центр, из которого все исходит и куда все устремляется. Символически он везде. Отнюдь не случайны основополагающие метафоры советской культуры: «Страна моя — Москва моя», «Москва знала все» и др.²⁴ В контексте всего сказанного лучше понимается помпезность празднования 800-летия Москвы в 1947 г. Органично в это вписывается и возрождение москвоцентристской концепции формирования русского централизованного государства, от которой к началу XX в. дореволюционная историческая наука в значительной степени отказалась в пользу концепции полицентризма и альтернативности данного процесса.

Итак, советская наука множеством невидимых нитей была связана с семиосферой своего времени. Советские семиокоды многократно воспроизводились в научных текстах, являясь их органичным и неотъемлемым элементом. Перспективным направлением в историографических исследованиях, нередко декларируемых, но так по сути до сих пор нереализованных, является последовательное смещение акцента с анализа трудов советских историков как научных текстов на их анализ как текстов семиотических. В таком ракурсе можно будет сознательно закрыть глаза на научный потенциал советской историографии и рассмотреть ее функцию как транслятора определенной мифореальности и ментально-

сти. В данной работе лишь были намечены отдельные линии исследования, которое еще ждет своего часа.

¹ Почепцов Г.Г. Семиотика. М., 2002. С. 40.

² Геллер М.Я. Машина и винтики. История формирования советского человека // http://krotov.info/history/11/geller/gell_24.htm (дата обращения: 17.07.2013).

³ Смирнов В.П. От Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи. М., 2011. С. 184.

⁴ Мазур Л.Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2011. С. 184–190.

⁵ Развернутое обоснование такого подхода см.: Успенский Б.А. История и семиотика // Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 9–76.

⁶ О понятии «семиосфера» см.: Лотман Ю.М. О семиосфере // Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статья и заметки. М., 2010. С. 82–109.

⁷ Панкратова А.М. Советская историческая наука за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. С. 14–15.

⁸ Там же. С. 15.

⁹ Там же. С. 16.

¹⁰ Почепцов Г.Г. Указ. соч. С. 324.

¹¹ Панкратова А.М. Советская историческая наука за 25 лет. С. 12.

¹² Там же. С. 13.

¹³ Почепцов Г.Г. Указ. соч. С. 291.

¹⁴ Куляпин А.И., Скубач О.А. Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи. М., 2013. С. 71–95.

¹⁵ Подробнее: Мамонтова М.А. Как «русский ученый» вытеснил «русского полководца»: изменение тематики исторических исследований в первое послевоенное десятилетие // Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940 — середина 1950-х гг. / под ред. В.П. Корзун. М., 2011. С. 306–322.

¹⁶ Сталин И.В. Речь на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 г. // Сталин И. Вопросы ленинизма. 11-е изд. М., 1952. С. 447.

¹⁷ Панкратова А.М. Указ. соч. С. 21–22.

¹⁸ Алексеева Г.Д. Историческая периодика // Очерки истории исторической науки в СССР. Т. IV. М., 1966. С. 264–265.

¹⁹ Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С.216; См. также: Богданов К.А. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. С. 47.

²⁰ Почепцов Г.Г. Указ. соч. С. 186, 301, 305.

²¹ Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). СПб., 2009. С. 243.

²² Рыженко В.Г. Историк в меняющемся мире: территория поиска — провинция (1918 — начало 1930-х гг.) // Мир историка. XX век. Омск, 2002. С. 139–178; Рыженко В.Г. Изменение социокультурного ландшафта развития советской исто-

рической науки в первое послевоенное десятилетие // Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие. С. 89–111.

²³Подробнее см.: *Тихонов В.В.* Как «маленькие люди» творили большую историю: феномен «маленького человека» и его роль в послевоенных идеологических кампаниях в советской исторической науке // *История и историки: историографический ежегодник за 2011–2012 гг.* М., 2013. С. 108–124.

²⁴См.: *Почепцов Г.Г.* Указ соч. С. 215; *Куляпин А.И., Скубач О.А.* Указ. соч. С. 15–28.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗАЩИТЫ: ПРОФЕССОРСКИЙ ДИСПУТ П.А. СОРОКИНА в 1922 г.

Долгова Евгения Андреевна
Российский государственный
гуманитарный университет,
г. Москва

Аннотация: Статья посвящена неофициальному публичному научному диспуту социолога П.А. Сорокина в Петрограде в 1922 г.

Ключевые слова: История науки, научное сообщество, П.А. Сорокин, магистерский диспут.

П.А. Сорокин (1889–1968) является яркой и спорной фигурой в отечественном и зарубежном обществоведении XX в. Хотя в научной литературе существует довольно много работ о жизни и творчестве ученого¹ (в том числе о русском периоде его деятельности²), налицо разные трактовки отдельных фактов его биографии³.

Одним из таких любопытных сюжетов является публичный научный диспут П.А. Сорокина, состоявшийся в апреле 1922 г. в Петрограде. К защите было представлено двухтомное сочинение молодого автора «Система социологии». 2 тома «Системы социологии» — «Социальная аналитика» и «Учение о строении сложных социальных агрегатов» — вышли в 1920 г. в петроградском издательстве «Колос»⁴. Книга изначально была ориентирована на то, чтобы привлечь внимание. Первый том был посвящен, в том числе, памяти друга, расстрелянного ЧК в Великом Устюге за антисоветскую агитацию (это оговаривалось в предисловии). Можно отметить и многочисленные отступления политического характера. Книга с такими интенциями не могла не вызвать общественных откликов, и автор был к ним готов. Вышедшие в свет два тома «Система социологии» Сорокина вызвали шквал эмоций. Можно отметить лишь немногие положительные⁵ рецензии на эту работу⁶.

Факт состоявшегося в условиях отмены ученых степеней неофициального публичного научного диспута важен, — прежде всего, для понимания механизма легитимации положения молодого ученого-эмиг-

ранта: защита диссертации наряду с полученным в Петрограде в 1920 г. профессорским званием позволила П.А. Сорокину претендовать на определенные статусные роли в зарубежном (американском) научном сообществе после его отъезда из Советской России. О значении диспута в судьбе молодого ученого свидетельствует то, что картина его проведения была скрупулезно сконструирована самим П.А. Сорокиным: подробный отчет о диспуте был представлен им почти сразу же в издании «Экономист» (№ 4–5 за 1922 г.); в своем автобиографическом романе «The Long Journey» защите диссертации для получения «степени доктора наук» ученый посвятил специальный параграф⁷.

Как же, по воспоминаниям П.А. Сорокина, протекал диспут? В условиях отмены научных степеней и званий он носил неофициальный характер⁸. Диспут состоялся 22 апреля 1922 г. в здании Петроградского университета, как отмечается в заметке в «Экономисте», «при большом стечении профессуры и студенчества». В журнале заседаний Совета исторического института сделана запись, что среди присутствующих, кроме официальных оппонентов, были историки А.А. Васильев, А.Г. Вульфус, О.А. Добиаш-Рождественская, А.И. Заозерский, А.Е. Пресняков, С.В. Рождественский, Е.В. Тарле, литературовед И.И. Беккер, философ Л.П. Карсавин, правовед Н.А. Грудескул⁹. На собрании председательствовал историк И.М. Гревс.

Секретарь совета зачитал список сочинений П.А. Сорокина (к моменту защиты им было опубликовано 126 научных работ), затем И.М. Гревс предоставил слово диспутанту для выступления, в котором были изложены основные принципы, методы и цели диссертации. После вступительного слова диспутанта последовали речи трех оппонентов: профессора социологии К.М. Тахтарева, историка, философа и социолога Н.И. Кареева и философа И.И. Лапшина. Вслед за официальными оппонентами в обсуждении «Системы социологии» приняли участие профессор Н.А. Грудескул и приват-доцент С.Н. Тхоржевский. Признавая значительность и ценность «Системы социологии» для русской науки, оппоненты одновременно критиковали некоторые слабые места концепции и противоречивость методологических приемов П.А. Сорокина. После ответа П.А. Сорокина на каждое предыдущее выступление разгорелись продолжительные дебаты. Обсуждение продолжалось около 6 часов, тайным голосованием ученый совет признал диспутанта соответствующим степени доктора социологии. Переполненный зал университета встретил это известие и диссертанта долгой овацией.

Наиболее важным для П.А. Сорокина было выступление классика отечественной социологии, вице-президента Международного института социологии, председателя Русского социологического общества имени М.М. Ковалевского — Н.И. Кареева. В опубликованном в «Экономисте» отчете говорится о том, что профессор Н.И. Кареев начал свою речь с заявления о том, что работа П.А. Сорокина представляет собой ценный вклад в науку, что он, Н.И. Кареев, многому научился и почерпнул немало сведений о новейших направлениях социологии, в т. ч. бихевиоризме. Речь первого оппонента сыграла едва ли не решающую роль в состоявшемся диспуте, т. к. отзывы двух других оппонентов — К.М. Тахтарева и И.И. Лапшина — носили в основном вспомогательный характер: по данным опубликованного отчета они отмечали «талантливость обсуждаемой работы, ее искренность, безбоязненность и смелость искания истины».

Так выглядит картина защиты в воспоминаниях П.А. Сорокина. Однако в заметке в «Экономисте» и в своей автобиографии ученый сознательно искажает картину обсуждения «Системы социологии» на диспуте. Прежде всего присутствует принципиальная неточность самого П.А. Сорокина — определение диспута как докторского. На нее указывают в комментарии П.П. Кротов и А.В. Липский, называя эту защиту не докторской, а магистерской, так как защита магистерской диссертации, которую П.А. Сорокин планировал на февраль 1917 г., не состоялась¹⁰.

В представленной заметке легко увидеть искажения и недоговоренности автора. Во-первых, едва ли в апреле 1922 г. диспут мог состояться «при большом стечении профессуры и студенчества» (хотя книга «Система социологии» из-за отступлений политического характера, посвящения памяти друга-белогвардейца П. Зепалова, наконец, серии последовавших на нее неоднозначных, порой резко отрицательных рецензий¹¹ действительно носила провокативный характер). Обращает на себя внимание и состав совета — кроме оппонентов Н.И. Кареева и К.М. Тахтарева ни одно из указанных в журнале заседания лиц не было связано с социологией. В связи с этим можно поставить вопрос о правомерности Совета присуждать искомую степень по социологии. Несмотря на указание П.А. Сорокина в автобиографии на «тайное голосование профессоров факультета», на деле процедура неофициального публичного диспута не предполагала голосования. Из текста журнала «Экономист» следует, что «единогласное признание... работы Сорокина удовлетворительной» было признано не коллективом собравшихся в зале ученых,

а Историческим исследовательским институтом при Петроградском государственном университете — одним из первых по времени создания исторических научных центров Советской России.

Вопросы вызывает и мажорная тональность отзывов оппонентов, зафиксированная в «Экономисте» и воспоминаниях П.А. Сорокина. Тот факт, что два тома «Системы социологии» были написаны автором за «полтора года» и изданы «сразу же»¹², не мог не отразиться на качестве работы: ни одна из многочисленных дальнейших книг П.А. Сорокина не была издана столь плохо, неряшливо — скверная бумага, опечатки, торопливость изложения, разбухшие сноски, не принятое в научном обиходе цитирование без точного указания источника и его выходных данных. Разумеется, эти недостатки не могли не вызвать нареканий оппонентов. В НИОР РГБ удалось обнаружить заметки Н.И. Кареева, составленные им для диспута: в них отмечалось в качестве недостатков «размашистость изложения», «многочисленные публицистические отступы, «слишком механистический подход», «небрежности справочно-библиографического аппарата», слабая осведомленность диспутанта в литературе и небрежное отношение к предшествующей традиции. Довольно резкой критике ученый подверг бихевиористическую позицию П.А. Сорокина и его попытку отказаться от психологизма. Автор отмечал, что «Система социологии» — «серьезно задуманный, хорошо выполненный во многих частях, но испорченный текст». Только с этими оговорками отзыв Н.И. Кареева можно назвать безусловно положительным, хотя в его добром отношении к начинающему социологу не приходится сомневаться¹³.

Для чего же был нужен П.А. Сорокину, уже возведенному 31 января 1920 г. в должность профессора социологии, неофициальный публичный научный диспут? Среди причин — и принадлежность молодого социолога к «старой школе» обществоведов с ее традициями и правилами корпоративного поведения, и дискуссионность оценки научным сообществом работы «Система социологии»; и необходимость подтверждения научного статуса молодым профессором социологии, получившим звание «без защиты по совокупности работ»; и — как определяющая — планируемый отъезд П.А. Сорокина за границу. На последнее указывает переписка ученого. В письме к Н.Е. Шаповалу от 1 июля 1922 г. П.А. Сорокин писал: «За последние два-три месяца завязались небольшие отношения с американскими социологами... в связи с этим приглашением [на социологический конгресс в Вене] и приглашением читать лекции в Иллинойском университете в Америке начинаю ходатайство о выезде

за рубеж, но в успехе его не уверен, хотя денег я не прошу (и своих не имею, но надеюсь все же не умереть с голоду за рубежом, какую-нибудь работу — хотя бы физическую, вероятно, найду, чтобы иметь фунт хлеба и какой-либо угол) <...> осенью, если получу разрешение, уеду»¹⁴. В письме от 17 июля 1922 г. сообщается, что Народный комиссариат просвещения подтвердил командировку для П.А. Сорокина и его жены в Прагу¹⁵. В письме от 26 июля 1922 г. американскому социологу, профессору Висконсинского университета Эдварду Россу П.А. Сорокин, называя себя «проводником американской социологии в России», писал: «Если правительство России даст мне разрешение, то я намерен месяца через два-три прибыть в Америку и пробыть в ней год или два <...> я еду в Америку без субсидий государства, рассчитывая только на свой мозг и мускулы»¹⁶.

Разрешение государства П.А. Сорокину не потребовалось: громкий процесс по делу правых эсеров однозначно обрисовал перспективу его дальнейшего пребывания в Советской России. В ночь с 16 на 17 августа по всей России прошла волна арестов интеллигенции. 13 сентября 1922 г. П.А. Сорокин дал подписку «в десятидневный срок ликвидировать свои служебные и личные дела и выехать за свой счет за границу», обещая не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения органов советской власти под страхом смертной казни¹⁷. 23 сентября 1922 г. П.А. Сорокин выехал из Советской России поездом Москва—Рига. Его путь лежал в Чехословакию, где по приглашению президента Масарика он начал читать лекции в Карловом университете. В 1923 г. профессор П.А. Сорокин был приглашен американскими профессорами Хейсом и Россом в США читать лекции о русской революции. В Россию он больше не вернулся.

¹ Питирим Александрович Сорокин (1889–1968): биобиблиографический указатель / сост. Л.В. Давыдова. Сыктывкар, 2001. Также см.: Работы П.А. Сорокина и о нем, опубликованные за последние годы (2001–2009) / подгот. М.В. Ломоносова // Санкт-Петербургский социологический ежегодник. 2009. С. 280–282.

² *Голосенко И.А.* Социология П.А. Сорокина: русский период деятельности. Самара, 1992; *Медушевский А.Н.* Питирим Сорокин и становление социологии в России // Историческое значение НЭПа: сборник научных трудов. М., 1990. С. 167–192 и др.

³ *Готов М.Б.* Несогласованность фактов биографии российского периода жизни П.А. Сорокина // Санкт-Петербургский социологический ежегодник. 2009. С. 78–84; Конкретнее об этом периоде: *Андреев О.Е.* Революция и Гражданская война в России в воспоминаниях П.А. Сорокина // Клио. 2006. № 2 (33). С. 62–66.

⁴ *Сорокин П.А.* Система социологии. Пг., 1920. Т. 1–2.

⁵ Кареев Н.И. Книга о социальной аналитике: [Рец.] // Вестник литературы. 1920. № 7 (19). С. 7–9. Рец на кн.: Сорокин П.А. Система социологии...; Он же. О системе социологии П.А. Сорокина // Вестник литературы. 1921. № 1. С. 9; Алисов Л. [Рец.] // Вестник литературы. 1920. № 6 (18). С. 13. Рец. на: Сорокин П.А. Система социологии... (Т. 1); нейтральная рецензия: Лазерсон М. [Рец.] // Современные записки. 1921. № 8. С. 386–389. Рец. на: Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1.

⁶ Рожков Н. [Рец.] // Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 169–171. Рец. на: Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1; Невский В. Взаимодействие или монизм: [Рец.] // Красная новь. 1921. № 2. С. 335–340. Рец. на кн.: Тахтарев К.М. Наука об общественной жизни, ее явлениях, их соотношениях и закономерности. Пг., 1919; Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1; Рейснер М. [Рец.] // Печать и революция. 1921. Книга 2. С. 155–161. Рец. на: Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1–2; Боричевский И. Ортодоксальный марксизм и российско-американская резиновая социология // Книга и революция. 1922. № 4 (16). С. 18–22.

⁷ Он же. Долгий путь. Сыктывкар, 1991. С. 73–77.

⁸ Например, о диссертационной культуре историков в указанный период см.: Алеврас Н.Н., Гришина Н.В. Диссертации историков и законодательная практика // Российская история. 2014. № 2. С. 77–90 (о периоде 1920-х гг. — с. 88–90).

⁹ Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Ф. 193. Оп. 3. Д. 3. Л. 18.

¹⁰ Сорокин П.А. Долгий путь. С. 280.

¹¹ Рожков Н. [Рец.] // Дела и дни. 1920. Кн. 1. С. 169–171. Рец. на: Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1; Невский В. Взаимодействие или монизм: [Рец.] // Красная новь. 1921. № 2. С. 335–340. Рец. на кн.: Тахтарев К.М. Наука об общественной жизни, ее явлениях, их соотношениях и закономерности. Пг., 1919; Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1; Рейснер М. [Рец.] // Печать и революция. 1921. Книга 2. С. 155–161. Рец. на: Сорокин П.А. Система социологии... Т. 1–2; Боричевский И. Ортодоксальный марксизм и российско-американская резиновая социология // Книга и революция. 1922. № 4 (16). С. 18–22.

¹² И.А. Голосенко сообщает об истории издания «Системы социологии»: П.А. Сорокин получил совет от издателя «Колоса» Ф. Седенко-Витязева: «Сегодня мы живы, а завтра — нет. Лучше публиковать необходимую работу, даже если в ней есть некоторые дефекты и несовершенства. Готовьте “Систему социологии” в любом виде, я и опубликую сразу же». Через полтора года два тома были готовы». — Голосенко И.А. П.А. Сорокин: жизнь и судьба. Сыктывкар, 1991. С. 137.

¹³ Текст развернутой рецензии Н.И. Кареева опубликован: «Два новых научных труда по социологии...»: отзыв Н.И. Кареева на работы П.А. Сорокина и К.М. Тахтарева / подгот. Е.А. Долгова // Социологический журнал. 2014. № 4; 2015. № 1. Подробнее о взаимоотношениях П.А. Сорокина и Н.И. Кареева см.: Золотарев В.П. Н.И. Кареев и П.А. Сорокин // Наследие. 2013. № 3. С. 78–88.

¹⁴ ЦГАВО Украины. Ф. 3563 (Н.Е. Шаповал). Оп. 1. Д. 200. Цит. по: Дойков Ю. Питирим Сорокин. Человек вне сезона. Биография. Т. 1. 1889–1922. Архангельск, 2008. С. 305–306.

¹⁵ Цит. по: Дойков Ю. Указ. соч. С. 306.

¹⁶ The State Historical Society of Wisconsin. The Edward A. Ross papers. Sorokin to Ross. 1922. July, 26. Цит. по: *Дойков Ю.* Указ. соч. С. 318–319.

¹⁷ ЦАФСБР. Д. 47804. Л. 1–3. Дело П.А. Сорокина было опубликовано: П.А. Сорокин. Документальные штрихи к судьбе и творческой деятельности / [публикация дела подготовлена А.И. Зиминым] // СоцИс. 1991. № 10. С. 122–124.

ПИТИРИМ СОРОКИН О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПОДХОДЕ К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ: ОТ КРИЗИСА К АЛЬТРУИЗМУ*

Долгов Александр Юрьевич

Институт научной информации
по общественным наукам (ИНИОН) РАН,
г. Москва

***Аннотация:** В статье анализируется подход П.А. Сорокина к изучению исторического развития и социальных кризисов. Концепция социокультурной динамики предполагает, что любые крупные общественные изменения предопределяются системой преобладающих ценностей — идеациональных, чувственных или интегральных. Поскольку современность для П.А. Сорокина была связана с кризисом чувственной социокультурной системы, он предложил масштабную программу преобразований, основанную на альтруизации личности, общества и культуры. В статье, таким образом, реконструируется взаимосвязь между теорией социокультурной динамики и теорией созидательного альтруизма П.А. Сорокина, отмечается мультидисциплинарный характер этой проблемы.*

***Ключевые слова:** П.А. Сорокин, социокультурная динамика, ценности, кризис, альтруизм.*

Творчество русско-американского социолога П.А. Сорокина (1889–1968) охватывает обширный спектр проблем, концентрируясь на комплексном постижении культуры, ценностей, методов познания и социокультурного преобразования. Кроме того, мыслитель стремился найти способы воздействия научных идей на общество для изменения окружающего мира. Неслучайно западные исследователи характеризуют научную деятельность Сорокина после 40-х гг. XX в. как «пророческую социологию»¹, а также как «публичную социологию»². В данной статье будут рассмотрены междисциплинарные аспекты творчества социолога в американский период, связанные с закономерностями исторического развития, социокультурной динамикой и необходимостью изучения альтруизма.

* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-06-00381а).

По Сорокину универсальным компонентом воспринимаемой человеком реальности, то есть тем, что структурирует и упорядочивает многообразие окружающих феноменов, является культура. В американский период творчества ученого именно культура выступает главным объектом анализа, в рамках которого существуют все остальные предметы и явления. Анализ культуры Сорокиным в работе «Социальная и культурная динамика»³ построен на оригинальных методологических принципах с использованием элементов системного анализа, логических операций, анализа смыслов, феноменологии, психологической реконструкции и т. д.

В самом широком смысле культура определяется Сорокиным как «некая совокупность, которая создана или модифицирована в результате сознательной или бессознательной деятельности двух или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или влияющих друг на друга своим поведением»⁴. Следовательно, культура может быть осмыслена только «социально», поскольку она проецируется через взаимодействие между людьми. И наоборот, любое социальное действие является «культурным», поскольку оно всегда взаимосвязано с культурными феноменами.

В основе интеграции культуры лежат разум, ценности и смысл. Это своеобразная внутренняя сторона любой логически интегрированной культуры — «ментальности культуры» или «культурной ментальности»⁵, как ее называет Сорокин. На основе этих компонентов создается внешняя сторона культуры — органический и неорганический миры процессов, событий, предметов. Таким образом, любой предмет нашего мира есть выражение и производная от «ментальности культуры», существует только благодаря смыслу, который в него вкладывает человек.

Первый способ понимания глубинной сути культурного явления по Сорокину заключается в реконструкции и воспроизведении «подлинного смысла», который в него заложил его создатель (психологическая интерпретация). Второй способ понимания — социально-феноменологический, состоящий из двух форм — причинно-функциональной и логической. Причинно-функциональные связи существуют между всеми составными частями ценностей культуры; задача исследователя — обнаружить и показать эти связи. Логическое понимание основано на логическом смысле и применении логических приемов (дедукция, индукция, большие посылки и т. д.) между объектами культуры. Оно может идти вразрез психологическому смыслу, поэтому оно является отдельным теоретическим приемом изучения культуры.

Основываясь на данной методологии, ученый пытается упорядочить «хаос культурных миров» и выделяет различные типы культуры, «каждый из которых обладает собственной ментальностью, собственной системой истины и знания, имеет собственную философию и мировоззрение; особый тип религии и образцы “святости”; свое собственное представление о правильном и неправильном; особые формы искусства и литературы, нравы, законы, правила поведения; собственную экономическую и политическую организацию; наконец, специфический тип человеческой личности с особым складом ума и манерами поведения»⁶. Применяя качественный и количественный анализ, Сорокин регистрирует существование двух основных типов культуры — идеационального и чувственного; и одного промежуточного — идеалистического (интегрального или идеального), образованного благодаря сбалансированному синтезу первых двух. Эти формы культуры являются обобщенными логико-смысловыми моделями, которые Сорокин выделил в рамках своего исследования.

Различие культур представлено Сорокиным по следующим основаниям: 1) природа реальности; 2) природа целей и потребностей, которые должны быть удовлетворены; 3) степень удовлетворения потребностей и целей; 4) способы удовлетворения потребностей. Так, идеациональная культура обладает следующими характеристиками по данным основаниям: «1) реальность понимается как не воспринимаемое чувственно, нематериальное, непреходящее Бытие; 2) цели и потребности в основном духовные; 3) степень их удовлетворения — максимальная и на высочайшем уровне; 4) способом их удовлетворения или реализации является добровольная минимизация большинства физических потребностей, причем в максимальной степени, вплоть до полного отказа от них»⁷.

Чувственная культура противоположна идеациональной. Ее характеристики следующие: «1) признается только та реальность, которая дана органами чувств; 2) цели и потребности — физические; 3) максимально должны быть удовлетворены физические потребности; 4) способ удовлетворения потребностей «заключается не в преобразовании или эксплуатации духовного мира индивидов, а в преобразовании или эксплуатации внешнего мира»⁸.

Все остальные культуры, по мнению Сорокина, характеризуются как «эклектичные, внутренне противоречивые и логически слабо интегрированные»⁹. Исключением является интегральная культура, которая гармонично синтезирует компоненты идеациональной и чувственной куль-

тур. Для данного типа культуры реальность многогранна, духовные и материальные потребности и цели здесь не противоречат друг другу, способы их реализации состоят в самосовершенствовании и преобразовании внешнего мира.

Хронологически преобладание той или иной культуры в человеческой истории по Сорокину выглядит следующим образом: до конца VI в. до н. э. — идеациональная; в V—IV вв. до н. э. — интегральная; с III в. до н. э. до конца IV в. н. э. — чувственная; с V по XIII в. н. э. — идеациональная; в XIII—XIV вв. н. э. — интегральная; с XVI в. по настоящее время — чувственная. Таким образом, человеческая история развивается по законам социокультурной флуктуации между определенными типами культур. При этом флуктуации — это не просто повторение абсолютно одинаковых периодов, это смесь уникального и повторяющегося. «В каком-то смысле социокультурная жизнь и история никогда не повторяют себя, и все же в другом смысле они до некоторой степени повторяются всегда»¹⁰, — говорит Сорокин.

В рамках устойчивых типов культур формируется своя система религии, этики, права, экономики, искусства, политических институтов и т. д. Наука, истина и знание также являются частью социокультурной реальности и их развитие также подвержено динамике в зависимости от изменения культурной системы. В идеациональной системе преобладает истина веры (основана на знании, приобретаемом из сверх- или внеэмпирического источника); в чувственной — чувственная истина (основана на знании, полученном от органов чувств). Существует также истина разума, которую Сорокин фиксирует в системах идеационального (или религиозного) рационализма и идеалистического рационализма. Их объединяет то, что истина разума, логические и математические выводы рассматриваются здесь как независимый источник знания и считаются более надежным, чем истина чувств¹¹. В интегральной системе все методы познания сосуществуют, дополняют и взаимно контролируют друг друга, поэтому для Сорокина она является предпочтительной. Социолог связывал с интегрализмом будущую созидательную роль науки.

Другим немаловажным предметом исследований Сорокина в контексте его интегральной методологии становится кризис. Уже в «Динамике» Сорокин предсказал наступление новых конфликтов и усиление деструктивных социальных тенденций, связанных, по его мнению, с кризисом чувственной культуры, которая исчерпала свой потенциал развития. Начавшаяся Вторая мировая война стала для него эмпирическим подтверждением представленных выводов, и актуализировала

для него проблему кризиса современной западной социокультурной системы.

По мнению Сорокина, закономерным процессом является постепенная атомизация ценностей существующей культуры, когда старая система социальных отношений перестает выполнять скрепляющую функцию. Описывая социальные последствия этого процесса, Сорокин укажет на то, что взамен «договорному обществу свободных людей» придет грубая сила, декларация прав человека станет ширмой, прикрывающей насилие и распушенность господствующего меньшинства, семья приобретет формы в случайного сожительства на смену творчеству, созиданию, религии придут псевдомышление и социальная анархия и т. д. В целом кризис затронет все стороны человеческой жизни¹². Усугубление всех социальных проблем заставит людей искать новые формы взаимодействия, построенные на новых принципах. В таких условиях, по мнению социолога, «люди снова обратятся к разуму, к вечным, непреходящим, универсальным и абсолютным ценностям»¹³. Начало трансформации чувственной системы Сорокин связывал с новыми лидерами — носителями интегральных ценностей¹⁴.

Таким образом, с точки зрения Сорокина, история человечества представляет собой поочередную смену социокультурных систем, предопределяющих формирование специфических наборов ценностей, институтов, идеологий и т. п. Рано или поздно существующая система ценностей разрушается, что становится причиной ценностной дезинтеграции и глубокого социокультурного кризиса. Тоталитарные режимы, войны, революции и другие социальные бедствия, считает социолог, также являются производными кризиса современной (чувственной) системы ценностей. Ее вырождение формирует в обществе корпус мощных эгоистических установок, которые в свою очередь препятствуют усилению социальной солидарности, создавая социальную разобщенность, социальные конфликты и другие социальные патологии.

Каков же путь выхода из кризиса? Его начало связано с преломлением эгоистических ценностей в сторону укрепления социальной солидарности и взаимопомощи. В рамках решения данной проблемы Сорокин разрабатывает программу альтруизации личности, общества и культуры, которая должна способствовать преодолению кризиса и формированию интегральных ценностей.

Как отмечает С. Пост, Сорокин пытался избежать сдерживающие узкие и технократические рамки социологии, которая, как ему казалось, находилась в плену малозначительных данных и не брала в расчет боль-

шую систематическую культурно-историческую базу, которая могла бы сделать эти данные более интересными¹⁵. По этой причине некоторые социологи рассматривали Сорокина скорее как философа истории, нежели методолога (хотя для него это было комплиментом). С. Пост полагает, что Сорокина лучше охарактеризовать как творческого и идеалистического социального мыслителя, который не мог довольствоваться рамками технической рациональности¹⁶. Приведенное замечание связано с тем, что проект альтруизации, предложенный Сорокиным, основан не только на опыте науки, но также на религиозном и творческом опыте великих исторических деятелей. Во многом по этой причине ученые проявили слабый интерес к сорокинскому изучению альтруизма. Тем не менее Сорокин не только концептуализировал проблему просоциального взаимодействия, но и предложил конкретные методики альтруистической реконструкции, включающей опору на рефлексы, систему наград и наказаний, общественное мнение, искусство, научные доказательства, героические примеры и т. п.

Обращаясь к междисциплинарным достоинствам теории альтруизма П.А. Сорокина, можно отметить, что предложенная им модель охватывает значительное многообразие проявлений неэгоистических действий. Социолог указывает на возможность существования различных видов альтруизма (любви) — религиозного, этического, онтологического, физического, биологического, психологического и социального¹⁷. Например, в контексте противостояния биологического/социального объяснения просоциального поведения модель П.А. Сорокина является интегральной. Ученый не отрицает биологический альтруизм, считая его одним из важных компонентов феномена любви. Но для него биологический альтруизм лишь первая ступень дальнейшего морального совершенствования. В то же время Сорокин является последователем идей Дюркгейма, который наделял мораль и религию как социальные феномены функцией сдерживания деструктивных биологических влечений индивида. Таким образом, альтруизм по Сорокину может принимать многомерное значение и не редуцируется в каком-либо одном аспекте.

Еще один немаловажный момент состоит в том, что Питирим Сорокин стал одним из первых социальных исследователей, предложивших конкретные прикладные способы альтруизации личности и социальных групп. Он также указал на ряд закономерных условий, которые способствуют проявлению альтруистического поведения (например, влияние семьи, социальных институтов, личностных кризисов). Важность данного тезиса состоит в том, что преобладающие социобиологические трактовки

альтруизма рассматривают его как изначально данный феномен, как механизм сохранения вида, выработанный посредством естественного отбора, в то время как для Сорокина данный тезис верен лишь отчасти. Просоциальные феномены, по мнению социолога, подлежат последовательному социальному конструированию и искусственному подкреплению. Следовательно, изучение альтруизма имеет широкое прикладное значение.

Что касается социальной солидарности, то, рассмотрев различные обоснования и эмпирические закономерности, Сорокин приходит к выводу о том, что теория сходства или различия в ее укреплении сплоченности или в усилении антагонизма является спорной и недоказанной. Он полагает, что в разных ценностных системах компоненты сходств и различий будут иметь разное значение¹⁸. Только ценностная «система координат» предопределяет то, какую роль будут играть сходства или различия. Создание системы ценностей с общими базовыми категориями позволяет укрепить солидарность любых групп, даже антагонистических. Социолог считает, что социальная солидарность может быть сформирована «из множества разных расовых, этнических, политических и религиозных групп, когда у них наряду с их специфическими ценностями и нормами есть общий фонд основных ценностей и согласованных норм»¹⁹. Таким образом, по мнению ученого, формирование глобального общества возможно при масштабном преобразовании культуры. В условиях глобализации, данный вывод актуализирует необходимость поисков универсальных неограниченных основ солидарности и альтруизма.

Альтруизм, таким образом, обладает многообещающим мультидисциплинарным потенциалом. В теоретическом отношении он связан с научными моделями, создаваемыми в рамках биологии, социологии, культурологии, экономики и др. дисциплин; в прикладном — с применением методик альтруизации в образовании и воспитании, СМИ, искусстве. Вдохновляясь сорокинскими поисками, группа ученых, активно выступающая за внедрение «альтруистического компонента» в современные научные исследования, образовательные программы и государственную политику, выделяет следующие основные темы, касающиеся изучения альтруизма: альтруистическая личность (предрасположенность тех или иных лиц к альтруистическому поведению и их мотивация); социобиология и эволюционная теория (биологический детерминизм альтруизма); методы увеличения альтруизма; добровольчество (деятельность просоциального характера, направленная на помощь другим); социальные институты (влияние семьи, религии и др. институтов на альтруизм в обществе);

культура (влияние культурных различий на уровень альтруизма в обществе и влияние альтруизма на степень солидарности в культуре); гендер (предрасположенность мужчин и женщин к альтруизму); исследования организаций (организационно-правовой компонент альтруистического акта); глобальный альтруизм (распространение альтруизма в глобальном обществе, учитывая глобальный характер современной экономики, культуры, информационных и коммуникационных процессов)²⁰. Современные междисциплинарные и полидисциплинарные исследования могут сфокусироваться на феномене просоциального поведения, поскольку он затрагивает широкий спектр актуальных теоретических и прикладных задач общественного проектирования и развития.

¹ *Johnston B.V.* Pitirim A. Sorokin: An Intellectual Biography. Lawrence: University Press of Kansas, 1995.

² *Jeffries V.* The Scientific System of Public Sociology: The Exemplar of Pitirim A. Sorokin's Social Thought // Handbook of Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, 2009. P. 107–120.

³ *Сорокин П.А.* Социальная и культурная динамика. М., 2006.

⁴ Там же. С. 33.

⁵ Там же. С. 56.

⁶ Там же. С. 61.

⁷ Там же. С. 64–65.

⁸ Там же. С. 66.

⁹ Там же. С. 67.

¹⁰ Там же. С. 105.

¹¹ Там же. С. 297.

¹² Там же. С. 881–883.

¹³ Там же. С. 883.

¹⁴ Там же. С. 884.

¹⁵ *Post S.* Pitirim A. Sorokin as Pioneer in the Scientific Study of Unlimited Love: Introduction // Sorokin P. A. The Ways and Power of Love: Types, Factors, and Techniques of Moral Transformation. — Philadelphia (PA): Templeton Foundation Press, 2002. P. XVI.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ *Sorokin P.A.* The Ways and Power of Love: Types, Factors, and Techniques of Moral Transformation. — Philadelphia (PA): Templeton Foundation Press, 2002.

¹⁸ См.: *Сорокин П.А.* Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей социологии: Глава 7: Роли сходства и несходства в социальной солидарности и антагонизме // Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Д.В. Ефременко, П.П. Кротов. М., 2012. С. 22–46.

¹⁹ Там же. С. 46.

²⁰ *Jeffries V., Johnston B.V., Nichols L.T., Oliner S.P., Tiryakian E., Weinstein J.* Altruism and Social Solidarity: Envisioning a Field of Specialization // American Sociologist. 2006. Vol. 37. No 3. P. 71–75.

«НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ» АНАТОЛИЯ МАРИЕНГОФА

Сидорчук Илья Викторович

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет,
г. Санкт-Петербург

***Аннотация:** Целью настоящей статьи является рассмотрение исторических произведений известного советского писателя и поэта Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962). Обращение к истории мастеров слова — достаточно частое, но при этом малоизученное явление эпохи 1920–50-х гг. Пример Мариенгофа позволяет определить его причины и особенности, узнать, что дала писателю активная игра на историческом поле. Также прослеживается аналогия с современным обращением непрофессиональных ученых к научно-популярной истории.*

***Ключевые слова:** А.Б. Мариенгоф, «Ермак», «Морозов», Великая Отечественная война в литературе, советские писатели и власть, Сталин и писатели.*

История жизни и творчества Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962 гг.) не так часто привлекает внимание исследователей. В первую очередь их внимание обращено на Мариенгофа-имажиниста, друга Сергея Есенина и автора «Романа без вранья», а также изданного в России только в конце 1980-х романа «Циники». Также частым является обращение к воспоминаниям Мариенгофа «Бессмертная трилогия», являющимся важным источником для историков советской культуры 1920–1930-х гг. Намного менее изученными остаются его произведения, написанные после переломного 1929 г., заставившего Мариенгофа, как и многих его коллег, идти на существенные компромиссы и уступки ради того, чтобы оставаться в большой литературе. Значительная их часть посвящена истории России, что делает их интересными не только для литературоведов, но и историков.

На наш взгляд, обращение к популярной истории в эпоху конца 1920 — 1930-х гг. представителей различных областей знания или сфер искусства является весьма интересным феноменом. С одной стороны, существовал определенный социальный заказ со стороны государства, но, с другой — он достаточно быстро менялся. Смена исторических ге-

роев и изменения в оценках тех или иных событий требовали от всех, кто играл на историческом поле, быстрой адаптации под новые каноны. Зачастую к истории обращались те, кто в силу условий, в которые их ставила власть, были вынуждены искать другие способы самореализации, поддержания собственной известности и материального благополучия.

К таковым можно отнести и Анатолия Мариенгофа. На рубеже 1920–30-х гг. ему, как и многим литературным смельчакам и революционерам дали понять, что издавать то, что он хочет, больше никто не позволит. Именно с этого момента начинается его серьезное обращение к истории и прежде всего к истории России. На наш взгляд, в данном случае речь идет об исключительно вынужденном обращении, т. к. никаких предпосылок к этому до этого не было. Во всяком случае, нет никаких оснований полагать, что это был внезапный и исключительно искренний всплеск внимания к истории. Таким образом, точка зрения на это, как на итог творческих поисков, встречающаяся в большинстве работ, посвященных анализу его творчества¹, кажется нам недостаточно корректной.

Первым опытом обращения к исторической теме стала пьеса «Заговор дураков», написанная задолго до начала травли писателя, в 1921 г. В ней описываются события времен правления Анны Иоанновны. Уже видны все основные особенности подхода Мариенгофа к историческому прошлому, для которого характерны резкая язвительная критика и злое высмеивание царизма. Особое внимание Мариенгоф уделил образу Третьяковского, с которым имажинистов сближала тяга к исследованию русского языка и лингвистическим экспериментам. Не случайно известный языковед Н.Я. Марр всерьез интересовался опытами молодых поэтов-хулиганов Есенина и Мариенгофа². Одновременно в пьесе утверждалась идея о том, что настоящий поэт должен быть вне политики. Впоследствии она не могла быть востребована и больше в исторических произведениях поэта не встречалась.

Следующее обращение к истории было непосредственным следствием изменений социального статуса Мариенгофа. В 1929 г. его роман «Циники», опубликованный в Берлине, был резко осужден официальной критикой. Опала Мариенгофа проходила параллельно с травлей его коллег — Е. Замятина и Б. Пильняка. Последовали поиск помощи у друга имажинистов, но уже стоящего на краю пропасти Я. Блюмкина, попытка отделаться формальными и очевидно неискренними извинениями, дальнейшая травля и, как итог, прилюдное унижительное покаяние³.

С каждым годом положение писателя становилось все более тяжелым. К середине 1930-х гг. его практически перестают печатать, а пьесы

снимаются с постановок⁴. Писать о современниках в своем стиле он уже не мог: нападки и злые сатирические пассажи были просто опасны. В 1936 г. журнал «Литературный современник» опубликовал несколько глав нового романа писателя «Екатерина», посвященного Екатерине II. Обращение к этой эпохе позволило Мариенгофу вернуться к своей любимой издевательской сатире, что понравилось как ему самому, так и цензорам. У Мариенгофа получилось произведение, где фактически нет положительных героев: Елизавета показана красивой, но глупой, образ Петра III практически идентичен тому, каким его создавала Екатерина. Сама немка на русском престоле показана хитрой, жестокой, расчетливой, неискренней и, разумеется, распутной. Таким образом, Мариенгоф сознательно выбрал тему, позволявшую использовать однозначные оценки исторических героев и не попасть вновь под огонь критики.

Положительный опыт убедил писателя в правильности подобного пути. Однако выбрать историческую эпоху было не так уж и просто. В частности, известно, что в 1930-х гг. Мариенгоф интересовался историей русского студенчества 1840-х гг., но в произведениях эта тема раскрытия не получила⁵. В период с 1938 по 1940 г. была написана пьеса «Шут Балакирев», главным героем которой стал остроумный шут Петра Великого, разоблачающий заговор князя Карякина против царя. Весьма показательно, что в своем стремлении занять трон, заговорщики обращаются за помощью к Англии⁶. В условиях конца 1930-х гг. тема разоблачения и наказания изменников была очень актуальна, что обеспечило успех пьесе, шедшей в БДТ им. М. Горького и театре Ленсовета⁷. В 1940 г. Мариенгоф также написал пьесу «Тарас Бульба» по повести Н.В. Гоголя⁸, в которой доминирующими также являются темы верности стране, предательства и борьбы с врагами отечества.

С началом войны Мариенгоф оказался очень востребованным писателем. Разумеется, работы этого периода были в основном посвящены войне (пьесы «Наши девушки» 1943 г., «Ленинградские подруги» 1943 г., «Егоровна» 1945 г., цикл поэм «Поэмы войны» 1942 г., цикл «Пять баллад» 1942 г.)⁹. Параллельно Мариенгоф обращается к героическим событиям и деятелям прошлого. Так, одна из поэм цикла «Поэмы войны», «Денис Давыдов», посвящена герою Отечественной войны 1812 г. В другом произведении, созданном в это время, пьесе «Совершенная виктория» (1943 г.), автор обращается к теме Северной войны 1700–1721 гг. В обоих произведениях Мариенгоф явно проводит параллели с современной ему войной — героический подвиг народа, партизанское движение, талантливые полководцы, тема личной ответственности за свою

страну, борьба России за свои земли против желавших властвовать над миром правителей. Не обошлось и без темы предательства (Мазепа, царевич Алексей). Показательно и то, что Мариенгоф обращается к тем же темам, которые привлекали А.С. Пушкина, и дает схожие оценки историческим персонажам.

В 1945 г. Мариенгоф пишет киноповесть «Ермак», которая так и осталась неопубликованной и неэкранизированной¹⁰. Обращение к личности простого русского казака, народного героя, является очередным подтверждением его умения чувствовать политическую конъюнктуру и готовности отвечать на социальный заказ со стороны государства. Как известно, именно после войны власть взяла курс на возрождение патриотизма, русской национальной гордости. Ермак у Мариенгофа — сребролюбивый разбойник, вдруг к концу пьесы превращающийся в патриота, защитника угнетенного народа, не позволяющего казакам грабить Искер и сурово наказывающий предателей. Весьма показателен и образ Ивана Грозного — жестокого, но справедливого властителя. И в этом случае весьма сложно удержаться от аналогий со Сталиным. Очень интересной является сцена приема атамана Кольцо у Ивана Грозного. Казак явился с дарами и просьбой простить их «прежние не тихие вины». Вопреки ожиданиям «царь ласков»: «Встаньте, встаньте... соколы мои. Не таким крыластым валяться в пыли и в прахе»¹¹. Осмелимся провести интересную параллель между казаками — соколами Ивана Грозного и советскими летчиками — «сталинскими соколами». В машинописной копии сценария, хранящейся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки, также находится отзыв профессионального историка, «академика», к большому сожалению не подписанный. Если авторство отзыва действительно принадлежит академику, то рискнем предположить, что им вполне мог являться Б.Д. Греков — единственный в то время академик-специалист по истории XVI в. Выбор темы он признает весьма удачным, но одновременно делает ряд существенных замечаний. В частности, указывает на необходимость дать мотивировку всем решениям Ермака, сделать героя-советника или развить образ атамана Кольцо, устранить все неожиданности в поведении Ермака: «С самого начала повести Ермак должен выступать как яркая фигура защитника угнетенного народа против насильников, откуда у него вырастает более широкая идея защитника родины от внешних насильников, из которых наиболее угрожающим на восточных ее окраинах был сибирский хан Кучум»¹².

К 110-летней годовщине гибели М.Ю. Лермонтова, в 1951 г., Мариенгоф создает пьесу «Рождение поэта». Ей было суждено стать послед-

ней пьесой, опубликованной при жизни писателя. Ее судьба сложилась не очень удачно, что, возможно, могло быть связано с вниманием к теме противостояния поэта и власти. Разумеется, Мариенгоф стремился избежать каких-либо параллелей, но в условиях послевоенных репрессий в отношении ряда литераторов, история Лермонтова, преследуемого и доведенного до гибели царизмом, могла показаться несвоевременной. Хотя и здесь слышны слова, вписывающиеся в тенденции времени, в частности мужицкое осуждение бессовестного «изверга», «мусью» Дантеса¹³, убившего Пушкина. Народные поэты Пушкин и Лермонтов противопоставляются раболепствующей перед Европой столичной аристократической верхушке. В отличие от «Заговора дураков», в «Рождении поэта» приводится образ поэта — борца с режимом, что явно контрастирует с идеей аполитичности искусства, утверждаемой Мариенгофом в начале 1920-х гг.

Нельзя также не остановиться еще на одной пьесе Мариенгофа, «Морозов», являющейся, пожалуй, самой интересной для историков. Судя по всему, написана она была в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Исторической ее можно назвать лишь отчасти, поскольку действие происходит в период только недавно окончившейся Великой Отечественной войны. Интересна же она тем, что ее главными героями оказываются профессиональные историки, каждый из которых выбирает в условиях начавшейся войны свой путь. Пьеса начинается с патриотической речи ленинградца, академика Владимира Андреевича Мамонтова, профессора, члена-корреспондента АН, которую он читает вскоре после начала войны. В ней он сравнивает современность с периодом Смутного времени: «Позвольте мне, друзья мои, и сегодня, по старой профессиональной привычке заядлого историка, оглянуться на прошлое: нет, не впервые наша страна, наша земля, наша родина голосом матери созывает своих сыновей в ратные ополчения. Три с лишним века тому назад смольняне и рязанцы, нижегородцы и ярославцы, муромцы и суздальцы, вологодцы, костромичи, пермичи и граждане Великого Новгорода, не желая идти в вечную скорбь и неутешный плач, в погибель и быдло к латинскому рыцарству, поднялись “всеми головами своими и душами”. Рыцарство тогда сидело в Московском Кремле и заставляло московских извозчиков втаскивать пушки на кремлевские башни, чтобы оттуда стрелять в московский народ. Немецкие отряды, служа рыцарству, рубили обезоруженных жителей в Китай-городе, вытапывали их из Замоскворечья и выкуривали огнем из Белого Города. Москва пылала, подожженная латинцами и немцами. <...>

Друзья мои, ленинградцы, сыны великого века Ленина и Сталина, будем ли мы недостойны наших предков? <...> Новое “рыцарство” шагает по нашим дорогам. Гунны — имя его, этого рыцарства. К стенам нашего прекрасного города, города нашей славы, могущества и величия, подходят они, эти современные кровавые, жестокосердные, туполобые гунны»¹⁴.

Его речь транслируется по радио, и среди прочих ее слушают мать Мамонтова, бывшая народоволка Варвара Петровна, и ее внучка, младшая дочь Мамонтова, Ниночка, которой она диктует свои воспоминания о «Русской Бастилии» — «Петропавловской крепости». Слушая про известных ее узников — Остермана, царевича Алексея, Миниха, Тараканову и др. — Ниночка восклицает: «Ой, бабушка, какая ты все-таки счастливая, в такой тюрьме сидела!»¹⁵

Тем временем в конце своей речи Мамонтов обращается к известной речи Сталина: «Вождь сказал: “Друзья мои!” Первый человек мира назвал вас, меня своим другом. И сегодняшний день стал самым счастливым, самым большим днем моей жизни»¹⁶.

Несмотря на свой возраст, Мамонтов рвется на фронт. Его отговаривает старый друг, «ответственный партийный работник» Иван Тимофеевич Башкиров. Все сотрудники института, в котором он работает, записались добровольцами, включая 32-летнего «приват-доцента» Сергея Сергеевича Николаева, явно испытывающего симпатии к старшей дочери Мамонтова, Анне. Исключение составляет лишь 35-летний профессор Борис Львович Длугач, сославшийся на ишиас. Многие, включая Мамонтова, его за это осуждают.

Институт эвакуируют в Киров. Все это время Мамонтов живет на даче недалеко от границы с Финляндией. В итоге именно он, воспользовавшись неразберихой, перебегает на сторону врага. В следующем действии он — «министр» «освобожденной от большевизма России»¹⁷ и автор немецких листовок, разбрасываемых с самолетов на Ленинград. После провала немецкого наступления он путешествует по европейским странам. Мариенгоф устраивает ему встречу в Париже со своим однокурсником-эмигрантом, Глебом Алексеевичем Инокентьевым, который, вопреки ожиданиям Мамонтова, осуждает его за предательство. Он не может понять, как «мыслящий русский человек может перебежать к немцам, чтобы по мере своих сил помогать им завоевывать Россию»¹⁸.

Как и в остальных пьесах Мариенгофа, за предательство следует неизбежная суровая кара. Мамонтов тайком приезжает к себе на дачу, чтобы упаковать ценные вещи. Здесь его арестовывает сражающийся в партизанском отряде Николаев. На допросе Мамонтов безуспешно прики-

дывается сумасшедшим. Он также хочет узнать, какова судьба его родных. Ему сообщают, что Нина отравилась стрихнином после того, как узнала о его предательстве, а Варвара Петровна умерла. В комнату входит Анна, но так, что Мамонтов ее не видит. Для нее тема предательства особенно близка, так как она пишет диссертацию о Мазепе («... надо знать своих изменников. Вот Петр Великий всенародно предал Мазепу анафеме. Портрет Мазепы стоял в соборе и священнослужитель прободал его грязное сердце копьем»¹⁹). Башкиров спрашивает ее, хочет ли она видеть отца, та говорит, что нет. Башкиров зовет партизана и приказывает расстрелять Мамонтова. Его уводят. Занавес.

Предательство Мамонтова резко контрастирует с единством всех остальных героев пьесы в борьбе с захватчиками. Даже склонный к иронии и цинизму Длугач, герой, на наш взгляд, наиболее близкий самому Мариенгофу, в итоге тоже оказывается героем. Случайно попав в центр боя, он убил несколько немцев и получил ранение.

Рассмотрение исторических произведений Мариенгофа позволяет не столько проследить изменения в его художественном языке, сколько его адаптацию под те условия, в которых могли творить художники слова в 1920–1950-х гг. Первые обращения к прошлому страны («Заговор дураков») были, очевидно, следствием личных интересов к истории реформаторов языка, к каковым себя причисляли и имажинисты. Впоследствии обращение к истории стало для него необходимостью, способом продолжать печататься и не повторить судьбу Е. Замятина или Б. Пильняка. И если роман «Екатерина», написанный с присущей для него язвительностью и даже злостью, лишь помог ему вернуться в список печатающихся писателей, то последующие произведения, более сдержанные и обязательно своевременные, способствовали его возвращению в список наиболее востребованных и читаемых мастеров слова.

Случай Мариенгофа не был чем-то уникальным. Достаточно вспомнить активно обращавшихся к истории А.Н. Толстого, Ю.Н. Тынянова или Л.С. Липавского. Таким образом, эту ситуацию обращения непрофессиональных историков к научно-популярной истории, облакаемую в форму художественного произведения, книги для детей и т. п., можно охарактеризовать как некую «научно-популярную междисциплинарность». Характерна она и для современности. Можно привести массу примеров того, как в наши дни писатели, режиссеры, журналисты или пиарщики смело обращаются к истории. Упомянем знаменитые «Мифы о России» В.М. Мединского, движение «Суть Времени» С.Е. Кургина, фильмы и книги Л.М. Млечина и «Историю Российского государства»

Б. Акунина. Это позволяет им не только существенно увеличить читательскую аудиторию, но и повысить свой политический рейтинг и статус. Игра на историческом поле до сих пор остается актуальной, что, с одной стороны, показывает востребованность истории, а с другой — превращает ее из науки в публицистику, что ставит перед профессиональным историческим сообществом серьезные вызовы.

¹ *Аверин В.* «Циническая» проза Мариенгофа // Мариенгоф А. Это вам, потомки! Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина. СПб., 1994. С. 5–18; *Сухов В.* Очерки о жизни и творчестве Анатолия Мариенгофа. Пенза, 2007; *Тернова Т.А.* От имажинизма к советской литературе: тема русскости в произведениях А. Мариенгофа периода Великой Отечественной войны // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2011. № 2 (24). С. 229–234; *Тернова Т.А.* Цикл А. Мариенгофа «Поэмы войны» в контексте литературы 1941–1945 гг. // Вестник Тамбовского государственного университета. 2011. Вып. 8 (100). С. 193–197; *Сухов В.А.* Эволюция образа Москвы в творчестве А.Б. Мариенгофа // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. 2012. № 27. С. 402–406.

² *Сидорчук И.В.* Две судьбы утопии: лингвистические теории Н.Я. Марра и Л.С. Липавского в контексте государственной культурной политики 1920–1930-х гг. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия «Гуманитарные и общественные науки». 2011. Вып. 2. С. 147 (144–149).

³ *Хуттунен Т.* Имажинист Мариенгоф: Денди. Монтаж. Циники. М., 2007. С. 105–108.

⁴ *Аверин В.* Указ соч. С. 14.

⁵ ОР РНБ Ф. 465. Д. 41 Мариенгоф Анатолий Борисович. Запрос в консультационно-библиографический сектор ГПБ об имеющейся в библиотеке литературе о студенчестве 1840-х гг. 1 ноября 19 [30-е]. 1 л.

⁶ *Мариенгоф А.Б.* Рождение поэта. Шут Балакирев. М., 1959. С. 156.

⁷ *Сухов В.* Очерки о жизни... С. 155.

⁸ *Мариенгоф А.Б.* Тарас Бульба. М.; Л., 1940.

⁹ Подробнее см.: *Тернова Т.А.* Цикл А. Мариенгофа «Поэмы войны»... С. 193–197.

¹⁰ *Мариенгоф А.Б.* Ермак. Киноповесть // ОР РНБ Ф. 465. Д. 16. 86 л.

¹¹ Там же. Л. 71.

¹² Там же. Л. 85.

¹³ Оно звучит в самом начале пьесы из уст крепостного слуги Лермонтова Николая (*Мариенгоф А.Б.* Рождение поэта. М.; Л., 1951. С. 3).

¹⁴ *Мариенгоф А.Б.* Мамонтов. Драма в 4-х действиях // ОР РНБ Ф. 465. Д. 27. Л. 5–6.

¹⁵ Там же. Л. 7.

¹⁶ Там же. Л. 9.

¹⁷ Там же. Л. 33.

¹⁸ Там же. Л. 63.

¹⁹ Там же. Л. 75.

ЭТНОИСТОРИЯ В США: ОТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ К ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

Карачкова Елена Юрьевна
Институт востоковедения РАН,
г. Москва

***Аннотация:** Идея и практика междисциплинарности в системе гуманитарных наук США рассматриваются в этой статье на примере этноистории (ethnohistory), сформировавшейся в первой половине XX в. на стыке двух наук: культурной антропологии и истории. В трактовке понятия «этноистория» можно проследить несколько этапов: от особого метода исторических реконструкций до самостоятельной области научных исследований, которая, в свою очередь, является сегодня одной из дисциплин, составляющих трансдисциплинарный научно-исследовательский проект — постколониальные исследования (post-colonial studies).*

***Ключевые слова:** история, этноистория, культурная антропология, востоковедение, постколониальные исследования, междисциплинарность, трансдисциплинарность.*

Задуматься о существовании жестких дисциплинарных рамок в российском востоковедении (в моем случае, в индологии) меня заставил вполне конкретный эпизод: обсуждение рукописи моей монографии «Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества»¹ с коллегами (преимущественно историками) из Института востоковедения РАН. Книга была написана по результатам многолетних полевых исследований в индийском штате Раджастан, целью которых была запись и последующий анализ так называемых «устных традиций о прошлом» (oral traditions about the past) как основного способа конструирования и транслирования коллективной исторической памяти в условиях неполной грамотности населения. Содержание устных традиций сопоставлялось в книге с содержанием письменных исторических текстов. Многие коллеги тогда отметили, что сочетание полевых исследований с характерным для «классической» истории исследованием текстов и другие междисциплинарные проекты — чрезвычайная редкость в современном отечественном востоковедении.

В Соединенных Штатах, напротив, преобладают именно междисциплинарные подходы к изучению как истории, так и различных аспектов культуры стран Востока. Полагаю, что это следствие серьезного влияния культурной антропологии, (которая сама является ярким примером междисциплинарной науки) на все области гуманитарного знания в США.

В этой статье речь пойдет о возникновении и смысловом наполнении термина «этноистория», а также о постепенном переосмыслении задач, стоящих перед этой областью исследований в системе североамериканских гуманитарных наук (humanities).

Сегодня понятие «этноистория» трактуется по-разному. Узко — как особый метод исторических реконструкций и шире — как самостоятельная область исследований, сформировавшаяся на стыке двух наук — антропологии и истории. Термин возник в рамках и в связи со становлением и развитием американской культурной антропологии.

Онлайновый словарь и тезаурус «Мерриам-Вебстер» относит первое употребление термина «этноистория» к 1943 г. и определяет его как «изучение культур в их развитии»². Эта невнятная, казалось бы, дефиниция обретет смысл, если обратиться к истории становления культурной антропологии как самостоятельной дисциплины. В поисках своего лица — предметной области и научных задач — эта сравнительно молодая общественная наука демонстрировала резкие колебания между диахроническим и синхроническим подходами к анализу накопленных данных.

Европейское дитя эпохи великих географических открытий и последующей колониальной экспансии, антропология (этнология) XIX в. видела основную задачу в классификации обществ и культур по степени их развитости/неразвитости и в выстраивании линейной концепции развития человечества. Этот начальный этап развития дисциплины получил название «эволюционизм». Антрополог (этнолог) рубежа XIX — XX вв. был преимущественно кабинетным ученым. Он получал данные из отчетов колониальных чиновников, дневников христианских миссионеров, травелогов известных путешественников и тому подобных источников. Как правило, он анализировал не культуру этнической группы в целом, а отдельные ее элементы, например религию. Затем описанные верования и ритуалы находили свое место на иерархически выстроенной шкале эволюции религиозных представлений человечества. Точкой отсчета для построения подобных иерархий неизменно оказывалась западная цивилизация: такой подход получил название «европоцентризм». По-

становка научной задачи диктовала и метод анализа: он был строго историческим и компаративистским.

Первая половина XX в. оказалась временем решительной смены парадигм в культурной антропологии. Основным источником информации об иных культурах теперь служили не чужие тексты, а данные, полученные в ходе самостоятельных полевых исследований, а на смену историко-компаративистскому подходу пришел структурно-функциональный анализ. Он базировался на социологических теориях конца XIX — начала XX в., согласно которым общества уподоблялись биологическим организмам или отлаженным механизмам с согласованно действующими компонентами. Антропологи того времени видели свою задачу в том, чтобы представить изучаемые общества в виде структур во всей совокупности их органически связанных компонентов и одновременно выявить функции, которые отдельные компоненты выполняют в той или иной структуре. Иерархические построения остались в прошлом: каждая культура воспринималась как самоценная. Утратил смысл и исторический подход: подлинно научным объектом анализа считались лишь те факты, которые мог наблюдать сам антрополог на протяжении периода полевых исследований.

Прошли десятилетия, прежде чем антропология перестала дистанцироваться от истории. В Соединенных Штатах, где и был впервые введен в научный оборот термин «этноистория», импульсом для возникновения этого нового направления послужили вполне конкретные практические задачи, с которыми столкнулись американские антропологи. В 1946 г. американский Конгресс принял Закон об исках американских индейцев к правительству США (The Indian Claims Act of 1946). Для рассмотрения земельных исков коренного населения Северной Америки и определения размеров денежной компенсации была создана специальная комиссия, которая просуществовала до 1978 г. Поскольку письменные источники, подтверждавшие право племени на земли, часто отсутствовали — племена были бесписьменными, — именно антропологи являлись ведущими экспертами в работе комиссии. Своеобразными побочными эффектами ее деятельности стали: накопление огромного банка этнографических, исторических, географических, экономических и прочих данных о коренном населении США и собственно разработка этноисторического метода — способов реконструкции истории бесписьменных сообществ.

Накопленные данные требовали классификации и научного осмысления, поэтому еще одним важным результатом работы комиссии яви-

лось создание в 1954 г. «Американского общества этноистории» (The American Society for Ethnohistory), которое насчитывает в своих рядах более 1200 ученых. Своей основной задачей оно считает реконструкцию истории коренного населения американского континента путем привлечения и обобщения данных этнографии, лингвистики, археологии и экологических исследований. Общество издает ежеквартальный журнал Ethnohistory, на сайте которого сформулирована редакционная политика³, направленная на широкое междисциплинарное обсуждение: помимо антропологов к дискуссиям приглашаются историки, географы, литературоведы и фольклористы, а также археологи и экологи. Этноисторический метод по-прежнему трактуется узко — как способ реконструкции истории бесписьменных этнокультурных сообществ.

Заслуга дальнейшего теоретического осмысления необходимости сближения двух дисциплин — антропологии и истории — принадлежит Бернарду С. Кону (1928–2003), представителю первого послевоенного поколения американских антропологов, активно работавших в 1950–60-е гг. в деревнях Индии. Деревня представлялась антропологам того времени некой идеальной единицей исследования в силу своей обозримости, т. е. доступности «включенному наблюдению», неким депозитарием неизблемой традиционности как «сущности» индийской цивилизации. Перемены в общественной и экономической жизни индийской деревни, вызванные прежде всего длительным периодом британского правления, казались не более чем досадной, но преодолимой помехой на пути к постижению этой неизменной «сущности». Формальные попытки сближения двух дисциплин — своеобразные «реверансы» в адрес «смежников» — предпринимались уже в 1950-е гг. Так, антрополог мог начать свою этнографию (плод «включенного наблюдения») с краткого исторического очерка, а историк — завершить свой труд (плод архивных бледней и находок) главой «Культура». Но именно Кон впервые продемонстрировал, что междисциплинарность — это не формальная дань условности, а эпистемологическая необходимость.

Талантливый американский ученый был приверженцем и мастером малых форм. Он опубликовал множество статей, лучшие из которых изданы сегодня в двух сборниках: «Антрополог среди историков и другие эссе»⁴ и «Колониализм и его формы знания: британцы в Индии»⁵. Целый ряд его идей дал толчок развитию самостоятельных направлений в западных индологических исследованиях⁶. В частности, его интересовали вопросы применения права и разрешения правовых конфликтов в индийской деревне. Среди опубликованных на эту тему работ встречаются

статьи, написанные как в строго историческом, так и в антропологическом ключе. Но уже в 1959 г. вышли в свет его «Заметки о праве и переменах в Северной Индии»⁷, где он успешно и своеобразно совместил навыки, методы и аналитические приемы работы антрополога и историка. Первая часть статьи написана в намеренно утрированной, но в целом типичной для антропологии того времени манере, вторая же выполнена антропологом, пришедшим к пониманию, что настоящее — это всегда результат прошлого. Подытоживая сказанное в первой части статьи, Кон пишет:

«До сих пор я писал о деревне и мелких княжествах так, словно они были неизменными изолированными единицами, не подверженными влиянию внешних событий, происходивших в северо-индийском обществе. Очевидно, что дело обстоит совсем не так [...]. Мои описания — это абстракция и, до некоторой степени, даже карикатура; целый ряд событий, произошедших с установления в конце XVIII в. британского правления, заметно изменил отношения внутри деревни»⁸.

Таким образом, именно «колониальная ситуация» (colonial situation), в которой на протяжении почти двухсотлетнего периода пребывала Индия, признавалась основным источником перемен и важным объектом исследования новой самостоятельной дисциплины, которую Кон, с некоторой непоследовательностью, называл то «антропологической историей» (anthropological history), то «исторической антропологией» (historical anthropology). В 1970–80-е гг. он опубликовал серию статей, теоретически обосновывающих важность таких исследований и проясняющих суть предложенной им методологии:

«[...] одним из главных объектов исследования исторической антропологии или антропологической истории является [...] колониальная ситуация. Ее не следует рассматривать ни как “влияние”, ни как “культурный контакт”, не стоит и прибегать к методологии, позволяющей отделить привнесенное от самобытного. Скорее ее следует рассматривать как ситуацию, в которой европейский колонизатор и коренное население объединяются в одном аналитическом поле. [...] Изучать австралийских аборигенов, американских индейцев или индийскую деревню безотносительно к колониальным структурам, которые являлись определяющим социальным фактором их существования, не придавая значения торговцам, миссионерам и колониальным чиновникам, да и самому процессу, посредством которого местное население вовлекалось различными способами в капиталистические или социалистические экономики, — значит вульгаризировать опыт местного населения»⁹.

Сегодня эти рассуждения кажутся самоочевидными. Но в тот период они знаменовали собой очередную смену парадигм в культурной антропологии, увлекшейся в первой половине XX в. поисками в культурах различных этнических групп неких неизменных «сущностей» или «паттернов»¹⁰. Антропология возвращалась к историзму, но очищенному от расистски окрашенных иерархических построений в духе «европоцентризма».

В современных зарубежных исследованиях термины «этноистория» и «историческая антропология» используются как взаимозаменяемые. Отдавая предпочтение тому или иному термину, ученые, тем не менее, демонстрируют единое понимание целей и задач своих междисциплинарных проектов. Так, в предисловии к коллективному труду «Историческая антропология» его редактор, индийский историк Саурabh Дубе, пишет:

«Что следует понимать под исторической антропологией? Является ли она формой знания, подразумевающей *простое совмещение* [курсив мой.— Е.К.] архивной работы с полевыми исследованиями, где каждая из двух процедур заранее прописана, хорошо известна и считается общепринятой? [...] На мой взгляд, задача исторической антропологии состоит в том, чтобы переосмыслить содержание составляющих ее дисциплин и способов взаимодействия между ними»¹¹.

Ученик Б. Кона, американский историк и антрополог Николас Деркс, отдает предпочтение термину «этноистория», о чем свидетельствует название его монографии «Пустая корона: этноистория индийского царства». В предисловии к своему труду он высказывает ту же самую мысль, что и его индийский коллега, но более четко и развернуто:

«[...] этноистория объединяет в себе интерес к общественным и культурным формам, изучаемым антропологами, с многочисленными контекстами и временными измерениями, исследуемыми историками. Как и другие гибридные ярлыки [...], она оказывается наиболее полезной в тех случаях, когда открывает возможность для совместных действий, результат которых окажется большим, чем сумма составляющих его частей. [...] Недостаточно просто заимствовать термины и даже теории из другой дисциплины. Скорее этноистория должна работать как *рефлективная критическая технология*, на каждом этапе исследования бросающая вызов изначальным базовым концепциям [курсив мой.— Е.К]. Она должна заставить нас пересмотреть стандартные исторические методы и теории или, по выражению Салинса¹², взорвать концепцию истории антропологическим опытом культуры»¹³. Одновременно она должна ука-

зать на ограниченность антропологической теории и практики, обогатив ее функциональные, структуралистские или семиотические модели концепциями времени, процесса, случайности и закономерности»¹⁴.

Первая энциклопедическая статья об этноистории появилась в изданной в 1968 г. «Международной энциклопедии общественных наук». Автором ее был все тот же Кон¹⁵. В ней зафиксирован весь семантический объем, который приобрел этот термин к концу 1960-х гг. Первое значение уже знакомо нам по деятельности «Американского общества этноистории»: реконструкция истории культурных регионов и народов, не имевших письменности, а следовательно, не оставивших привычных для историков источников — летописей, хроник, эпиграфики. Второе: применение этнографического (полевого) метода и антропологической теории культуры в исторических исследованиях любых типов обществ (как письменных, так и бесписьменных) есть не что иное, как резюме идей Кона об особенностях и задачах исторической антропологии.

Наиболее новаторским для конца 1960-х гг. было третье значение — реконструкция альтернативных авторитарным и элитарным историографиям низовых (популярных) представлений о собственном прошлом. С присущим ему юмором Кон называл подобные исторические реконструкции снизу вверх (*from the bottom up*) «проктологической историей», играя на двойном значении слова *bottom* — «низ» и «ягодицы»:

«Проктологическая история — это изучение масс — бессловесных, обездоленных, эксплуатируемых, т. е. тех групп и категорий общества, которые представлялись прежним элитарным историкам не протагонистами, а пассивными объектами, не достойными быть в фокусе исторического объектива. Элитарная историографическая традиция отводила низшим слоям место на заднем плане. Причем историки либерального толка видели в них в лучшем случае спутников в победном марше к цивилизации, консерваторы же считали их — невымытых и неуправляемых — постоянной угрозой хрупкому и с трудом завоеванному цивилизационному процессу»¹⁶.

По понятным причинам исторические, да и любые другие воззрения этих групп населения не находили отражения в письменных источниках. Поэтому Кон призывал историков надеть ботинки покрепче и отправиться в поле в поисках контекстов для их архивных текстов. Архивные материалы необходимо было дополнить деревенским и городским фольклором, устными традициями и устной историей, популярной литературой и тому подобными «сомнительными», с точки зрения позитивистски-ориентированных историков, текстами.

На этот призыв откликнулись многие, но особенно успешным следует признать опыт коллектива индийских и западных историков, называвших себя «Группой изучения субалтернов» (Subaltern Studies Group)¹⁷. Она была создана в 1982 г. и на протяжении долгих лет задавала тон в европейской и американской индологической истории. За годы своего существования коллектив издал более десяти сборников статей и десятки монографий. Многие труды переиздавались не один раз, а в 1997 г. вышла хрестоматия (reader), содержащая лучшие работы группы¹⁸.

Свою главную задачу коллектив видел в критическом прочтении элитарных исторических трудов предшественников, написанных либо с колониальных, либо националистических позиций, и в озвучивании исторических представлений «молчаливого большинства». В одной из программных статей его организатор, индийский историк Ранаджит Гуха, противопоставил «этатизм»¹⁹ — идеологию «государственности», согласно которой история той или иной страны — суть история ее государства, и исторические представления субалтернов, которые он назвал «слабыми голосами истории» (small voices of history):

«Слабые голоса истории тонут в гуле государственных команд. Поэтому мы их не слышим и поэтому мы должны предпринять дополнительные усилия, овладеть особыми навыками, а самое главное — выработать в себе потребность слышать эти голоса и взаимодействовать с ними. А им есть что рассказать. Их истории не сопоставимы по своей сложности с государственным дискурсом и во многом противоположны его абстрактным и упрощенным моделям»²⁰.

Многие исследователи этого коллектива работали в жанре этноистории: критическое прочтение исторических текстов колониального периода сочеталось в их трудах с полевыми исследованиями — записями образцов фольклора и устной истории, где «слабые голоса истории» отчетливо слышны.

В своей недавней монографии российский историк Л.П. Репина очерчивает траекторию трансформации междисциплинарных практик в исторических исследованиях:

«Современная история междисциплинарности в интеллектуальном контексте истории понятий может быть условно описана как последовательный переход: от «интердисциплинарности» — через содержательно неразличимые «полидисциплинарность/мультидисциплинарность» — к «трансдисциплинарности». Многочисленность терминов, употребляемых для обозначения взаимодействия наук, — это вовсе не игра в слова, [...] если под «междисциплинарностью» понималось главным образом за-

имствование теорий и методов других наук для решения внутридисциплинарных проблем, то «трансдисциплинарным» называется подход, при котором *сама проблема исследования не может быть сформулирована и решена* [курсив мой. — *Е.К.*] в границах любой из сотрудничающих дисциплин»²¹.

Выделенная курсивом мысль представляется мне ключевой. Однажды сломав дисциплинарные рамки, этноистория из метода исторических реконструкций превратилась в самостоятельную область научных исследований, ставившую перед собой и успешно решавшую все новые задачи. Более того, идея Кона об изучении колонизаторов и коренного населения в рамках единого аналитического поля, и деконструкция исторических и культурологических репрезентаций Востока в трудах британских ученых, осуществленная группой изучения субалтернов, внесли существенный вклад в формирование и развитие новаторского научно-образовательного проекта «постколониальные исследования» (postcolonial studies)²². Таким образом, современная этноистория является одновременно и самостоятельной областью исследований, и одной из дисциплин, работающих в проблемном поле постколониальных исследований.

Во второй половине XX в. западные, индийские и советские историки в строгих дисциплинарных рамках активно изучали различные аспекты британского колониализма в Индии. В основном это были: история постепенного завоевания территорий на Индийском субконтиненте, экономические и политические преобразования в условиях колониальной зависимости и, конечно, история национально-освободительного движения. Нисколько не умаляя заслуг этих ученых, я позволю себе утверждать, что новый взгляд на колониализм и на его главную «эпистему» (М. Фуко) — ориентализм²³, оправдывавший и обосновывавший колониальный проект, оказался возможным только в трансдисциплинарном контексте.

¹ Карачкова Е. Ю. Диалоги с прошлым: этноистория раджпутского княжества. М., 2013.

² <http://www.britannica.com/bps/dictionary/ethnohistory>. Дата обращения 25.02.2014.

³ <http://www.dukeupress.edu/ethnohistory>. Дата обращения 25.02.2014.

⁴ Cohn Bernard S. An Anthropologist among the Historians and Other Essays. New Delhi: Oxford University Press, 1987.

⁵ Cohn Bernard S. Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India. Princeton: Princeton University Press, 1996.

⁶ Подробнее об этом см.: Lal Vinay. Bernard S. Cohn and Indian History in the American Academy: A Brief Note. (October, 2004) [<http://www.ssnet.ucla.edu/southasia/Culture/Intellectuals/cohn.html>]. Дата обращения 25.02.2014.

⁷ Cohn Bernard S. Some Notes on Law and Change in North India // Cohn Bernard S. An Anthropologist among the Historians and Other Essays. New Delhi: Oxford University Press, 1987. P. 554–574.

⁸ Ibid. P. 566–567.

⁹ *Cohn Bernard S. History and Anthropology: The State of Play // Cohn Bernard S. An Anthropologist among the Historians and Other Essays. New Delhi: Oxford University Press, 1987. P. 44.*

¹⁰ Ярким, но далеко не единственным примером такого рода исследований являются труды американского культурного антрополога Рут Бенедикт *Patterns of Culture* (1934) и *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture* (1946).

¹¹ *Dube Saurabh* (ed.). *Historical Anthropology. New Delhi: Oxford University Press, 2008. P. 2–3.*

¹² Деркс ссылается здесь на известное исследование американского антрополога М. Салинса: *Sahlins M. Islands of History. Chicago: University of Chicago Press, 1985.*

¹³ Что, собственно, уже и происходит. См. Главу 2 «От истории социальной к истории социокультурной» в монографии Л.П. Репиной «Историческая наука на рубеже XX — XXI вв. Социальные теории и историографическая практика». М., 2011. С. 61–118.

¹⁴ *Dirks Nicholas B. The Hollow Crown: Ethnohistory of an Indian Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 10–11.*

¹⁵ *Cohn Bernard S. Ethnohistory // Sills, D.L. (ed.). International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 6. New York: MacMillan, 1968.*

¹⁶ *Cohn Bernard S. History and Anthropology: The State of Play // Cohn Bernard S. An Anthropologist among the Historians and Other Essays. New Delhi: Oxford University Press, 1987. P. 39.*

¹⁷ В позднесредневековой Европе термином *subaltern* было принято называть вассалов и крестьянство, а с XVIII в. — низшие армейские чины. В начале XX в. этот термин взял на вооружение известный итальянский марксист Антонио Грамши для обозначения низших слоев общества.

¹⁸ *Guha Ranajit* (ed.). *A Subaltern Studies Reader: 1986–1995. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.*

¹⁹ У Гухи *statism* от *state* (государство).

²⁰ *Guha Ranajit. The Small Voice of History // Amin, Shahid; Chakrabarti, Dipesh* (eds.). *Subaltern Studies IX. Writings on South Asian History and Society. Delhi: Oxford University Press, 1996. P. 3.*

²¹ *Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М., 2011.*

²² Многие работы членов этого коллектива включены сегодня в хрестоматии постколониальных исследований, предназначенные для обучения студентов американских и европейских университетов. См., например: *Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen* (eds.). *The Post-Colonial Studies Reader. 2nd Edition. London & New York: Routledge, 2006.*

²³ *Сауд Эдвард В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.*

РАЗВИТИЕ ИДЕИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Рагушштейн Ольга Викторовна

Курский государственный университет,
г. Курск

***Аннотация:** Статья посвящена анализу новых тенденций в развитии американской исторической науки в 50–90-е гг. XX в. После Второй мировой войны все научные направления были вовлечены в круговорот компьютерной революции, в том числе и гуманитарные дисциплины. Историки также восприняли происходившие изменения, но с некоторыми сомнениями. Особое внимание уделено неравномерному развитию различных направлений и огромному разнообразию компьютерно-ориентированных исследований.*

***Ключевые слова:** история США, клиометрия, квантификация, компьютерно-ориентированные исследования.*

Во второй половине XX в. в США стало традицией заимствовать новые методики из других общественных и технических наук. Историки начали использовать компьютеры при изучении документов, обработке библиографических сведений и индексировании данных, а также для моделирования исторических ситуаций, чтобы более точно объяснить, как тот или иной комплекс событий происходил.

Благодаря внедрению компьютерных технологий историки смогли значительно расширить базу данных для своих изысканий и попытались более комплексно и всесторонне осуществлять процесс анализа. Компьютеры также побудили историков быть более точными в своих методах и осторожными в выводах. Для того чтобы использовать технику, необходимо систематизировать процедуру, сформулировать разумную гипотезу, основанную на теоретических положениях, преодолеть множество сопутствующих проблем, превратить неясную квантитативную информацию в точные числа и шкалы, и, главное, следовать научному методу в самом процессе исследования.

В процессе применения новых методов у историков возникло много вопросов. Например, способствует ли мощь компьютеров революционным изменениям в исторической науке. Позволят ли компьютерные

технологии ученым открывать и демонстрировать основные законы человеческого поведения, а также исполнится ли мечта квантификаторов о создании истинно научной историографии на основании новых достижений. Совместимы ли компьютеризированные техники и количественные методы с высокими идеалами научного исторического сообщества. И если история — это искусство, то подходят ли ей количественные методы эмпирического исследования общества¹. На все эти проблемные вопросы не существует однозначного ответа.

Клиометристы² считают, что различия между статистической возможностью и поддержанием исторической уверенности поверхностны. Все исторические данные, статистические или нет, могут быть интерпретированы по-разному. Осторожные историки всегда предупреждали читателей об ограниченности своих источников и заключений. Более того, количественные и качественные методики содержат похожие шаги. В итоге компьютерные и статистические техники были признаны союзниками там, где в ходе исследования встречаются цифровые показатели или данные, которые могут быть обращены в числа.

Более серьезной угрозой явилась возможность ограничения компьютерно ориентированных исследований кругом вопросов, поставленных историками, что, в свою очередь, предопределило направление интересов в тех сферах, где существовали пополняемые данные. Однако эта угроза была достаточно быстро преодолена в свете полученных клиометристами значительных результатов.

Суть возникших дебатов между подходами «тотального погружения» и «использованием как средства» заключалась в соотношении теории и данных. Первоначально клиометристы в ходе исследования останавливались на специфических вопросах и затем, используя компьютер как средство манипулирования этими сведениями, разрешали проблему. В дальнейшем стали собирать всевозможные уникальные данные, а затем только ставить вопросы. Известно, что новые сведения могут изменить теорию, так же как и новая концепция может реорганизовать исходные материалы. В связи с этим клиометристы заключили, что для плодотворного и успешного изыскания необходимо постоянное взаимодействие между понятиями и доказательствами.

Самым существенным разногласием в компьютерно ориентированных исследованиях стала часто возникающая вера гуманитариев в то, что междисциплинарная ориентация может дегуманизировать историю, так как смещаются акценты в исследованиях с индивидуального на коллективное и с уникального на всеобщее. Это действительно реальная

опасность, но практики уже были готовы к этому. Приверженцы нового подхода неизменно подчеркивали, что количественные методы необходимо всегда использовать только с опорой на качественные источники.

Осторожные клиометристы, когда манипулируют данными, всегда строго следят за уникальностью и неповторимостью свидетельств о событиях, которые оцифровываются, чтобы избежать искажения выводов. Однако спор между традиционными и количественными историками продолжается по сей день. В данном многолетнем диалоге следует согласиться с мнением Джоела Силби о том, что большинство историков не слишком смелые, а также им присущ врожденный консерватизм и багаж из устоявшихся тем, которые клиометристы открыли для изучения в новом ракурсе, поэтому достигли значительных результатов³.

В дальнейшем угрозу жизнеспособности компьютерно ориентированных исследований стали представлять не теоретические, а практические проблемы. Компьютерные технологии заняли первенство в коллективных изысканиях, междисциплинарных по своей природе. Это явилось несомненной угрозой для смелого типа историков, которая выразилась в потере некоторой индивидуальной свободы.

Второй проблемой стало финансирование. Затраты на исследования с помощью новых технологий оказались неизменно высоки. Исторические проекты требовали тысяч, а иногда десятков тысяч перфокарт, для чего необходимо было много времени и средств. Однако с появлением и совершенствованием оптической техники ситуация значительно улучшилась.

Кроме того, ряд фондов стали финансировать количественные исторические проекты, главным образом, докторского уровня. Например, историкам-демографам открыли двери многие национальные институты при министерстве здравоохранения, образования и социального обеспечения. Основным источником средств для общественных наук стал Национальный научный фонд, который до сих пор финансирует основные исследовательские проекты ведущих ученых. Фонды Рокфеллера и Форда поддерживают специальные количественные изыскания в сфере демографии, законодательства, афро-американских и гендерных областях. Очень много средств также требовалось на создание архивов оцифрованных данных. Несмотря на фискальные ограничения, историки продолжали накапливать электронные материалы, что закладывало основу для дальнейших количественных исследований.

Для распространения компьютерных изысканий в исторической науке стало необходимостью создание и совершенствование стандартизо-

ванных кодов и записывающих форматов. Кембриджская группа ученых по изучению истории населения и социальной структуры в начале 1970-х гг. уже продемонстрировала преимущества стандартизации при воссоздании семейных традиций и обычаев. Другие историки кодировали записи федеральных переписей населения и переводили информацию в машиночитаемую форму. Однако каждый исследователь, к сожалению, создавал свою уникальную систему кодирования и трансформировал только ту часть источников, которая была необходима для его собственного проекта. В дальнейшем группа исследователей из Питтсбургского университета изобрела стандартизованную систему для перевода в машиночитаемый вид материалов цензов. Новая методика основывалась на свободном трансформировании, не кодированном вводе вместо традиционно неизменных форматов⁴. В результате ученые, которые желали изучать вопросы истории народонаселения, могли успешно этим заниматься, так как была создана единая процедура кодирования данных всех существующих и будущих переписей.

Другой проблемой, возникшей в ходе развития нового исторического направления, стало техническое обучение. Определенный уровень знакомства с языками программирования и логикой компьютерных операций был необходим для того, чтобы успешно осуществлять исследование. Однако лишь незначительная часть историков обладала достаточной компетенцией. Требовалось обучение мастерству владения машинными языками и основам понимания устройства компьютеров. Для большинства историков это явилось слишком высокой степенью, так как необходимо было постоянно совершенствовать свои знания и умения в данной области. Некоторые стали просто нанимать квалифицированных программистов, но в этом случае утрачивался полный контроль над исследованием.

Все-таки основная масса клиометристов выбрала осторожный средний путь. Они стали зависимыми пользователями, которые прибегали к консультациям сотрудников компьютерных центров, но в то же время старались совершенствовать свои технические навыки методом проб и ошибок⁵. Эти упражнения облегчили создание виртуальной языковой программной системы для анализа социальной статистики, а именно: Статистического пакета для общественных наук, разработанного компьютерным центром Стенфордского университета и обновляемым и распространяемым Центром исследований национального общественного мнения при Чикагском университете. Второй самой распространенной системой программ явился OSIRIS III, созданный в США

Институтом социальных и политических исследований и используемый более чем 130 научными лабораториями⁶.

В США следующим шагом стало повсеместное расширение компьютерно ориентированных исследований. Во-первых, каждый исторический департамент должен был создать на своей базе или где-либо еще вводные курсы по компьютерному программированию, социальной статистике, а также использовать уже разработанные стандартные программные пакеты. Все это открывало большие перспективы для историков. Профессора, компетентные в данной сфере, должны были способствовать продвижению курсов, обучающихся работе с компьютерами применительно к историческим исследованиям⁷.

Во-вторых, исторические факультеты должны были поддерживать свои компьютерные центры, для чего приглашались программисты с базовым гуманитарным образованием. Эти профессионалы помогали историкам в проведении изысканий, а также редактировали и модифицировали компьютерные программы, чтобы сделать их более эффективными для работы с историческими материалами.

Все-таки финансовые проблемы оставались ключевыми для будущих компьютерно ориентированных исторических работ. Требовались большие средства для покупки компьютерного оборудования и оснащения им библиотек и учебных аудиторий, чтобы обеспечить постоянный доступ к технике всем участникам образовательного и исследовательского процессов. Историки также очень нуждались в финансировании архивов, оцифровывавших материалы, рабочих конференций и в предоставлении грантов для осуществления проектов. Одной из основных явилась и необходимость в создании руководств и учебников, содержащих детальные объяснения на доступном языке природы компьютерных процессов и статистических приложений применительно к истории.

Таким образом, на первом этапе становления нового направления историки в основном выступали в роли «получателей», так как заимствовали теорию и методологию из родственных дисциплин. Часто копирование было неадекватным, что приводило к дегуманизации изысканий. Однако методом проб и ошибок историки нашли уместную теорию и пригодную методологию. К середине 1970-х гг. стало ясно, что клиометристы уже могут внести свой вклад в социологическую, политическую, экономическую и статистическую теории. Данная уверенность и возрастающая личная критика свидетельствовали о том, что компьютерно ориентированные исследования преодолели фазу становления и вступили в стадию зрелости.

Расцветом количественных исследований принято считать 70–80-е гг. XX в., когда квантификация в истории стала широко признана и практикуема почти повсеместно, что привело к потере этим новым научным направлением своего первоначально загадочного ореола. Клиометрия могла изменить курс всей исторической методологии, но явилась прежде всего одной из вспомогательных частей главного направления.

В 1975 г. в США была создана новая организация — Ассоциация общественно-научной истории, которая объединила новых историков-клиометристов с политологами, социологами, экономистами и другими учеными смежных дисциплин. Кроме того, развитию способствовали как уже существовавшие к тому времени журналы (*Historical Methods Newsletter* — 1967, *The Journal of Social History* — 1967, *The Journal of Interdisciplinary History* — 1970), так и вновь появившиеся (*Social Science History* — 1976)⁸. Публикации в специализированных изданиях и встречи на конференциях благоприятствовали обмену опытом среди исследователей, совершенствованию методологии и многогранной проверке результатов, проведенных количественных изысканий.

В 1970-е гг. в США увеличились ассигнования на историко-демографические проекты. Прежде всего в центре изучения оказались такие проблемы, как экономика естественного воспроизводства, а также миграционные и иммиграционные процессы. Представители «новой экономической истории» неоднократно стали обращаться к анализу экономических аспектов демографического поведения, брачности, фертильности, рождаемости в различных слоях общества. Часто перечисленные явления выступали в моделях клиометристов результирующими переменными, в то время как факторными — характер труда, производства, занятости, уровень эксплуатации, производственные циклы, национальная принадлежность, возраст, региональные различия и тому подобное.

Кроме того, в 1970-е гг. произошло расширение области исследования в рамках количественной истории, которая уже к тому времени охватила Северную и Латинскую Америки, Европу, Азию, и теперь огромный интерес возник к африканской истории. Это было связано, во-первых, с молодостью и, следовательно, слабой разработанностью данного направления. Во-вторых, специфика изысканий заключалась в коллекционировании и анализе устного творчества народов Африки в дополнение к использованию традиционных источников. В-третьих, природа и доступность количественных данных налагали значительные ограни-

чения на возможности количественного анализа. Тем не менее, несмотря на перечисленные факторы, интерес африканских историков к применению количественных методов и ЭВМ заметно возрос во второй половине 1970-х гг.

В африканской историографии экономическая сфера составила самую большую категорию клиометрических исследований, вместе с проблемами рабства и работорговли. Подтверждением возросшего интереса стало появление весной 1974 г. специализированного периодического издания — «Обозрение африканской экономической истории». Новый журнал издавался при университете Висконсина и через два года был значительно расширен, получив более сокращенное и емкое название — «Африканская экономическая история».

Самым первым представителем нового направления стал Филипп Куртин, стоявший у истоков Висконсинской исследовательской программы. Его монография «Экономические изменения в доколониальной Африке» явилась примером количественного изучения историко-экономических аспектов Сенегамбийского региона Западной Африки между 1680 и 1850 гг. В этой работе автор собрал и проанализировал впечатляющее количество данных по экономике Сенегамбии на местном, региональном и международном уровнях, включая существовавшие в те времена цены, тарифы, размеры импорта и экспорта, изменение курсов национальных валют и транспортные расценки. Более того, Куртин создал индексные показатели для цен, объема и важности экспортных и импортных операций в обозначенный выше промежуток времени. Эти данные обеспечили эмпирическую основу для определения характера и размеров западно-африканской экономики⁹.

Как и ожидалось, торговля и ее главный инструмент — деньги, стали самым широко изучаемым аспектом африканской экономической истории. Например, Патрик Мэннинг занимался исследованием экономики ранней колониальной Дагомеи, включая международную и внутреннюю торговлю последней¹⁰. Дж. Миттас проанализировал португальскую торговлю на верхнем гвинейском побережье в конце XVIII в., а Поль Лавджой создал модель изменения денежных потоков в доколониальной Нигерийской торговле¹¹. Транссахарская торговля стала главным предметом работ Мариона Джонсона, который изучал «ситцевые караваны» конца XIX в. между Триполи и Кано в северной Нигерии, и сделал много важных открытий¹². Джонсон также опубликовал серию основательных статей по истории денежного обращения в Западной Африке — о раковинах каури, золотом «миткале» и «унциях»¹³.

Другой перспективной сферой исследований в рамках африканской истории стали коллективные биографии. Особенностью работ в данной области явилось широкое использование в качестве источников устной традиции. С 1972 г. Ивор Уилкс и его сторонники занимались разработкой проекта «Коллективная биография Асанте». Этот проект привел к созданию машиночитаемой базы данных о карьерных линиях представителей Асанте с XVII в. Уже к февралю 1975 г. появилось около 50 тысяч электронных биографических единиц хранения. Среди информации, которая фиксировалась, необходимо отметить сведения о местожительстве, генеалогические связи, приписываемый статус, карьера, личные черты и медицинские показатели¹⁴. Вышеназванный проект стал уникальной совместной попыткой применить междисциплинарный подход к африканской истории и примером для инновационных исследований в других исторических сферах.

В 1990-е гг. произошло смещение акцентов в работах клиометристов с экономических и политических на культурные аспекты. Так, например, историки заинтересовали значительные различия между народами, населявшими во времена работорговли территорию от Гамбии до дельты Нигера. Р. Эллисон осуществил анализ этнических особенностей африканцев, которые были перенесены ими в Америку, а также определил, каким образом происхождение и разнообразие традиций повлияло на становление афро-американской культуры и национального самосознания¹⁵.

Таким образом, новая африканская история послужила для ученых-обществоведов своего рода лабораторией по созданию и апробированию новых гипотез или для извлечения последних из исторического контекста. Для историков общественные науки предоставили усовершенствованные методологические и теоретические подходы к историческим проблемам, что принесло несомненную пользу дисциплине в целом. В результате следует отметить, что влияние было обоюдно положительным и достижений и открытых новых возможностей оказалось намного больше, чем ограничений.

Следует отметить, что кроме африканской проблематики в 1980-е гг. в рамках новой экономической истории изучалось достаточно большое число других аспектов. Например, клиометристы изучали взаимосвязь миграции и роста общей численности населения европейских колоний на примере английских поселений в Америке. Новым историкам (Т. Андерсену и Р. Томасу) удалось смоделировать динамику численности населения Чесапика, опираясь на пассажирские списки XVII в. и используя

«модель стабильного роста населения»¹⁶. Для определения всех параметров исследователи обратились к пассажирским спискам 1634 и 1635 гг., в которых были данные о переселенцах с разбивкой по возрасту и полу. К изучению миграционных процессов XVII — XVIII вв. клиометристы обратились в связи с изучением уровня жизни колонистов. К проблемам истории миграции XIX — XX вв. их привели исследования технологических изменений в сельском хозяйстве и протекционистской политики США.

Необходимо также отметить появление ряда фундаментальных монографий, посвященных различным аспектам американской экономической истории. основоположник новой экономической истории Стэнли Энгерман совместно с Робертом Гэллманом опубликовали при Чикагском университете труд «Долговременные факторы в американском экономическом росте»¹⁷. Ценность работы состоит в использовании большого количества источников, полученных из отчетов Национального Бюро экономических исследований США.

Мортон Оуэн Шапиро создал экономико-демографическую модель роста и распределения населения в XIX в. в США. Монография вышла в 1986 г. под названием «Заселение Америки»¹⁸.

Среди научных трудов, вышедших в 1990-е гг., необходимо отметить работу Яна Инкстера «Наука и технология в истории: подход к промышленному развитию»¹⁹. Индустриализация быстро растущих независимых мировых сообществ — самый важный комплекс событий современной истории. Автор попытался проанализировать, почему промышленный переворот начался именно в Англии, а не где-то на территории другого государства.

Выход в свет фундаментальных исследовательских трудов подтвердил, что новая экономическая история в 80–90-е гг. XX в. продолжала бурно развиваться и подтвердила статус серьезного направления в исторической науке.

Наряду с новой экономической историей следует отметить расширение и углубление изысканий по новой политической истории. Исследователи данного направления представляют сферу своего изучения, не просто состоящей из отдельных президентств, событий и людей, а подразделенной на различные политические эры и системы. Суть новой политической истории составляет последовательное чередование партийных систем, разделенных периодами перегруппировок.

Партийная принадлежность и манера голосования внутри каждой из систем определялась социальными, культурными и экономическими

ценностями, идеологией, политическими целями членов референтных групп. Государственная система при этом рассматривалась как система политики, на входе которой расположены факторы среды, на выходе — государственная политика, а внутри — преобразования в виде политического процесса.

Главный инструмент — структурно-функциональный анализ и системный подход, привнесенный из социологии, политологии и социальной психологии. Основной предмет анализа — поименные голосования законодателей, которые служат характеристикой индивидуального поведения депутатов.

Новые политические историки попытались выявить блоки среди конгрессменов, закономерности взаимодействия и раскола между ними, особенности группировок и состава партийных функций. Затрагивались вопросы влияния различных факторов на процесс принятия решений в законодательных органах, предпринимались попытки построения многофакторных моделей и применения многомерных математических методов.

В качестве примера приведем ряд исследований. Ли Бенсон «Интерпретация нью-йоркских выборов»²⁰. Автор изучил результаты голосования по итогам выборов в Нью-Йорке в 1844 г. Анализ историка выявил не только то, кто за кого голосует, но и определил социально-экономическую базу Джексонской политики. Через 20 лет данная проблематика была расширена благодаря исследованию профессора Р. Формисано «Новая политическая история и выборы 1840 г.»²¹.

На рубеже XX и XXI вв. внимание историков привлек комплекс проблемных тем, которые ранее по ряду причин были недоступны для изучения. Так, Кент Реддинг и Дэвид Джеймс изучали особенности волеизъявления белого и чернокожего населения Юга с 1880 по 1912 г. Это исследование преследовало три цели. Во-первых, применить новую количественную методiku, созданную в Гарвардском университете. Во-вторых, выяснить предпочтения белого и чернокожего населения на выборах 1880, 1892, 1900 и 1912 гг. В-третьих, определить, каким образом различные факторы могли в те времена повлиять на результаты голосований. В итоге пришли к выводу, что такими факторами могли быть подушный налог и неграмотность избирателей афро-американского происхождения²².

Таким образом, внедрение новых методов обогатило предмет политической истории, значительно расширило возможности историков по изучению массовых процессов, партийно-политической структуры

и социальной базы партий. Обращение ученых к структурно-количественным методам и системному подходу, так же как и их попытки выявить причины политических изменений, обратиться к исследованию политического поведения широких масс, заслуживают положительной оценки. Кроме того, международные отношения стали рассматриваться в виде некоторой системы, обладающей структурой, то есть элементами и связями.

Однако следует отметить, что отчетливо проявились пределы междисциплинарных методов. Стало ясно, что совершенствование методики и техники исторического исследования должно производиться профессионально, с учетом специфики истории. Количественным анализом необходимо разумно пользоваться. Он дает прекрасные результаты при правильной постановке задачи и в сочетании с другими методами социально-экономического и исторического анализа.

В итоге стало очевидным, что взлет и падение интереса к квантификации были неизбежны. В начале историки заинтересовались новой методологией, которая позволила им поставить более широкие задачи при работе с источниками. Увлечение статистикой в 1970-е гг. привело к значительным заимствованиям из антропологии и других общественных наук в 1980-е гг. Клиометристы со временем признали, что мир квантификации ограничен в своем росте и уже занял свое место среди методологических дисциплин. В связи с этим число количественных исследований в 1990-е гг. значительно сократилось, а следовательно, и публикации о них в ведущих исторических журналах. Тем не менее следует признать, что методы точных наук, адаптированные для гуманитарных исследований, должны по-прежнему изучаться на исторических факультетах.

Снижение интереса к квантитативным изысканиям связано также с бурным ростом в 90-е гг. XX в. информационных технологий и тех возможностей, которые они открыли перед историками. Одним из дискуссионных вопросов длительное время был аспект, касающийся соотношения количественной истории и исторической информатики. Одни ученые рассматривали последнюю в роли расширенной ветви квантитативной истории, в то же время некоторые клиометристы отрицали наличие исторической информатики, и наоборот. Современные историки считают, что эти два направления взаимно переплетаются: одно дополняет другое.

¹ Swierenga R.P. Computer and American History: The Impact of the New Generation // The Journal of American History. Mar. 1974. № 4. V. LX. P. 1062.

² Изучают экономическую историю с помощью современных методов статистического анализа и математического моделирования.

³ *Silbey J.H.* Clio and Computers: Moving into Phase II, 1970–1972 // *Computer and the Humanities*. Nov. 1972. № 7. P. 67–79.

⁴ *Herlihy D.* Computerizing The Manuscript Census — A Comment // *Historical Methods Newsletter*. Dec. 1970. № 4. P. 10–13.

⁵ *Dollar Ch.M., Jensen R.* *Historian's Guide to Statistics: Quantitative Analysis and Historical Research*. N. Y., 1971. P. 183–186.

⁶ *Margolis M.* OSIRIS and SPSS: New Computer Packages for the Analysis of Social Science Data // *Historical Methods Newsletter*. March 1970. № 3. P. 15–18.

⁷ *Bowles E.A.* Towards a Computer Curriculum for the Humanities // *Computer and the Humanities*. Sep. 1971. № 6. P. 35–38.

⁸ *Reynolds J.F.* Do Historians Count Anymore? // *Historical Methods Newsletter*. Fall 1998. V. 31. № 4. P. 141.

⁹ *Smaldone J.P.* Quantitative Research in African History // *Historical Methods Newsletter*. Dec. 1976. V. 10. № 1. P. 20.

¹⁰ *Manning P.* *An Economic History of Southern Dahomey, 1880–1914* (Ph.D. Diss., University of Wisconsin, Madison, 1969).

¹¹ *Lovejoy P.E.* Interregional Monetary Flows in the Precolonial Trade of Nigeria // *The Journal of African History*. 1974. V. 15. P. 563–585.

¹² *Johnson M.* Calico Caravans: The Tripoli-Kano Trade After 1880 // *The Journal of African History*. 1976. V. 17. P. 95–117.

¹³ *Johnson M.* The Ounce in Eighteenth-Century West African Trade // *Ibid.* 1966. V. 7. P. 197–214; *Johnson M.* The Nineteenth-Century Gold ‘Mithqal’ in West and North Africa // *Ibid.* 1968. V. 9. P. 547–569; *Johnson M.* The Cowrie Currencies of West Africa, Part I // *Ibid.* 1970. V. 11. P. 17–49.

¹⁴ *Smaldone J.P.* Op. cit. P. 23.

¹⁵ *Allison R.J.* The Origins of African Culture // *Ibid.* 1999. V. 30. № 3. P. 475–482.

¹⁶ *Anderson T.L.* Economic Growth in Colonial New England: “Statistical Renaissance” // *The Journal of Economic History*. 1979. V. 39. № 1. P. 243–258.

¹⁷ *Long-Term Factors in American Economic Growth*. Ed. by S. L. Engerman, R. E. Gallman. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1987.

¹⁸ *Schapiro M.O.* *Filling Up America: An Economic-Demographic Model of Population Growth and Distribution in the XIX-century United States*. Greenwich: JAI Press. Inc., 1986.

¹⁹ *Inkster Ian.* *Science and Technology in History: An Approach to Industrial Development*. New Brunswick, Rutgers Univ. Press, 1991.

²⁰ *Benson Lee.* *Interpreting New York Voting / An Interdisciplinary Approach to American History* / Ed. by A. Hoogenboom, O. Hoogenboom. Prentice-Hall: Englewood Cliffs, N. J., 1973. P. 192–203.

²¹ *Formisano R.P.* The New Political History and the Election of 1840 // *The Journal of Interdisciplinary History*. 1993. V. 23. № 4. P. 289–314.

²² *Redding K., James D.R.* Estimating Levels and Modeling Determinants of Black and White Voter Turnout in the South, 1880 to 1912 // *Historical Methods Newsletter*. 2001. V. 34. № 4. P. 141–158.

ТЕОРИЯ МОРСКИХ ОСНОВАНИЙ АНДСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ¹

Острирова Елена Сергеевна
Российский государственный
гуманитарный университет,
г. Москва

В последние десятилетия XX и в начале XXI в. был накоплен большой фактический материал, касающийся проблем седентаризации, доместикации культурных растений и животных, формирования ранних сложных обществ и генезиса иерархии и неравенства.

При этом в археологии Нового Света практически отсутствуют работы, в которых использовалась бы концепция неолитизации, так как понятие «неолитического пакета» практически не применяется по отношению к археологии Америки. На американском континенте не было единого очага неолитизации: самая ранняя керамика обнаружена в бассейне Амазонки, очаги доместикации растений дисперсны (маис — в Мезоамерике, картофель — в Андах, маниок — в Амазонии), а доместикация животных началась в Центральных Андах. Многие векторы развития раннеземельческих обществ в доколумбовой Америке не совпадают со спецификой аналогичных процессов в Старом Свете, тем более в тех случаях, где возможно говорить о преобладании морских ресурсов в экономике обществ, уже возводивших памятники монументальной архитектуры.

Для того чтобы понять, как проходил процесс складывания Андской цивилизации, необходимо обратиться к ее истокам, к тому периоду, когда начался процесс перехода от простых социально-экономических форм адаптации к более сложным.

Теория морских оснований Андской цивилизации (Marine foundations of Andean Civilization, MFAC) является одной из наиболее дискутируемых в андской археологии. В 1975 г. вышла монография американского археолога М. Мосли «Морские основания Андской цивилизации»², в которой были сформулированы основные постулаты теории, касающиеся центральной роли морских ресурсов в экономике населения тихоокеанского побережья Центральных Анд. Согласно концепции М. Мосли, организация дистрибуции морских ресурсов на начальном

этапе развития андской цивилизации была основным фактором развития социально-культурной сложности. Безусловно, это делало Андскую цивилизацию уникальным явлением в мировой истории, так как период, который рассматривал Мосли и его сторонники, — финальная фаза докерамического периода (3000—1800/1600 гг. до н.э.).

Теория Мосли пыталась объяснить формирование социальной сложности избыточностью ресурсной базы: богатство прибрежных вод и, как следствие, высокая эффективность присваивающего хозяйства, что делало возможным появление развитых поселений с храмовой монументальной архитектурой (вероятно, акефальных обществ³).

Перуанское и чилийское побережье представляет собой пустыню, разделенную долинами небольших рек, спускающихся со склонов гор. Тихоокеанская акватория перуанского и чилийского побережья уникально богата морскими ресурсами, в то время как условия для развития земледелия здесь были неблагоприятные. Данная территория, как и внутриматериковые долины в горной Андской области, являлась регионом формирования Андской цивилизации, расцвет которой в период инкской империи был прерван европейским завоеванием. Истоки же формирования данного цивилизационного очага в Южной Америке восходят к более раннему времени: поздней фазе докерамического периода (3000—1800 гг. до н.э.) и начальному периоду (времени появления ранней керамики, 2000/1800—800 гг. до н.э.)⁴.

Докерамический период истории центральноандского региона отсчитывается от времени появления на континенте палеоиндейцев в ранний докерамический период (14000/12000 г. до н.э. — 7000 г. до н.э.). Средняя фаза докерамического периода определяется изменением климатических условий и связанными с этим фактором новыми стратегиями приспособления древнейших жителей Анд. Средний докерамический период датируется 7000 г. до н.э. — 3000 г. до н.э. Появление первых церемониальных монументальных комплексов, а также первых ирригационных систем происходит в позднюю фазу докерамического периода (3000—1800/1600 г. до н.э.)⁵.

В историографии принят термин «хлопковый докерамический период», определяющий позднюю фазу докерамического периода, так как именно в это время появляется традиция производства хлопковых тканей, обильно украшенных геометрическими орнаментами⁶.

Исследовательский интерес к проблемам становления монументальных докерамических памятников побережья Перу и Чили связан с успехами археологического изучения региона и применением радиоуглеродного датирования с конца 1950-х гг.

Открытие и начало изучения докерамических слоев на уже известных памятниках Начального периода относится к 30–40 гг. XX в. Самыми известными прибрежными докерамическими памятниками на тот момент являлись Уака-Приета и Асперо. Памятник Уака-Приета, впервые обследованный Дж. Бердом в 1940-е гг., дал имя докерамическому горизонту — археологически прослеживающейся эпохе взаимосвязанного развития культур побережья Центральных Анд. В 50-е гг. под руководством Ф. Энгеля начинается крупномасштабное исследование всего побережья от севера Перу до севера Чили. В 1957 г. Энгель опубликовал первые радиоуглеродные датировки докерамических памятников, а в 1963 г. американский археолог Э. Леннинг начинает целенаправленное исследование докерамического памятника Анкон на центральноперуанском побережье. Американский археолог М. Мосли вместе со своими коллегами Т. Паттерсон и Л. Баррет с конца 1960-х гг. проводил исследования на центральной части перуанского побережья — памятники района Анкон-Чильон (этот регион в историографии носит название Норте-Чико). Норте-Чико — это прибрежная полоса, протяженностью около 50 км (шириной около 10 км от океана до предгорий Анд) примерно в 200 км к северу от Лимы. Регион Норте-Чико охватывает долины Супе, Пативилька, Форталеса, Уаура. Материалы для диссертации и упомянутой книги Мосли были собраны в этом районе в начале 70-х гг. в ходе нового обследования памятника Асперо (совместно с Г. Уилли).

Хотя о приморской адаптации древнейшего населения тихоокеанского побережья Южной Америки было известно (см. работы Дж. Берда 1938–1943 гг. о Патагонии, долине Чикама (Уака-Приета) и долине Виру)⁷, именно публикация Мосли имела особый резонанс.

Однако показательной является ситуация независимого появления работ, посвященных возможности зарождения сложных обществ на базе присваивающей экономики в Андском регионе, особо богатом морскими ресурсами. В 1972 г. вышла статья перуанской исследовательницы Р. Фунг Пинеда, посвященная монументальным комплексам центральноперуанского побережья, экономика которых, по ее мнению, базировалась на рыболовстве⁸. Эта статья до некоторых пор оставалась никому не известной. Практически одновременно с работой Мосли в советской историографии также появилась схожая концепция, объяснявшая становление ранних сложных обществ на перуанском побережье Центральных Анд не успехами производящей экономики, а особыми условиями высокоэффективной морской адаптации, благоприятствовавшей появлению «продуктивной экономики» в определении советского археолога

В.А. Башилова. Башилов, не будучи знаком с работами М. Мосли, начал разрабатывать темы, связанные со становлением Андской цивилизации еще с 1975 г., хотя его монография вышла в свет только в 1999 г. До этого выводы, сделанные Башиловым, были представлены в статьях 1979, 1982, 1983, 1998 гг.⁹

Уникальность работы Башилова заключается прежде всего в том, что он попытался сопоставить известные ему на тот период данные о становлении сложных обществ как на побережье, так и в горной части Перу. Теоретическая база его исследования строилась на концепции «неолитической революции» Г. Чайлда и возможности ее применения при анализе данных памятников. Основным выводом данного исследования являлась гипотеза о том, что в регионе Косты и Сьерры Центральных Анд «неолитическая революция» проходила в двух направлениях: классическом (Сьерра) и атипичном (Коста). Атипичный путь, в определении Башилова, предполагает, что продуктивное хозяйство складывалось на основе присваивающей экономики без изменения его типа (высокопродуктивного морского промысла)¹⁰.

Дискуссия вокруг теории морских оснований Андской цивилизации за последние почти 40 лет не теряет своей актуальности, отвечая на все новые и новые вопросы.

Первоначально критика строилась на идее о невозможности сбалансированной диеты, которая могла бы быть основой стабильного демографического роста, на базе только морской пищи¹¹. В самых ранних критических статьях конца 1970-х гг. ставился под сомнение сам факт того, что цивилизация в Новом Свете могла зародиться не на основе маисового земледелия¹².

Действительно, фитолиты маиса встречаются в слоях с ранними датируемками и на побережье Эквадора (Лас Вегас, 6850–6810 тыс. л. н.¹³), и в Перу (Уака-Приета-Паредонес, 6775–6704 тыс. л. н.¹⁴), но основной аргумент противников идеи о широком распространении маисового земледелия в позднюю фазу «хлопкового горизонта» — отсутствие находок початков, стеблей и пр. На данном этапе состояния дискуссии о морской адаптации исследователи признают присутствие фитолитов маиса в слоях докерамического периода памятников побережья, но отмечают, что он не был основным компонентом диеты¹⁵.

Основным источником животного белка в диете древних перуанцев в докерамический период являлись морские продукты (анчоусы, рыба, моллюски). Анализ палеодиеты показал, что анчоусы, которые доминировали в промысле жителей побережья Анд, особенно богаты животным

белком и витаминами и могли обеспечивать стабильный демографический рост¹⁶. Однако стоит отметить, что современной андской историографии не хватает биоархеологических исследований костных останков с анализом стабильных изотопов, которые дали бы необходимые сведения об основных компонентах питания древних перуанцев региона Норте-Чико в исследуемый период. Подобные работы проводились на некоторых памятниках чилийского побережья, где сохранность костных останков лучше, а также к северу от центральноперуанского побережья (долина Касма, долина Виру, эквадорское побережье)¹⁷, но преимущественно они касаются времени рубежа н.э.

В недавних исследованиях палеодиеты жителей поселения Анкон показано, что и в более поздний период андской истории (Средний горизонт, 500–100 гг. н.э.) анчоусы, моллюски, морские птицы являлись основой питания жителей побережья, а анализ изотопов углерода в костных останках показал, что маис не являлся важным компонентом диеты вплоть до завоевания этих земель империей Уари¹⁸. С другой стороны, в новейших исследованиях памятников Норте-Чико показано, что фитолиты маиса были широко представлены в слоях поздней фазы докерамического периода, но, вероятно, использовались не початки, а стебли и листья (для приготовления алкогольных напитков)¹⁹.

Дальнейшая дискуссия о морских основаниях Андской цивилизации коснулась проблемы вероятных источников протеина и крахмала в диете древних жителей Косты. В новейших исследованиях²⁰ показано, что источниками крахмала служили корнеплоды (маниок, ачира, сладкий картофель), гуайява, авокадо, инга съедобная, при этом гипотеза Д. Уилсона о том, что ачира могла выступать основным компонентом диеты, была отвергнута²¹.

Мосли не отрицал, что растительная пища, а также сельскохозяйственные культуры начинают возделываться еще в докерамический период в поймах рек в летний сезон, но считал, что первоначально развивалось возделывание именно технических культур, а доля съедобных маиса и корнеплодов была незначительной.

В современной историографии продолжает доминировать идея о том, что «морские корни» Андской цивилизации (морская пища, богатая протеином) в позднюю фазу докерамического периода были дополнены земледельческой системой, ориентированной на технические культуры (хлопок, тыква-горлянка)²². Данные технические культуры проникают в Южную Америку с первыми волнами миграции палеоиндейцев, начиная процесс «неолитической эволюции», то есть постепен-

ной доместикации растений часто для нужд присваивающего хозяйства²³. Данный термин в американской археологии впервые был введен Р. МакНейшем еще в конце 60-х гг.²⁴

Древнейшие датировки макроботанических остатков тыквы-горлянки на перуанском побережье — 8800 л.н. (Палома) и 8445–8395 л.н. (Кебрада-Хагуай)²⁵. Древнейшие датировки для хлопка на тихоокеанском побережье получены на поселении Реаль-Альто в Эквадоре (культура Вегас-Вальдивия, 3500–2500 гг. до н.э.²⁶), в то время как самый древний хлопок в Перу датирован 5490 л.н. (долина Санья) и 5500 л.н. (Анкон-Чильон)²⁷, а образцы тканей были найдены в горном Перу (пещера Гитарреро, 8 тыс. лет до н.э.²⁸).

Еще одним до сих пор актуальным контраргументом теории «морских оснований» Андской цивилизации стало утверждение о том, что модель Мосли работает только для памятников региона Норте-Чико.

Действительно, Норте-Чико, и в особенности его центральная долина Супе, являются регионом особо высокой концентрации памятников с докерамическим слоем (30 памятников площадью от 10 до 200 га, среди которых самые изученные — Асперо и Караль). На побережье Норте-Чико самыми крупными докерамическими центрами, сконцентрированными в прибрежной 25-километровой полосе, являются Асперо, Бандуррия и Бермехо, и подобных синхронных памятников в других регионах тихоокеанского побережья Центральных Анд попросту нет.

Часто аналогичным называют памятник Эль-Параисо в долине Чильон, южнее Норте-Чико, но этот памятник демонстрирует как морскую адаптацию, так и активное присутствие зерновых и корнеплодов в диете населения, что было, видимо, обусловлено его удаленностью на несколько км от побережья.

При высокой степени изученности центральноперуанского побережья до начала XXI в. отсутствовали региональные исследования побережья, нацеленные на масштабный обзор и выявление всех сохранившихся памятников докерамического периода.

В 2002 г. стартовал археологический проект Норте-Чико Музея естественной истории им. Филда (Proyecto Arqueológico Norte-Chico), направленный на изучение долин к северу от долины Супе — Уаура, Пативилка, Форталеса. На памятниках исследуемого региона была получена серия радиоуглеродных дат. Большая часть обследованных поселений (12 из 13) дала датировки позднего докерамического периода (3100–1800 гг. до н.э.)²⁹.

Согласно картине, полученной в результате разведок и раскопок 2001–2004 гг., строительство монументальных центров (как церемони-

альных построек, так и резиденций) начинается примерно в III тыс. до н.э. Около 2500 г. до н.э. 10 из этих памятников начинают значительно увеличиваться в размерах, а к 2000 г. до н.э. прослеживается бытование уже 30 крупных комплексов с монументальной архитектурой разного уровня (как пирамидальных построек, так и углубленных площадей), среди которых выделяются Ла-Гальгада, Эль-Параисо, Уака-Приета, Ас-перо³⁰. В последние годы археологические исследования проекта сфокусированы на изучении памятников средней площади, таких как Уариканга в долине Форталеса.

Данные, полученные в ходе работы проекта, дали очередной толчок дискуссии о «морских основаниях» андской цивилизации. В 2006 г. вышла статья Дж. Хааса и У. Криммер «Испытание Андской цивилизации: перуанское побережье 3000–1800 л.н.»³¹, имевшая большой резонанс. Основной темой дискуссии стала проблема датировки внутриматериковых и прибрежных памятников.

Еще в конце 1980-х гг. Ф. Энгель и Зехентер положили начало изучению материковых памятников долины Супе, в том числе Чупасигарро Гранде, теперь известное как Караль — памятник общей площадью 66 га, датированный III тыс. до н.э., истинное открытие которого связано с именем перуанского археолога Рут Шейди. Его исследование позволило руководителю проекта «Караль-Супе» выдвинуть идею о первом государстве, возникшем в конце IV–III тыс. до н.э., то есть еще в докерамический период.

Критики теории о «морских основаниях» Андской цивилизации заявили о том, что ранее шло развитие сложных обществ в регионе Сьерры, а прибрежные памятники строились позднее и под влиянием региональных центров типа Каралья³². Таким образом, не рыболовство и морской промысел были первопричиной появления сложных обществ, начавших строительство монументальных памятников, а комплексная экономика, в которой сельское хозяйство играло важную роль.

Целью проекта «Норте-Чико» в долине Форталеса было изучение именно внутриматериковых памятников, и изначально исследователи предполагали, что эти церемониальные центры будут древнее, чем памятники побережья. Однако условия худшей сохранности памятников Сьерры в этих долинах делает невозможным восстановление полной картины социально-экономического развития в исследуемый период³³. М. Мосли, Р. Шейди, Д. Сендвейс выступили с критикой данной гипотезы и показали, что, во-первых, рыба и морская птица являлись основным источником белков и протеина во многих поселениях, удаленных

от берега на десятки километров, а во-вторых, невозможно разделить взаимозависимое развитие Косты и Сьерры.

В 2013 г. вышла коллективная монография, посвященная исследованиям долине Форталеса, авторы которой попытались подвести итог дискуссии об уникальном развитии региона Норте-Чико в докерамический период. Авторы проекта пришли к выводу о том, что район Норте-Чико не может считаться «материнской культурой» для всей Андской цивилизации, а его «преждевременное» развитие следует рассматривать в контексте изучения всего тихоокеанского побережья Южной Америки³⁴. Поиски же «истоков» данной цивилизации следует углубить: освоение богатейшей акватории эквадорского, перуанского и чилийского побережий начинается еще в средней фазе докерамического периода (7000–3000 гг. до н.э.)³⁵.

В последние десятилетия при исследовании проблемы ранних этапов становления Андской цивилизации и самой стратегии приморской адаптации на тихоокеанском побережье Южной Америки ученые обратились к данным палеоклиматологии и палеогеографии. Д. Сендвайс в своих работах предложил теорию особых экологических условий Норте-Чико, определивших раннее развитие и неожиданный упадок сложных обществ докерамического периода³⁶.

На рассматриваемом отрезке времени (VII — начало II тыс. до н.э.) на территории Центральных Анд отсутствовали глобальные изменения климата. В то же время в условиях крайне хрупкого экологического баланса на побережье даже небольшие локальные изменения климатических условий оказывали заметное влияние на условия жизни населения, особенно на ранних этапах его развития³⁷.

Данные палеогеографических исследований подтверждают, что уровень моря стабилизировался примерно 7000 лет назад в среднем голоцене, определив, таким образом, природно-климатические особенности тихоокеанского побережья, которые безусловно повлияли на культурное развитие региона в докерамический период.

Примерно 5800 лет назад (то есть в среднюю фазу докерамического периода) к берегам перуанского побережья возвращается Эль-Ниньо (после перерыва в несколько тысячелетий) — теплое течение, с которым связаны периодические катастрофические явления, игравшие огромную роль в жизни как побережья, так и горной части Центральных Анд. Возвращение Эль-Ниньо, по всей видимости, привело к нескольким большим наводнениям, следы которых можно обнаружить на прибрежных и удаленных от берега памятниках долины Супе (Д. Сендвайс и его

коллеги в своем обзоре базируются на данных последних раскопок в Карале, Асперо, Мирайя, Чупасигарро³⁸). Раскопки Р. Шейди также показали, что на финальных этапах позднего докерамического периода имели место сильные оползни, вызванные не только наводнениями, но и землетрясениями. Данные сейсмологов указывают на периодичность сильных землетрясений в регионе Центральных и Южных Анд (в среднем дважды в год).

Кроме явного экстремального природного фона, связанного с активизацией Эль-Ниньо и частыми землетрясениями, на природно-климатические условия в регионе Норте-Чико оказали влияние и опосредованные геологические процессы. Вероятно, к концу поздней фазы докерамического периода возникает так называемый Медо-Мундо, песчанно-галечный вал, протянувшийся вдоль северной части центральноандского побережья Перу примерно на 10 км. Этот вал сформировался из речных наносов (после наводнений и оползней, вызванных Эль-Ниньо). Формирование Медо-Мундо привело к аридизации побережья в регионе Норте-Чико (появлению песчаных дюн под действием береговых ветров, исчезновению небольших бухт и заливов, которые превратились в песчаные равнины). Вал блокировал ранее пригодные для жизни бухты долины Супе, которые до конца докерамического периода вдавались в глубь континента примерно на 3 км. Такое изменение береговой линии привело к оскудению морских ресурсов³⁹. Кроме того, аридизация и запесчанивание побережья привели к сокращению площади, пригодной для сельского хозяйства земли (вне зависимости от того, какие культуры выращивались на побережье).

Храмовые комплексы долины Супе приходят в упадок примерно 1800–1600 гг. до н.э., причем в культурном слое этих памятников прослеживается песчаная прослойка, перекрытая слоями уже Начального периода (1800–800 гг. до н.э.), но на этом этапе долина Супе уже явно приходит в упадок⁴⁰.

Учитывая количество накопленных за последние 30 лет материалов, концепция морской адаптации и постулаты ее противников нуждаются в уточнении, а памятники севера центрального побережья Перу до сих пор в мировой историографии являются объектом дискуссии о природе формирования сложных обществ.

Очевидно, что необходимо гораздо больше археологических и палеоэкологических исследований для того, чтобы понять значение дифференцированных факторов в развитии ранних оседлых обществ Южной Америки, а также сходства и различия в различных моделях становления продуктивной экономики в Новом Свете.

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РФНФ № 14-31-01294 «Неолитизация в Южной и Центральной Америке: новейшие исследования и подходы» и Программы стратегического развития РГГУ.

² *Moseley M.E.* Maritime Foundations of Andean Civilization. Cummings, Menlo Park, California, 1975.

³ *Березкин Ю.Е.* Модели среднemasштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток, 1995. С. 94–104.

⁴ *Березкин Ю.Е.* Между общиной и государством. Среднemasштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб., 2013. С. 16–50.

⁵ *Quilter J.* The Ancient Central Andes. Routledge: New York, 2014. P. 64.

⁶ *Башилов В.А.* «Неолитическая революция» в Центральных Андах: две модели палеоэкономического процесса. М., 1999.

⁷ *Bird J.B.* Excavations in Northern Chile // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. Vol. 38, part 4. 1943.

⁸ *Fung Pineda R.* El temprano surgimiento en el Peru de los sistemas sociopolíticos complejos: planteamiento de una hipótesis de desarrollo original // Apuntes arqueológicos. Vol. 2. Lima, 1972.

⁹ *Башилов В.А.* Общие закономерности и специфика «неолитической революции» в Перу // Древние культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. Новосибирск, 1979; *Башилов В.А.* «Neolithic revolution» in Peru: some general aspects of the historical process // Actas del X Congreso Internacional de Ciencias prehistoricas y protohistoricas. Mexico, D.F., Oct. 19–24. 1981. Mexico, 1982; *Башилов В.А.* Темпы исторического процесса в важнейших центрах «неолитической революции» // Исторические судьбы американских индейцев. Проблемы индеанистики. М., 1985.

¹⁰ *Башилов В.А.* «Неолитическая революция» в Центральных Андах: две модели палеоэкономического процесса. М., 1999. С. 156–157.

¹¹ *Raymond J.S.* The Maritime Foundations of Andean Civilization: A Reconsideration of the evidence // American Anthropologist. 1981. Vol. 46. № 4. P. 806–821.

¹² *Myers T.P.* The Maritime Foundations of Andean Civilization: Review // American Anthropologist. Vol. 78. No. 2 (Jun., 1976). P. 472; *Raymond J.S.* The maritime foundations of Andean civilization: A reconsideration of the evidence // American Antiquity. № 46, 1981. P. 806–821.

¹³ *Pearsall D.M.* Plant Domestication and the Shift to Agriculture in the Andes // Handbook of South American Archaeology / Ed. by H. Silverman, B. Isbell. New York, 2008. P. 105–143.

¹⁴ *Grobman A., Bonavia D., Dillehay T.D., Piperno D.R., Iriarte J., Holst I.* Preceramic maize from Paredones and Huaca Prieta, Peru // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Vol. 109. 2012. P. 1755–1759.

¹⁵ *Quilter J.* Op. cit. P. 91–95.

¹⁶ *Chu Barrera A.* Household organization and social inequality at Bandurria, a Late Preceramic village in Haura, Peru. Lima, 2011. P. 241.

¹⁷ *Aufderheide A.C.* Contributions of Chemical Dietary Reconstruction to the Assessment of Adaption by Ancient Highland Immigrants to Coastal Conditions at Pisagua, North Chile // Journal of Archaeological Science. Vol. 21. 1994. P. 515–524; *Tykot R.H., Merwe van der N.J., Burger R.* The Importance of Maize in Initial Period and Early Horizon Peru // Histories of Maize. Elsevier, 2006. P. 187–197.

¹⁸ *Slovak N.M., Paytan A.* Fisherfolk and Farmers: Carbon and Nitrogen Isotope Evidence from Middle Horizon Ancón, Peru // International Journal of Osteoarchaeology.

2009. Режим доступа: http://pmc.ucsc.edu/~araytan/publications/2009_Articles/solvak%20and%20paytan%202009.pdf. Дата обращения 25.02.2014.

¹⁹ *Haas J., Creamer W., Huamán Mesia L., Goldstein D., Reinhard K., Rodríguez C.V.* Evidence for maize (*Zea mays*) in the Late Archaic (3000–1800 B.C.) in the Norte Chico region of Peru // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. 2013. Vol. 110. № 13. P. 4945–4949.

²⁰ *Quilter J.* Op. cit. P. 92–93.

²¹ *Wilson D.J.* Of Maize and Men: A Critique of the Maritime Hypothesis of State Origins on the Coast of Peru // *American Anthropologist*. Vol. 83. № 1 (Mar., 1981). P. 93–120.

²² *Sandweiss D.H.* Early Fishing and Inland Monuments: Challenging the Maritime Foundations of Andean Civilization // *Andean Civilization: Papers in Honor of Michael E. Moseley* / Ed. by J. Marcus, C. Stanish, R. Williams. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, 2009. P. 50.

²³ *Quilter J.* Op. cit. P. 76.

²⁴ *MacNeish R.* A Speculative Framework of Northern North American Prehistory as of April 1959 // *Anthropologica*. 1959. № 1 (1–2). P. 7–23.

²⁵ *Piperno D.R.* The Origins of Plant Cultivation and Domestication in the New World Tropics: Patterns, Process, and New Developments // *Current Anthropology*, 2011. Vol. 52. № S4. P. S453–S470.

²⁶ *Pearsall D.M.* Plant Domestication and the Shift to Agriculture in the Andes // *Handbook of South American Archaeology* / Ed. by H. Silverman, B. Isbell. New York, 2008. P. 110.

²⁷ *Dillehay T., Rossen J., Andres T., Williams D.* Pre-ceramic Adoption of Peanut, Squash, and Cotton in Northern Peru // *Science*. Vol. 316. 2007. P. 1890–1893.

²⁸ *Quilter J.* Op. cit. P. 93–94.

²⁹ *Creamer W., Alvaro Ruiz R., Munguia M., Haas J.* The Fortaleza Valley, Peru: Archaeological Investigation of Late Archaic Site (3000–1800 BC). Chicago: Field Museum of Natural History, 2013.

³⁰ *Creamer W., Alvaro Ruiz R., Munguia M., Haas J.* Op. cit. P. 1–3.

³¹ *Haas J., Creamer W.* The crucible of Andean civilization // *Current Anthropology*. 2006. Vol. 47. P. 745–775.

³² *Haas J., Creamer W.* Op. cit. P. 745–775; *Raymond J. S.* The maritime foundations of Andean civilization: A reconsideration of the evidence // *American Antiquity*. № 46. 1981. P. 806–821.

³³ *Haas J., Creamer W.* Op. cit. P. 750.

³⁴ *Creamer W., Alvaro Ruiz R., Munguia M., Haas J.* Op. cit. P. 62.

³⁵ *Quilter J.* Op. cit. P. 93.

³⁶ *Sandweiss D.H.* Early Fishing Societies in Western South America // *The Handbook of South American Archaeology* / Ed. by H. Silverman, B. Isbell. New York, 2008. P. 145–156.

³⁷ *Башилов В.А.* «Неолитическая революция» в Центральных Андах: две модели палеоэкономического процесса. М., 1999. С. 25.

³⁸ *Sandweiss D.H., Shady R., Moseley M.E., Keefer D.K., Ortloff Ch.R.* Environmental change and economic development in coastal Peru between 5,800 and 3,600 years ago // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. Vol. 106, 2009. P. 1359–1363.

³⁹ *Sandweiss D.H., Shady R., Moseley M.E., Keefer D.K., Ortloff Ch.R.* Op. cit. P. 1362–1363.

⁴⁰ *Ibid.* P. 1363.

**ПРАКТИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
И ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Сукина Людмила Борисовна

НОУ ВПО Институт программных систем
«УГП имени А.К. Айламазяна»,
г. Переславль-Залесский

***Аннотация:** Статья посвящена источниковедческому исследованию произведений русской средневековой иконописи, интерес к которому вновь обозначился в последние годы в отечественной историографии. В отличие от памятников западно-европейского средневекового искусства, строгая каноничность и глубокая символичность иконописных изображений ставит перед исследователем преграду, преодолеть которую можно только с помощью междисциплинарных методов, учитывая опыт не только исторического источниковедения, но и достижения других гуманитарных дисциплин (в первую очередь искусствоведения и истории древнерусской литературы). Благодаря применению междисциплинарных методов икона становится историческим источником, информация которого может оказаться чрезвычайно ценной в рамках историко-культурного или историко-антропологического исследования.*

***Ключевые слова:** исторический источник, источниковедение, икона, иконография, междисциплинарное исследование.*

Историк русского Средневековья постоянно сталкивается с проблемой отсутствия синхронных изучаемой эпохе визуальных образов. Но произведения иконописи редко привлекаются исследователями в качестве исторических источников. Даже историками культуры они чаще всего используются всего лишь для иллюстрации выводов, сделанных на основе изучения письменных источников. Отечественная историческая наука обращалась к источниковедческому исследованию икон и иных произведений древнерусского изобразительного искусства, а также памятников архитектуры лишь эпизодически¹. И эти новаторские подходы, как правило, не получали дальнейшего развития и продолжения в творчестве других исследователей. Вероятно, главная причина этого — неочевидность информационной ценности данных источников для историков. Их смыслы не лежат на поверхности, и их нельзя легко

«снять» традиционными приемами внешней и внутренней критики источника. Поэтому перед исследователем неизбежно встает задача разработки специальных методов источниковедческого анализа, подходящих для этого вида источников.

В то же время источниковый потенциал средневекового изобразительного искусства очевиден. Историки культуры и медиевисты, занимающиеся исторической антропологией, давно используют его в своих работах, связанных с изучением менталитета человека западноевропейского Средневековья (Й. Хейзинга, Ж. Ле Гофф, А.Я. Гуревич и др.). Историки русского Средневековья имеют в своем распоряжении не менее мощный пласт художественных памятников. Произведения иконописи, особенно XVI–XVII вв., сохранились в большом количестве и представляют собой, по сути, массовые изобразительные источники. Но русская икона, визуализирующая религиозную картину мира восточного христианства, требует раскрытия ее содержания и смысла на основе особых герменевтических подходов, прежде чем ее можно будет использовать в качестве источника изучения сознания человека и общества допетровской Руси. Строгая каноничность и глубокая символичность иконописных изображений ставит перед исследователем преграду, преодолеть которую можно только с помощью междисциплинарных методов, учитывая опыт не только исторического источниковедения, но и достижения других гуманитарных дисциплин (в первую очередь искусствоведения и истории древнерусской литературы).

Автор оригинальной методики источниковедческого изучения иконописи В.А. Плагин дал почти исчерпывающую характеристику иконы в качестве исторического источника: «Специфика иконы как источника заключается прежде всего в том, что, как всякое произведение искусства, она отражает образ мышления создавшего ее мастера (и в конечном счете общественную идеологию) гораздо более опосредованно, чем летопись или акт. А как произведение изобразительного искусства, ставит дополнительную задачу расшифровки ее образного языка. Наконец, как типичное порождение культуры Средневековья, обслуживающее прежде всего религиозные потребности общества, икона ограничена определенным кругом отвлеченных церковных сюжетов, а внутри каждого из них традиционной схемой его изображения (иконография), за которой не так легко разглядеть реальное историческое лицо художника и его эпохи»².

При исследовании мировоззрения Андрея Рублева на основе источниковедческого изучения его произведений В.А. Плагин, в силу идеологических ограничений, в условиях которых приходилось работать исто-

рику в 60–70-е гг. XX в., сосредоточил свое внимание на «общественной идеологии», формировавшей мышление автора знаменитой «Троицы». Для расшифровки смыслов работ Андрея Рублева он привлек широчайший круг письменных источников: летописи, акты, памятники агиографии, богословские и полемические сочинения. В гораздо меньшей степени им был использован иконографический метод, доказавший свою эффективность в искусствоведческом исследовании иконописи.

Введенный в практику отечественной науки знатоками русских древностей Ф.И. Буслаевым, Н.П. Кондаковым, Н.П. Лихачевым, Н.В. Покровским иконографический метод был вновь актуализирован на рубеже XX — XXI вв. в работах А.Л. Баталова, И.Л. Бусевой-Давыдовой, Н.В. Квливидзе, Н.И. Комашко, А.М. Лидова, В.Д. Сарабьянова, И.А. Шалиной, О.Е. Этингф и др., посвященных изучению русского средневекового искусства и архитектуры. Особенностью «нового» иконографического анализа является его комплексность, учитывающая исторические, филологические и богословские особенности исследуемых памятников³.

При источниковедческом изучении произведения иконописи исследователь неизменно сталкивается и с проблемой «геометрических противоречий» обратной перспективы. Б.В. Раушенбах, в 1970–1980-х гг. плодотворно занимавшийся вопросами формально-математического обоснования приемов перспективных построений в живописи, отмечал: «Если пытаться найти рациональные корни геометрических “странностей” средневекового искусства, в частности сильной обратной перспективы, то надо учитывать одновременное действие примерно десятка причин, из которых связанные с теорией перспективы не составляют и половины. Всякая попытка найти одну такую причину (ошибка, которую очень часто делают) заранее обречена на неудачу»⁴. Изучив перспективные построения в древнерусском искусстве, Б.В. Раушенбах пришел к выводу о необходимости исследовательской процедуры, направленной на выявление использованных создателем конкретного произведения методов обратной перспективы и необходимости их использования⁵. Без этого невозможно достичь понимания того, как древнерусский художник и зритель видели и представляли реальный и иллюзорный миры иконного изображения. С точки зрения ученого, причины появления в древнерусском искусстве изображений, построенных в обратной перспективе можно собрать в три группы: «во-первых, это следствие неискаженной передачи своего зрительного восприятия близких областей пространства, во-вторых, это следствие того, что объемные тела, транс-

формированные механизмами константности, неизобразимы без искажений, и попытка передать главное неискаженным может приводить к достаточно сильной обратной перспективе, и наконец, в-третьих, это следствие побочных перспективных эффектов в результате трансформаций изображений в связи с другими целями, обычно более непосредственно зависимыми от художественной природы образа»⁶.

В свое время публикации Б.Р. Раушенбаха были встречены в искусствоведческой среде с некоторым предубеждением, впрочем, вполне естественным для гуманитариев, в чью епархию вторгся представитель математического знания. Но современный поворот в сторону иконографии вновь придает актуальность изучению перспективных построений в иконописи и их значения для содержания и смысла произведения древнерусского искусства.

В последние годы мы уже можем наблюдать определенные качественные сдвиги в привлечении изобразительных источников к историческому исследованию. Иконографические и семиотические аспекты образов зла в изобразительном искусстве русского Средневековья рассматриваются в работах Д.И. Антонова и М.Р. Майзульса⁷. А.Л. Юрганов в своих недавних публикациях обратился к решению сформулированной В.А. Плугиным задачи расшифровки художественного языка древнерусского искусства и применил этот метод в изучении миниатюр Лицевого свода⁸.

Вышеназванные и другие пока немногочисленные опыты исследования историками таких сложных изобразительных источников, как произведения иконописи и книжной миниатюры, для достижения конкретных целей понимания тех или иных явлений и особенностей русской средневековой культуры, несомненно, по-своему успешны. Кроме того, они демонстрируют наличие в профессиональном сообществе потребности в источниковедении иконописи.

И все же публикации последнего времени, как историков, так и искусствоведов, свидетельствуют о том, что дешифровка художественного языка иконописи, понимание которого ведет к раскрытию подлинного (или приближенного к таковому) содержания и смысла произведений средневекового искусства, их роли в реконструкции индивидуального и коллективного сознания человека прошлого, ведется пока в полидисциплинарном, а не в междисциплинарном ключе. Специалисты-искусствоведы не испытывают особого интереса к источниковедческой теории и практике. Историки, в свою очередь, пользуются методами иконографического анализа преимущественно инструментально, не

углубляясь в его методологические тонкости и не обращаясь к его прошлому опыту.

Достоинством современных искусствоведческих исследований иконописи является то, что их авторы отказались от предельно формализованного так называемого «стилистического анализа» произведений, главными составляющими которого были разбор композиции, колористической гаммы и других «технических» приемов работы средневекового мастера, а также псевдоисторических трактовок содержания, когда выбор сюжета и иконографии объяснялись исключительно политической обстановкой или связывались с конкретными событиями прошлого, когда это удавалось сделать, вписывалось в тот или иной историографический миф. Так «Троица Ветхозаветная» в изводе Андрея Рублева становилась символом борьбы с татарским игом⁹, а «Троица Новозаветная» якобы воплощала собой идеологему «Москва — Третий Рим»¹⁰.

Современный иконографический и семантический анализ сюжетов и композиций икон позволяет уйти от «удобных» объяснений их содержания и приблизиться к пониманию того, какого рода информацию «считывали» при их лицезрении современники создавших эти произведения художников. Но историки искусства, стремясь строго соблюдать «границы иконографического метода» и сознательно уклоняясь от интерпретационных приемов толкования смысла иконных изображений, нередко впадают в другую крайность. Описания произведений сводятся к их богословскому истолкованию, а также к своего рода статистическому отчету, в котором перечисляются возможные образцы и аналогии иконографии, а также упоминания памятника в исторических источниках, и приводится хронология его бытования¹¹. Эти описания, лишенные культурно-исторического контекста, помещают произведения иконописи в герметически закрытое поле «чистого» искусствоведения, внутри которого как бы исключается сама постановка вопроса об интенциях «интеллектуального выбора»¹² той части общества, которая прилагала усилия для создания и воспроизведения тех или иных иконных образов и распространения их почитания.

Между тем в сравнительно недавней истории гуманитарного знания мы можем обнаружить работы, которые для своего времени могут считаться образцом междисциплинарного подхода к исследованию иконописных произведений. Это в первую очередь классический, неоднократно переиздававшийся труд А. Грабара «Император в византийском искусстве»¹³. Анализируя различные типы изображения императоров и членов императорской семьи, отдельные памятники, исследователь

осуществляет объемную и кропотливую работу по выявлению исторических обстоятельств и богословской подоплеки императорских иконописных «портретов», источников их иконографии. Подспорьем научной реконструкции истории создания каждого императорского образа служат памятники византийского светского и канонического права, историографии, агиографии, литературы, искусства, эпиграфики, сфрагистики и т. п. Конечно, такая работа требовала широчайшей научной эрудиции, которой обладал А. Грабар, но другого пути познания иконописных произведений, чтобы они стали полноценными историческими источниками (в данном конкретном случае источниками изучения способов и идеологических основ репрезентации власти императора Византии его подданным), по-видимому, нет.

В древнерусском искусстве не сохранилось такого количества княжеских изображений, чтобы можно было в полной мере повторить опыт А. Грабара (естественно, на современном уровне научной методологии и методики), но все же обращение к проблеме репрезентации княжеской власти в русском средневековом искусстве вполне правомерно. Вероятно, при этом несколько изменится ракурс исследования и круг источников, которые придется «подключить» для раскрытия содержания княжеской иконографии. Ведь если в домонгольский период можно говорить о преобладании ктиторских изображений князей, включающих элементы портрета (как это было и с византийскими императорами), то в более позднее время акцент смещается на образы святых князей, удостоенных церковной канонизации. На место изображения земного облика князя приходит изображение его облика небесного, созданного по иконографическому канону определенного типа (страстотерпца, благоверного правителя или православного воина). Такие иконописные изображения не позволяют изучать, условно говоря, внешнее обличие того или иного деятеля русской истории, но дают возможность рассуждать о том, как светская и церковная власть стремилась представить своих предшественников современникам и потомкам. Конечно, в таких рассуждениях в обязательном порядке придется учесть сведения летописей, информацию, содержащуюся в агиографических сочинениях, иконописных подлинниках, выявить иконографические источники образов святых князей, то есть выйти на междисциплинарный уровень.

Плодотворность междисциплинарного подхода проверена на практике. Именно он при исследовании известной иконы «Древо государства Российского» позволил автору данной статьи установить, что основным образцом изображения родословия русских князей и царей являют-

ся не западноевропейские генеалогические древа, как считалось ранее, а древо рода Иессеева, изображения которого были распространены в поствизантийском православном искусстве. Таким образом, в этом случае речь идет не о земной, а о небесной генеалогии царской власти в России, поэтому наряду с членами династии в древе на иконе на полном основании присутствуют святые — молитвенники за московских государей¹⁴.

Иконопись — важный и незаменимый источник исследования массового религиозного сознания допетровской Руси. Его не могут характеризовать письменные источники, так как рядовое население страны принадлежало к так называемому «безмолвствующему большинству» (хотя точнее, наверное, его следует назвать «бесписьменным», то есть не создающим и не читающим текстов богословского, полемического, исторического содержания). Для него религиозные и большая часть государственных и социальных идей транслировались посредством церковной службы. О содержании богослужений мы можем судить лишь приблизительно по сохранившимся богослужебным книгам с пометами для священников, поэтому не имеем возможности с уверенностью говорить о том, что слышал простой человек в течение жизни в храме, а уж тем более, что он понял из услышанного. Но благодаря сохранившимся иконам, фресковым росписям храмов, храмовым описям мы знаем, что он видел, как менялся набор визуальных образов веры в процессе укрепления «древлего православия» и церковных реформ.

В исследовании массового иконописания мы сталкиваемся с несколько иными проблемами, чем те, которые пришлось решать В.А. Плугину при реконструкции мировоззрения Андрея Рублева. Большинство изографов, создававших множество икон для столичных и провинциальных храмов, не было склонно и способно к глубокой богословской рефлексии и не было вхоже в круг крупных религиозных мыслителей своего времени. Они выполняли заказ, сформированный церковнослужителями или светскими заказчиками-ктиторами, также далеко не всегда обладавшими достаточным для глубокого богословского понимания иконописного образа уровнем грамотности. Поэтому при изучении появившегося в результате сотрудничества заказчика и иконописца произведения выстраивается иной герменевтический контекст. Заметное место в нем занимают канонические установления церкви, зафиксированные в решениях церковных соборов, патриарших и царских грамотах, в «службах» чудотворным иконам, агиографии. Но это обстоятельство не меняет самой сути междисциплинарного подхода, который необхо-

дим для успешной реализации источниковедческого исследования произведения иконописи.

При источниковедческом изучении икон следует учитывать то обстоятельство, что часть произведений создавалась за пределами русских земель. Но кем и когда точно они были написаны, не всегда удается установить. И дело касается не только таких древних произведений, как «Богоматерь Владимирская», но и некоторых икон значительно более позднего времени. Тем не менее и они могут быть подвергнуты источниковедческому исследованию с целью выяснения их идейного содержания и его влияния на новое культурное окружение вывозного произведения. Такое влияние часто бывает значительным. Так, например, выкупленная в Персии в 1620-е гг. икона Грузинской Богородицы стала главной святыней Архангельской и Холмогорской епархий. Ее неоднократно вывозили в города, расположенные вдоль Беломорского пути, и во многих из них были ее копии. Служба ей, составленная смотрителем московской типографии и преподавателем славяно-греко-латинской академии Федором Поликарповым и архиепископом холмогорским и важским Афанасием, также разошлась в списках по этим городам. Таким образом, источниковедческое изучение любого из списков иконы (местонахождение ее чудотворного подлинника, привезенного из Персии, в настоящее время неизвестно) должно учитывать все эти аспекты и включать в себя элементы не только искусствоведческого, но и филологического и культурологического исследования.

Источниковедческое изучение любого памятника иконописи должно начинаться с его археографического описания, параметры которого можно избрать, учитывая опыт составления искусствоведческих каталогов, так как мы имеем дело, в первую очередь, с произведением изобразительного искусства. Как и у письменного источника, мы обязаны установить, что он собой представляет в вещественном смысле, то есть указать технико-технологические особенности изготовления (в данном случае, доска, красочный слой, размеры, форма). К числу важных сведений относится информация о времени и месте реставрации иконы, если таковая (таковые) имела место, так как в отличие от письменного источника произведение иконописи может подвергнуться во время реставрации настолько серьезным изменениям, что они окажут существенное влияние на суждения о внешнем облике памятника. И наоборот, если памятник не был освобожден реставраторами от записей позднего времени, наше представление о деталях его иконографии может оказаться ошибочным. Так же, как и у письменного источника, необходимо уста-

новить происхождение иконы (если это возможно) и историю ее бытования.

Но в отличие от письменного источника, в случае с произведением иконописи мы имеем дело не с текстом, а с изображением. При его «прочтении» оказываются необходимы методы иконографического анализа. Они позволяют расшифровать сюжет иконы и его содержание. Далее должен следовать поиск богословских трактовок сюжета синхронных времени создания произведения, что дает возможность достичь более полного понимания того, какие идеи это произведение могло транслировать современникам. Для икон сравнительно позднего времени, преимущественно XVII в., может быть установлена литературная основа (редакция жития святого, службы иконе Богородицы и т. п.).

В программу источниковедческого исследования иконы необходимо включить установление связей этого произведения с другими культурными явлениями эпохи, деталей биографии его автора (если он известен), культурного фона, на котором разворачивалось его творчество, художественных приемов, характерных для творческой индивидуальности данного мастера и для искусства данного времени в целом.

Лишь при достаточно полной и глубокой проработке всех перечисленных выше аспектов с применением междисциплинарных методов икона становится историческим источником, информация которого может оказаться чрезвычайно ценной в рамках историко-культурного или историко-антропологического исследования.

¹ *Арциховский А.В.* Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944; *Воронин Н.Н.* Архитектурный памятник как исторический источник (Заметки к постановке вопроса) // Советская археология. М., 1954. Вып. 19. С. 41–76; *Подобедова О.И.* Миниатюры русских исторических рукописей (К истории русского лицевого летописания). М., 1965; *Плугин В.А.* Мировоззрение Андрея Рублева (Некоторые проблемы): Древнерусская живопись как исторический источник. М., 1974.

² *Плугин В.А.* Мировоззрение Андрея Рублева. С. 3–4.

³ *Баталов А.Л.* К интерпретации архитектуры собора Покрова на Рву: (О границах иконографического метода) // Иконография архитектуры: Сб. науч. трудов М., 1990. С. 15–37; *Квливидзе Н.В.* Иконография // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. XXII. С. 44–47; и др.

⁴ *Раушенбах Б.Р.* Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986. С. 100.

⁵ *Раушенбах Б.Р.* 1) Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975; 2) Пространственные построения в живописи. М., 1980. С. 94–139.

⁶ *Раушенбах Б.Р.* Пространственные построения в живописи. С. 137.

⁷ Антонов Д.И. «Пестрый зверь рысь»: антихрист в средневековой иконографии // Россия XXI. 2011. № 2. С. 30–49; № 3. С. 22–51; Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии. Семиотика образа. М., 2011; и др.

⁸ См., например: Юрганов А.Л. Художественный язык Древней Руси как проблема (на примере Лицевого свода Ивана Грозного) // Россия-XXI. 2013. № 3. С. 110–131.

⁹ См., например: Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования Русского национального государства. М., 1946. С.15, 33; Демина Н.А. Троица Андрея Рублева. М., 1963; и др.

¹⁰ Брюсова В.Г. Композиция «Новозаветной Троицы» в стенописи Успенского собора (к вопросу о содержании наружных росписей) // Успенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1985. С. 87–99.

¹¹ См., например, тщательно выполненные исследования об иконографии и почитании различных богородичных образов: Щенникова Л.А. Великая святыня России. М., 2010; Гусева Э.К. Грузинская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. XIII. С. 188–190; и др.

¹² Здесь мы используем понятие «интеллектуального выбора», предложенное М.С. Киселевой (Киселева М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011).

¹³ Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000 (первое издание вышло в Париже в 1936 г.).

¹⁴ Подробнее см.: Сукина Л.Б. «Наглядная» генеалогия великих князей и царей в русской культуре XVII в. // Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве гуманитарного знания: материалы XXI междунар. науч. конф. Москва, 29–31 янв. 2009 г. М.: РГГУ. С. 327–330.

«СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...»: ОПЫТ ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СМЕХА (НА ПРИМЕРЕ ПЕТРА I)

Мухин Олег Николаевич
Томский государственный
педагогический университет,
г. Томск

***Аннотация:** Цель статьи — продемонстрировать возможности, открывающиеся для исследователей при изучении исторического измерения смеха как социокультурного и психологического явления с помощью междисциплинарных технологий. В статье предпринимается попытка объяснить причины повышенного уровня смеха в Петровскую эпоху. Прослеживается связь стилистики смеха с ранними модернизационными процессами в России, с особенностями отечественного властного кода, спецификой преобразований. Акцент сделан на компенсаторной роли смеха для психики самого Петра как реформатора.*

***Ключевые слова:** смех, карнавальная культура, историческая психология, междисциплинарный синтез, модернизация, Петр I.*

Интерес гуманитарии к смеху имеет давнюю и устойчивую традицию, уходящую корнями в античность. И если долгое время на первом плане находились проблемы эстетические, то в XX в. внимание мыслителей все больше стала привлекать социокультурная роль смеха. Благодаря, в первую очередь, М.М. Бахтину, стал очевиден исторический характер этого явления: стилистика смеха отражает особенности эпохи своего бытования. Смех различных эпох и цивилизаций может отличаться по причинам, которые его вызывают, по формам своего проявления и по значению, которое он играет для людей смеющихся. Таким образом, открываются большие возможности для исторического анализа смеховых культур прошлого¹.

Однако историки, в особенности русисты, не спешат этим воспользоваться. Специальные исследования, посвященные анализу социокультурного смысла смеха в ту или иную эпоху отечественной истории, фактически отсутствуют. Исключение составляют работы, принадлежащие перу филологов — Д.М. Лихачева, Б.А. Успенского², А.М. Пан-

ченко³, В.М. Живова⁴. В большинстве этих исследований большое внимание уделяется эпохе Петра I. И не случайно. Этот период принадлежит к числу отмеченных особым всплеском смеховой активности, который непосредственно связан с личностью самого царя-реформатора. Следует отметить, что стилистика смеха проговаривается не только об особенностях того или иного общества, но и является отражением целостной структуры индивидуальной идентичности, ее позитивных и негативных качеств, кризисных состояний и т. п. В связи с этим анализ этой стилистики может и должен занимать важное место в историко-биографических исследованиях.

Жизнь Петра и как политического деятеля, и как «обычного» человека тесно связана со смеховыми мероприятиями. Речь, в первую очередь, идет о так называемом всешутейшем и всепьянейшем соборе. Отличительные черты этого явления хорошо известны, однако приходится констатировать, что имеющиеся на сегодняшний день толкования не объясняют полностью его смысла.

Первое, что бросается в глаза всем, писавшим о всешутейшем соборе, — очевидная антицерковная его направленность. Современники Петра, как, например, Ф. Вильбуа, французский моряк, состоявший на русской службе, или голштинский придворный Г.-Ф. Бассевич, считали, что царь-реформатор посредством осмеяния пытался ослабить привязанность своих подданных к предрассудкам старины, во многом олицетворяемым и защищаемым церковниками⁵.

Современные исследователи принимают эту версию. Б.А. Успенский прямо пишет, что князь-папа — это пародия на патриарха, причем пародирование предшествовало упразднению патриаршества⁶. При этом, вслед за очевидцами, он считает, что полемическая направленность пародийных церемоний всешутейшего собора (пародирование обряда избрания римского папы и других папских обрядов) не была лишена актуального смысла, так как для людей петровского окружения издевательство на папском Римом неизбежно превращалось в дискредитацию русского патриаршества, а насмешки над патриархом сливались с пародированием власти папы⁷.

Как представляется, этих объяснений недостаточно. Основная проблема большинства объяснительных моделей, создаваемых в отношении всешутейшего собора состоит в попытках их сугубо рационального обоснования. Замечательный пример, к тому же наиболее «свежий», дает работа Э. Зицера. Американский исследователь создал цельную концепцию, согласно которой пародийные действия, направленные на

высмеивание традиций, были сознательно проводимой политикой сакрализации носителя власти, основой которой являлось уподобление царя Христу, окруженному группой сподвижников-апостолов: на своих пьянках петровская «кумпания» воспроизводила поведение апостолов на Пятидесятницу, когда они были исполнены божественного воодушевления, а посторонним казалось, что они пьяны⁸.

Недостаток концепции Э. Зицера, как и многих других попыток объяснений петровских увеселений, состоит в том, что речь в ней идет о будто бы изолированном, уникальном явлении (хотя автор находит связь содержания изучаемых явлений с политическим богословием Московского царства, так как они позволяли приближенным почувствовать себя членами апостольского и рыцарского братства, причастными к чуду и следующими за русским помазанником⁹, но формы представляет неким авторским изобретением царя-реформатора). На самом деле, мы легко можем проследить истоки подобного рода развлечений, причем как в русской, так и в западной традиции, где они, как правило, связаны с календарными праздниками (прежде всего святками и Масленицей) и являются важнейшей частью культуры, обозначенной М.М. Бахтиным как карнавальная. Особенности отечественной праздничной традиции описаны в работах названных выше филологов и историков культуры, которыми выработано специальное понятие «антиповедения»¹⁰. Прямые параллели всешутейшего собора в западной культуре прослежены в статье Л.А. Трахтенберга¹¹. При этом, как убедительно показали М.М. Бахтин и Д.С. Лихачев, пародийно-кошунственные праздничные формы вовсе не являются признаком антирелигиозных настроений, но служат способом временного освобождения от прессинга культурных норм¹², основным «контролером» которых в традиционном обществе являлась именно церковь.

Столь же рационально, хотя и не так прямолинейно, принято объяснять суть петровских увеселений и в отечественной историографии. М.М. Бахтин фактически расценивал их как некую политику в области культуры, результаты которой он считал негативными. По его мнению, Петр пытался искусственно насадить чуждую для России традицию в русле общей политики европеизации, поэтому это явление не встретило понимания в русском народе¹³. Проблема, по мнению исследователя, заключалась в том, что в России не произошло карнавального объединения народно-праздничных форм: «...Различные формы народно-праздничного веселья как общего, так и местного характера (масленичного, святочного, пасхального, ярмарочного и т. п.) оставались необъединен-

ными и не выделили какой-либо преимущественной формы, аналогичной западноевропейскому карнавалу»¹⁴.

Наиболее выстроенную концепцию, впрочем, по большей части перекликающуюся с выводами М.М. Бахтина, предлагает А.М. Панченко, характеризующий смеховые практики петровского времени как особого рода «реформу веселья»¹⁵. Исследователь считает, что в данном случае Петр, борющийся с русскими традициями, являлся их продолжателем. Царь-реформатор уловил уже существовавшую накануне его правления тенденцию к идеологической реабилитации, секуляризации и конституированию смеха «как равноправного, законного ингредиента культуры»¹⁶. Речь идет о том, что иерархическая упорядоченность петровских соборов в какой-то мере перекликается с традицией смехового служения, олицетворяемого на Руси фигурами скоморохов, «иереев смеха», противостоявших официальной православной традиции. Таким образом, Петр как бы легитимизирует эту ранее гонимую народную смеховую культуру.

Кроме того, А.М. Панченко, вслед за М.М. Бахтиным, видит прямую связь всешутейшего собора и Великобританского монастыря, его аналога для европейцев при русском дворе, с петровской политикой европеизации (наряду с флотом, чужеземным названием новой столицы, коллегиями, новыми военными и статскими чинами)¹⁷. Исследователь делает вывод, что «это, конечно, была обдуманная культурная акция»¹⁸ в рамках петровской «реформы веселья».

И все же, как предоставляется, без обращения к сфере бессознательного понять роль пародийно-кошунственных мероприятий в жизни Петра невозможно. Пожалуй, в наиболее четком и законченном виде психологический смысл смеха выразил современный исследователь А.Г. Козинцев, чья концепция в целом также восходит к выкладкам М.М. Бахтина. По его определению смех — это знак коллективной негативистской игры против культуры как свода обременительных правил и запретов¹⁹. Смех означает «мгновенный прорыв (но не отмену!) внутреннего запрета, разрешение сделать то, что не может быть разрешено: сбросить с плеч всю ношу, которую человечество взвалило на себя в процессе антропогенеза, опуститься на более низкий уровень, подобно тому, как дети время от времени сбрасывают с плеч то, чему их учили, вовсе того не забывая»²⁰. И еще: «Смех не просто *позволяет* нам временно и коллективно блокировать речь, остановить мысль, прервать культурно обусловленное действие и вообще “отменить” культуру; дождавшись момента и вырвавшись на волю, он лишает воли нас самих, *запрещает*

нам оценивать ситуацию соответственно нормам морали, здравого смысла и этикета. Тогда наступает мгновенное (и вынужденное) освобождение от этих норм, от связанного с ними напряжения, от необходимости мыслить, сострадать, подчиняться, усваивать знания, прилагать усилия, вообще адаптироваться к реальности»²¹.

Таким образом, смех носит компенсаторный характер, давая человеку временное освобождение от норм и предписаний культуры, дабы «спасти» его психику от перенапряжения. Посмотрим, каким образом такое определение может приблизить нас к пониманию сути смеха Петра I.

Можно согласиться с господствующим в историографии мнением о связи петровского смеха с его преобразовательной деятельностью. При этом следует усложнить и уточнить картину. Действительно, пародийные мероприятия Петра — это психологическая подготовка к культурным изменениям. Однако, как представляется, главным объектом воздействия был вовсе не народ, ибо кощунственные тексты и символы были неотъемлемой частью народной смеховой культуры, в том числе и в России (недаром в источниках фактически не встречается осуждения царских увеселений со стороны простых россиян), но сам царственный «шутник» и окружавшие его представители элиты. Петру надо было сломать в себе самом и в своих сподвижниках остатки почтения к традициям, в которых они так или иначе были воспитаны и которые прочно засели на уровне единой нефиксированной установки (в терминологии школы Д. Узнадзе), выставить их в собственных глазах посмешищем, чтобы отстраниться от них и легче от них избавиться. Петр не хотел чувствовать себя обязанным этим традициям, которые в его сознании и подсознании были связаны с детскими страхами и унижениями (ужасы Стрелецкого бунта 1682 г., третирование его родственников при царевне Софье), поэтому стремился дистанцироваться от них посредством осмеяния.

Можно предположить и то, что смеховые действия проявляют определенный страх Петра перед собственным новаторством, желание хотя бы внешне свести все в шутку, создать плацдарм для отступления, чтобы снять с себя всю полноту психологического груза ответственности, показать себе, что пугавшие его и устраняемые теперь установления не заслуживают уважения. Г.О. Нодиа отмечает, что смех связан с радостью, и даже если смех «нерадостный» — это попытка неуверенно чувствующего себя человека хотя бы иллюзорно вернуть себе уверенность, не проявлять «потерянности» или «неуютности»²². Но тогда это не добрый

смех — это смех невротический. С.С. Аверинцев писал, что смех — это зарок, положенный на немощь, которую человек себе запрещает, и одновременно разрядка нервов при невыносимом напряжении. При этом, по его мнению, самый благородный вид смеха — смех над самим собой, либо если над другим, то над более сильным, что является аналогом смеха над собственной слабостью. На другом полюсе С.С. Аверинцев помещает смех циничный, хамский, в акте которого человек отделяется от стыда, жалости, совести. Если воспользоваться этой классификацией, то смех Петра можно отнести к этому крайнему варианту. Князь Б.И. Куракин следующим образом описывает святочные «развлечения» юного Петра: «И в тех святках, что происходило — то великою книгою не описать, и напишем, что знатнаго. А именно: от того начала ругательство началось знатым персонам и великим домом, а особливо княжеским домом многим и старых бояр. Людей толстых протаскивали сквозь стула (стулья), где невозможно статься. На многих платье [раз]дирали и оставляли нагишем, иных гузном яицы на лохани разбивали. Иным свечи в [задний] проход забивали; иным на лед гузном сажали; иных в (задний) проход [кузнечным] мехом надували, от чего один Мясной, думной дворянин, умер. Иным многия другая ругательства чинили. И сия потеха святков так происходила трудная, что многие к тем дням приуготоввливались, как бы к смерти»²³.

Да, смех для Петра — избавление от груза традиций, которые он ненавидит, но избавляется он от этого груза далеко не «дружелюбными» способами. Можно предположить, что подчеркнуто игровой²⁴ и смеховой характер культуры был важной стороной начальных этапов модернизационных процессов в России, так как позволял правителям отстраниться от сниженной в смеховом плане традиции, освободиться от ее сковывающих рамок. На этот вывод наталкивает пример другого *gex ludens* — Ивана Грозного, в жизни которого смеховые формы также имели большое значение (кроме того, многие черты петровского смеха сохраняются в придворной культуре его наследников — Екатерины I и, в особенности, Анны Иоанновны). При этом важно отметить, что в случае Петра (как и Ивана) смеховое начало теряет свою периодичность, приобретая перманентный характер (помимо мероприятий всешутейшего собора оно проявлялось в шутовских свадьбах и похоронах, а также обилии шутов, карликов и великанов при дворе царя-реформатора). Объясняется это как невротическими чертами названных монархов²⁵, так и переходностью времени их правления, насыщенного новациями. Как поясняет Р. Кайуа, нарушение во время праздника

всяческих норм и обычаев символизирует возвращение мифических времен хаоса, когда возможно было все, дабы обеспечить новое возрождение и процветание мира: «Праздник заставляет вернуться время творящей распушенности, которая предшествует порождаемым ею порядку, форме и запрету (все эти три понятия связаны между собой и совместно противостоят Хаосу)»²⁶. А так как Иван и Петр (особенно второй) большую часть своего правления посвящали трансформации традиций, они были постоянно погружены в атмосферу этого «творческого хаоса», часто меняя будничность и праздник местами или, точнее, творчески их сочетая.

Таким образом, максимальная насыщенность игрой и смехом в данном случае не столько следствие нездоровых наклонностей конкретных правителей²⁷, но важнейшая составляющая ранних попыток внедрения начал модернизации в России, когда слишком высоко было напряжение между новшествами и традицией, актуализировавшее страхи и неуверенность инициаторов реформ.

При этом, как и во многих других случаях, можно проследить историческую изменчивость петровского смеха в рамках его жизненного цикла (точно так же, как и специфические отличия от смеха Грозного). В случае повседневных грубых выходов Петра речь идет о поведении человека, не получившего достаточного воспитания и обладающего, по сути, неограниченной властью. Однако с годами формы издевательств все же смягчались по мере того, как царь-реформатор проходил путь оцивилизации (в понимании Н. Элиаса). Так, будучи на свадьбе пожилого князя Ю.Ю. Трубецкого (1721 г.), Петр следующим образом потешался над И.М. Головиным, питавшим большую слабость к желе: велел ему открыть рот, взял стакан желе и влил разом тому в горло, затем несколько раз повторял это и даже своими руками открывал Головину рот, когда он разевал его недостаточно (мотив явственно карнаваль-ный)²⁸. На другом празднике в том же году император заставлял долго танцевать своих пожилых соратников, среди которых были Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.П. Шафиров, П.А. Толстой и др., так что в конце концов они едва передвигали ноги²⁹.

Эти шутки, носившие явственный отпечаток авторитарного социального характера (в терминологии Э. Фромма), важнейшей составной частью которого является садизм, все же кажутся вполне «невинными» по сравнению с чреватами для здоровья циничными выходками ранней юности, описанными Б.И. Куракиным. Петр никогда не использовал смеховые ситуации для сознательного физического уничтожения

человека, как это проделывал Иван Грозный³⁰. В случае первого императора речь могла идти лишь о пренебрежении возможными последствиями³¹.

Между прочим, как это ни покажется на первый взгляд парадоксальным, но способность Петра к, пусть относительно, самоконтролю (и, судя по позитивной тенденции, стремление к его усилению) и пристрастие к смеховому разгулу вовсе не противоположны, а достаточно тесно связаны. Н. Элиас подчеркивал, что процесс оцивизовывания предполагает насилие человека над собой, над своей аффективной природой, особенно на начальной стадии, когда «правильное поведение» еще не перешло на уровень автоматизма³². А так как смех, как указывалось, является средством временного освобождения от прессинга культуры, то повышенный уровень смехового начала в петровское время был связан и с тем, что царь-реформатор нуждался в таком освобождении именно как инициатор и во многом первопроходец в России процесса оцивизовывания (в его западных формах) (конечно, не стоит забывать и о его взрывном темпераменте, усиливавшем эту потребность)³³.

И все же специфические черты времяпровождения Петра и его соратников подчеркивают особый стиль его правления и реформирования, отмеченный печатью более низкого уровня цивилизованности. Ф.-В. Берхгольц описывает европейский вариант простроенных увеселений, также связанный с горячительными возлияниями — тост-коллегию, устроенную его господином, герцогом Голштинским, при его дворе во время пребывания в России. Собрание немцев отличалось гораздо меньшими масштабами питания, а главное, их добровольностью, ведь здесь даже сам герцог должен был подчиняться условиям, за исполнением которых следил очередной хозяин коллегии, и вынужден бывал уйти против своего желания домой³⁴, тогда как царь, хотя и не являлся главным человеком в шутовской иерархии, сам мог насильственно удерживать людей в помещении для максимального спаивания.

Таким образом, смеховые черты Петровской эпохи в полной мере отражали особенности российского властного и культурного кода, важнейшей чертой которого был авторитаризм, а также и специфику ранних модернизационных процессов в России. Смех Петра — явление на стыке западной и русской традиций, носившее к тому же явственный отпечаток нестандартной личности царя-реформатора. Здесь и жесткий прессинг по отношению к подданным, и попытка решить

собственные психологические проблемы за чужой счет, и стремление свести воедино европейские и русские явления культурной и политической жизни.

При этом смех Петра, по формам часто схожий со смехом Ивана Грозного, по стилю и результатам уже во многом отличается от последнего. Петровский смех выдает большую уверенность в себе, умение адаптировать идущие из глубин бессознательного «темные страсти» к потребностям реальной жизни, даже в некоторых случаях рационализировать их. Отсюда и большая «безобидность» его шуток, часто весьма унижительных для адресата, но редко несших реальную угрозу. Более того, можно выявить явственную «позитивную» тенденцию в смягчении смеха царя-реформатора на протяжении жизни. При этом само существование всешутейшего собора как постоянно действующей смеховой корпорации показывала устойчивость такого качества Петра, как склонность к тотальному контролю и регулированию всех аспектов жизни общества, выдававшую его неуверенность в себе и отсутствие самодостаточности, в связи с чем ему было недостаточно «обыденного» объема веселья.

В этом смысле стиль смеха Петра четко коррелирует с особенностями его реформаторской деятельности и с особенностями его личностного становления, что наглядно демонстрирует важность изучения этой проблематики, требующей привлечения междисциплинарного инструментария.

¹ О социокультурной специфике смеха см., напр.: *Николаева И.Ю.* Природа смеха и природа власти Ивана Грозного и Козимо Медичи: сравнительный анализ в контексте раннеевропейских процессов Перехода / И.Ю. Николаева, С.В. Карагодина // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований. М., 2004. С. 119–145.

² *Успенский Б.А.* *Historia sub specie semioticae* // Из истории русской культуры / сост. А.Д. Кошелев. М., 2000. Т. 3: XVII — начало XVIII века. С. 519–527.

³ *Панченко А.М.* Церковная реформа и культура Петровской эпохи // Там же. С. 487–502.

⁴ *Живов В.М.* Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Там же. С. 528–583.

⁵ *Вильбуа.* Рассказы о российском дворе // Вопросы истории. 1991. № 12. С. 196; *Басевич Г.-Ф.* Записки, служащие к пояснению некоторых событий из времени царствования Петра Великого // Юность державы / Ф. Берхгольд, Г. Басевич. М., 2000. С. 374.

⁶ *Успенский Б.А.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Избранные труды / Б.А. Успенский. М., 1996. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 158.

⁷ *Лотман Ю.М.* Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Там же. С. 208.

⁸ *Зицер Э.* Орденосцы и отступники: рыцарская идея в политической практике «компаний» Петра Великого // Петр Великий / сост. и ред. Е.В. Анисимов. М., 2007. С. 72.

⁹ Там же. С. 19.

¹⁰ *Успенский Б.А.* Антиповедение в культуре Древней Руси // Избранные труды / Б.А. Успенский. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 460.

¹¹ *Трахтенберг Л.А.* Сумасшедший, Всешутейший и Всеплянейший собор // Одиссей. Человек в истории: время и пространство праздника. М., 2005. С. 89–118. Правда, на эту связь указывал еще М.М. Бахтин, однако мысль эта осталась без развития в дальнейших исследованиях.

¹² *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 13; *Лихачев Д.С.* Смех как мировоззрение // Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1997. С. 344–347.

¹³ *Бахтин М.М.* Указ. соч. С. 237.

¹⁴ Там же. В современной литературе существует критика идеи всеобщности смеховой культуры на Западе (см.: *Рюмина М.Т.* Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. М., 2003. С. 210 и далее). К тому же у нас нет свидетельств о попытках Петра распространить свой опыт пародийных увеселений в массы, в отличие от иных форм времяпровождения, таких как ассамблеи или катания по Неве.

¹⁵ *Панченко А.М.* Русская культура в канун Петровских реформ // Из истории русской культуры / сост. А.Д. Кошелев. М., 2000. Т. 3: XVII — начало XVIII века. С. 143.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же. С. 164.

¹⁸ Там же. С. 159.

¹⁹ *Козинцев А.Г.* Об истоках антиповедения, смеха и юмора (эюд о щекотке) // Смех: истоки и функции / под ред. А.Г. Козинцева. СПб., 2002. С. 28.

²⁰ Там же. С. 29.

²¹ Там же. С. 35.

²² *Нодиа Г.О.* Человек смеющийся в контексте философии культуры // Философия, Культура, Человек / отв. ред. Н.З. Чавчавадзе. Тбилиси, 1988. С. 54.

²³ *Куракин Б.И.* История о царевне Софье и Петре // Богданов А.П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии. М., 2008. С. 325.

²⁴ О компенсаторной функции игрового компонента культуры в жизни Петра см.: *Мухин О.Н.* Феномен «игры в царя» в политической культуре России раннего Нового времени: психосоциальные корни // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 339. С. 62–69.

²⁵ Краткий сравнительный историко-психологический анализ идентичности двух «первых монархов» см.: *Мухин О.Н.* Петр Великий vs Иван Грозный: личность в контексте специфики российских процессов модернизации // Диалог со временем. 2011. Вып. 35. С. 153–174.

²⁶ *Кайуа Р.* Человек и сакральное // Миф и человек. Человек и сакральное / Р. Кайуа; пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М., 2003. С. 233.

²⁷ Шведский историк П.А. Будин, например, считает, что издевательства Петра над церковью носили «привкус чего-то ненормального — психопатологического (или демонического, если угодно)» (*Будин П.А. Петр Великий и церковь // Царь Петр и король Карл: два правителя и их народы / пер. со швед. В. Возрина. М., 1999. С. 92*).

²⁸ *Берхгольц Ф.-В. Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца. 1721—1725. Ч. 1—2 // Неистовый реформатор / И. Фоккеродт, Ф. Берхгольц. М., 2000. С. 248.*

²⁹ Там же. С. 254.

³⁰ Показательна история с убийством стрелецкого командира Никиты Голохвастова, который вынужден был надеть монашескую рясу, чтобы избежать царского гнева. Иван велел привести его и сказал, что поможет инокосе поскорее взлететь на небо. Голохвастова посадили на бочку с порохом, а порох взорвали (*Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1980. С. 180—181*).

³¹ Тенденцию смягчения столь грубых в юные годы царя святочных увеселений мы можем обнаружить довольно рано. Так, уже в 1708 г. английский посланник Ч. Уитворт сообщает: «...Его Царское Величество занят обычными в России на святках развлечениями: пением рождественских молитв и празднествами то в одном доме, то в другом, в сообществе с знатью и вообще с приближенными лицами. Он обошел все дома Москвы, которые обыкновенно удостоивает своим посещением, а в день нового года сам угощал знатнейших особ, при чем празднество закончилось блистательным фейерверком» (Донесения и другие бумаги чрезвычайного посланника английского при русском дворе, Чарльза Витворта, с 1704 г. по 1708 г. // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 39. 1884. С. 447). Ф.-В. Берхгольц, склонный к дотошному описанию любых подробностей придворных увеселений, лишь коротко замечает под 25 декабря 1723 г., что «император начал с этого дня славить, или ездить на пирушки, и был сперва у архиепископши (матери г. Остермана (на самом деле тещи. — О.М.), потом у нового князя-папы и наконец у княгини, которая должна была стать епископшей» (то есть при непрерывном участии членов высшей церковной иерархии) (то есть при непрерывном участии членов высшей церковной иерархии) (*Берхгольц Ф.-В. Дневник камер-юнкера... С. 178*).

³² См.: *Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: пер. с нем.: в 2 т. / Н. Элиас. М.; СПб., 2001. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада.*

³³ О том, насколько важную роль играл смех на протяжении всей жизни Петра, говорит тот зафиксированный современниками факт, что в последние годы, когда он часто пребывал в мрачном расположении духа, к нему допускались лишь священник, доктор и шуты. См. письмо польского резидента И. Лефорта от 31 декабря 1723 г. (Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии. Сообщено из дел Саксонского Государственного Архива в Дрездене профессором Марбургского университета Э. Германом // Сборник Императорского русского исторического общества. 1868. Т. 3. С. 368).

³⁴ *Берхгольц Ф.-В. Дневник... Ч. 1—2. С. 163.*

ГРАЖДАНИН ГОРОДА N — МЕЩАНИН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Серда Надежда Владимировна
Тверской государственный университет,
г. Тверь

***Аннотация:** В статье анализируется содержание терминов, отражающих социально-правовую структуру населения городов России в конце XVIII в. В основе исследования — текст Городового положения Екатерины II и его проекты, а также делопроизводственная документация городских учреждений Тверской губернии. Автор приходит к выводу о том, что гражданами того или иного города являлось население, положенное в оклад по данному городу, рассматривает гражданские общества городов как территориальные объединения мещан Российской империи.*

***Ключевые слова:** мещанин, купечество, гражданин, общество купцов и мещан, ревизская сказка, подушная подать, законодательство Екатерины II, обывательские книги городов.*

Автору этих строк приходилось писать о влиянии первых ревизий на изменение структуры и правового положения горожан, на изменение содержание слова «купечество». Основное положение этих работ сводилось к тезису, что в ходе первой ревизии происходило формирование категории городских граждан как территориальных объединений лиц, положенных в подушный оклад по данному городу¹.

В данной статье предпринята попытка посмотреть, как влияли законодательные акты последней четверти XVIII в. и результаты четвертой ревизии на содержание понятия городского гражданства и структуру городского населения.

Для понимания поставленных вопросов использованы текст Жалованной грамоты городам (1785), наброски к ней и черновые варианты текста (в изложении А.А. Кизеветтера), а также делопроизводственные материалы городских учреждений Тверской губернии, отложившиеся в Государственном архиве Тверской области. Последние, на наш взгляд, позволяют более точно интерпретировать нормы законов и позволяют понять их толкование горожанами и городскими властями.

Грамота на права и выгоды городам Российской империи, известная также под названием Жалованная грамота городам, 1785 г. (далее — ЖГГ) является важнейшим законодательным актом Екатерины Второй². Она привлекала и продолжает привлекать внимание историков и правоведов. В историографии существуют различные точки зрения на содержание ряда ее статей и основополагающих терминов: «посадские», «мещане», «городовые обыватели», «граждане», «городское общество».

Л.О. Плошинский, автор одного из самых ранних исследований проблемы городского гражданства в России, при изложении статей ЖГГ произвольно, без каких-либо комментариев заменял термины «мещане» на термин «городовые обыватели»³. Это, несомненно, свидетельствует об отождествлении им указанных понятий. Другой крупный знаток законодательства о городах и горожанах, И.И. Дитятин, исследовал историю управления городами России и в ходе изложения своего вопроса рассматривал содержание терминов ЖГГ, известной также как Городовое положение Екатерины II. Пытаясь понять смысл, который вкладывала в них великая императрица, он в одной работе отождествляет городское общество и граждан города с городскими обывателями, т. е. всеми горожанами а в другой — лишь с той частью горожан, которые владеют недвижимостью в городе. Основательный анализ терминов, связанных с проблемой городского гражданства, дан А.А. Кизеветтером в крупнейшей источниковедческой монографии, специально посвященной анализу Городового положения Екатерины II. Она построена на изучении целого комплекса источников. Помимо самого текста ЖГГ ученый рассматривает черновые его варианты, проекты отдельных лиц по преобразованию городского общества, а также делопроизводственные материалы городских учреждений. Особенно пристальное внимание А.А. Кизеветтер уделяет исследованию содержания терминов «мещанство» и «посадские», настаивая на их тождественности. Ученый считает, что положения Жалованной грамоты противоречат друг другу. Эта противоречивость, по его мнению, является следствием стремления законодателя согласовать новое «со старыми действующими узаконениями», «ограничить личные преимущества мещанского состояния», приблизить мещан по положению к крестьянам, провести как можно более четкую границу между мещанством и дворянством, закрепить за дворянами особое, привилегированное положение в структуре русского общества⁴.

Но наиболее прочно укрепились мнение, что по положениям Жалованной грамоты городам городовые обыватели — люди, внесенные в городскую обывательскую книгу, они являлись гражданами города и со-

ставляли «общество градское». Главным доводом в пользу такого отождествления для ученых являются статьи 55 и 56 Жалованной грамоты городам, посвященные деталям составления городской обывательской книги. Статья 55 гласит: «В городской обывательской книге вписать имя и прозвание всякого гражданина в том городе дом или строение или землю имеющего, или в гильдии или в цехи записанного или мещанским промыслом промышленяющего». Статья 56 предупреждает: «Буде кто не вписан в городскую обывательскую книгу того города, тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да не пользуется мещанскою выгодою того города». Эти две статьи в соединении с началом статьи 53, предписывающей «в городе составить городскую обывательскую книгу, в коей вписать обывателей того города», позволяли и позволяют многим исследователям отождествлять граждан города с обывателями, а запись в обывательскую книгу — с вступлением в городское общество.

Между тем делопроизводственные документы городских учреждений Тверской губернии последней четверти XVIII в. свидетельствуют, что в городах в течение многих лет в состоянии непричастности к гражданству и городскому обществу жили некоторые купцы и ремесленники, крестьяне, военнoслужашие.

Что касается крестьян, то их непричастность к гражданам городов прослеживается в документах очень отчетливо. Это выражается даже в составе документов архивных дел о причислении крестьян к какой-либо категории городского населения. В них отсутствует приговор общества купцов и мещан о приеме крестьян в свой состав. Наличие такого приговора, как свидетельствуют ранее проведенные исследования автора, является наиболее ярким признаком зачисления именно в состав городского общества.

Такая практика в отношении крестьян сложилась после издания указа от 26 июля 1777 г.⁵, закрепились в ходе проведения четвертой ревизии (1782 г.), а затем и в положениях Жалованной грамоты городам. Ссылку на указ от 26 июля 1777 г. можно найти практически во всех делах, связанных с зачислением крестьян в какую-либо категорию городского населения. В одном из дел, датированных 1782 г., нам удалось найти его интерпретацию в тексте указа Тверского наместнического правления. Адресован он зубцовскому городничему, который просил пояснить, можно ли записать в ходе ревизии крестьянина дворцового ведомства в купечество с одновременной записью «в подаваемой к нынешней четвертой ревизии о здешнем гражданстве сказки». Подобные запросы, видимо, часто поступали с мест, так как ответ зубцовскому городничему

был оформлен в виде указа наместнического правления и разослан во все города не только городничим, но также в магистраты и в нижние земские суды. В нем говорилось, что закон «не дает никому права переменять свое состояние, а потому и проситель должен остаться в прежнем звании и окладе с тем, что если имеет капитал или же знает какое ремесло, то может записаться в купечество или цех, но и тогда по ревизии в той же вотчине записан быть должен и платить сверх процентов с капитала или же с положенного с цеховых сбора все подати по крестьянству». Копию этого указа автор статьи обнаружил в фонде новоторжского магистрата. Помета, сделанная служащими магистрата по его поводу, заслуживает внимания. Она представляет содержание этого указа как указа «о не записывании крестьян в мещане»⁶.

Жалованная грамота городам внесла некоторые коррективы в положение крестьян в городе. Эти перемены хорошо видны при изучении двух дел, обнаруженных нами в фонде Кашинского магистрата. Они связаны с припиской к городу Кашину крестьян Перетрясовской слободы экономического ведомства. Одно дело велось в делопроизводстве магистрата в 1783 г., другое — в 1786. В начале 80-х гг. в связи с отводом территории Перетрясовской слободы городу Кашину перед крестьянами встала дилемма: записываться ли в купечество города или переселиться на пашенные земли. В прошении, поданном городничему, крестьяне уведомяли, что они не в силах платить двойные оклады — по крестьянству и по купечеству и просили разрешить им «вступить в купечество (выделено мной. — Н.С.) без объявления капитала». Получив отказ и не желая переселяться, крестьяне вынуждены были объявить минимум необходимого для вступления в 3-ю гильдию капитала, что составляло 500 руб. Годовой налоговой сбор с объявленной суммы составлял 5 руб., в то время как подушная подать горожанина, включая сборы за занятия ремеслом и промыслом, составляла 1 руб. 20 коп. Тексты подписок, данных крестьянами в магистрате, свидетельствуют о шаткости их положения в городе и реальной угрозе возвращения в крестьянское состояние в случае, если они не смогут выполнять условия ожидаемого закона.

Ожидаемым законом стала Жалованная грамота городам. Вскоре после ее издания 46 крестьян Перетрясовской слободы снова подали прошение в магистрат. На этот раз они просили зачислить их в **посад** (выделено мной. — Н.С.) города и обещали платить сборы как по городу, так и по крестьянству. Власти дали согласие. Любопытно, что в указе Тверского наместнического правления, который предписывал магистрату записать крестьян Перетрясовской слободы в Кашинский посад, в каче-

стве законодательного основания для этого давалась ссылка на указ Сената от 26 июля 1777 г. и на пункт 139 Городового положения⁷.

По сути, крестьяне получили то, о чем просили тремя годами раньше и в чем им было отказано тогда: они были записаны в купечество без объявления капитала. С финансовой стороны для них это было, как показано выше, более выгодно, чем вступление в купечество. Соединение властями положений двух законов в единое целое и доброжелательное отношение крестьян к новым условиям оформления их жизни в городе наводят на очень интересные размышления. Замена обязательной записи в купечество с объявлением капитала записью в «посад», видимо, отвечала интересам многих крестьян. Это предоставляло им дополнительные возможности в расширении сферы своих занятий, источников дохода, для многих появлялась возможность приобщиться к городскому образу жизни и к городской культуре. Возникла перспектива перемены состояния в ходе следующей ревизии. Появлялась возможность выбора, а это само по себе является показателем определенной степени свободы личности. Но, записываясь в посад города, крестьяне не приобретали прав городских граждан. Чтобы выяснить, в чем состояла особенность записи в посад, обратимся к тексту ЖГГ и наброскам к ней.

Основной текст раздела о посадских людях открывает статья 138. Она объявляет, что «не запрещается никому записаться в посад города». Следующая статья добавляет, что крестьяне экономического ведомства должны, записываясь в посад, платить двойную подать до новой ревизии. Эта статья многие годы является поводом для упреков в адрес Екатерины II со стороны историков. Но на нее, как и на стакан воды, наполненный водой наполовину, можно посмотреть по-разному. Оптимист, как известно, говорит, что стакан наполовину наполнен, а пессимист — что он наполовину пуст. Для А.А. Кизеветтера эта статья стала поводом для мысли о низведении прав горожан до прав крестьян. Для П.Г. Рындзюнского, Ю.Р. Клокмана и других историков она является основанием для суждений о консервативном характере екатерининского законодательства в области крестьянской торговли и перспектив для крестьян перейти в число горожан⁸. Я полагаю, что на эти статьи Жалованной грамоты можно посмотреть более оптимистично.

Сравним их с черновыми вариантами статей Жалованной грамоты раздела о посадских. Черновики устанавливали два варианта записи в посад: навсегда и на время. Последний был рассчитан на крестьян. С момента записывания в посад крестьяне должны были платить двойную подать: по посаду — посадскую и по крестьянству — подушную.

В наброске не было указания на категорию крестьян, речь шла о крестьянах вообще. Ничего не говорилось и о времени, в течение которого крестьяне должны были платить эту, так называемую «двойную подать»⁹. Набросок не предусматривал прекращения переходного состояния ни для одной категории крестьян, все они подлежали записи в посад на время. В сравнении с этим проектом окончательный текст статьи 139 Городового положения уже не кажется столь консервативным, поскольку в ней возможность перехода в число мещан в ходе следующей ревизии предусматривалась хотя бы для одной категории крестьян.

Такая установка ЖГГ не может рассматриваться как консервативная еще по одной причине. В черновых вариантах Жалованной грамоты посадские люди отождествлялись с мещанством, запись в посад — с записью в мещанство. Мещанство, в свою очередь, — с городскими обывателями, у которых капитал был менее 500 руб.¹⁰ В таком контексте предполагавшаяся запись крестьян в посад на время была очень логичной, и, по сути, лишь формула «на время» отражала разницу в положении между горожанами и проживающими в городе крестьянами. Окончательный вариант Жалованной грамоты городам вводил более четкое размежевание между крестьянами, записанными в посад, и мещанами — людьми среднего рода, полноправными горожанами. Если сравнить текст раздела М — о посадских с текстом раздела Д — «О личных выгодах городских обывателей среднего рода людей или мещан вообще», то увидим, что лишь одна из двенадцати статей раздела Д посвящена деятельности мещан в сфере производства (ст. 90). Все остальные статьи этого раздела освещают правовые преимущества мещан, вытекающие из факта принадлежности к этой категории населения. Закон обеспечивал защиту чести и имущества мещан и членов их семьи, предусматривал передачу этого звания и следующих за ним прав жене, даже если она «породы нижней», и детям. Мещанам предоставлялось право судиться в своем сословном суде, они могли создавать городское общество, участвовать в выборах и др. Эти права распространялись на всех мещан. Те из них, кто имел капитал свыше 500 руб., получали дополнительные права и льготы: освобождались от рекрутских наборов, от телесных наказаний и некоторых казенных служб, имели возможность совершать значительные торговые операции, заводить фабрики и заводы и др.

Формулировки в разделе М о посадских скорее напоминают перечень возможных сфер приложения их сил в городе, чем указывают на объем прав этой категории горожан. Кроме права производить всякого рода рукоделия, посадским было также дозволено иметь в доме, где жи-

вут, лавку «с собственным рукоделием или мелочью», содержать и иметь трактиры, бани, харчевни и постоянные дворы»; «вступать в казенные подряды и откупа»; продавать плоды, овощи и другую мелочь¹¹. Как видим, все записывающиеся в посад получали возможность активного участия в торгово-промышленной деятельности, но не обязательно приобретали при этом мещанские права.

Из приведенных рассуждений можно было бы сделать вывод о том, что все остальные категории горожан, помимо крестьян, относились к мещанству и могли входить в состав городского общества. Но сохранившиеся делопроизводственные документы не подтверждают возможность существования такой ситуации.

Купеческий сын Иван Крюков в начале 1791 г. был отпущен из Торопца в Бежецк по паспорту. Вероятно, он нашел там благоприятные для развития торговли условия и поэтому в конце года подал прошение о записке его в «бежецкое городское общество с капиталом 1010 рублей», т. е. на правах купца. Магистрат, рассмотрев просьбу Крюкова, ссылаясь на статьи 92 и 93 Жалованной грамоты городам, постановил принять его «в бежецкого купечества в 3-ю гильдию» и записать его во 2-ю часть городской обывательской книги «**но, однако, не причисляя его к здешнему гражданству**» (выделено мной. — Н.С.). Как видим, магистрат, санкционировав прием Крюкова в купечество города, отказал ему в просьбе о записке в Бежецкое городское общество¹².

Нельзя не отметить дело о записке в бежецкое городское общество Ивана Логунова. Свою просьбу он мотивировал следующим образом: «по записании в здешней живописного художества управе как ремесло отправляю, так, по имению собственного моего дома и жительствую в здешнем городе, почему и в городской города Бежецка обывательской книге записан». Прошение И. Логунова представляет чрезвычайный интерес, поскольку свидетельствует о том, что в прежние годы он не являлся членом гражданского общества, несмотря на то что был записан в городскую обывательскую книгу и один из цехов города¹³.

О неправомочности отождествления городского общества со всеми городскими обывателями свидетельствуют не только делопроизводственные документы, но и сам текст ЖГГ. Статья 29 разрешает городским обывателям «составить общество градское», что само по себе предполагает, что в это общество могли входить не все обыватели. Статья 52 разрешает исключать из городского общества гражданина, который опорожен судом, но ничего не говорит о его выселении из города, значит, он мог жить в городе, не являясь его гражданином. Из этой статьи, а также

из статьи 43, предупреждающей, что не взыщется на обществе городском личное преступление гражданина, следует, что в это общество должны были входить лишь граждане города.

Об ограниченности круга лиц, составляющих общество города, свидетельствуют также статьи 49–51. Они отождествляют его состав с мещанством **данного города** (выделено мной. — Н.С.). Из них следует, что все взрослые мещане имеют право посещать собрания городского общества, хотя не все имеют право голоса, право сидеть и быть избранными на городские должности. В статье 35 городское общество также ассоциируется с мещанством. Она позволяет собираться городскому обществу по частям города в случае, если «выбор всего мещанства по балам продолжителен и неудобен окажется». То обстоятельство, что в ряде статей ЖГГ городское общество отождествляется с гражданством, а в других — с мещанством, позволяет предположить, что термин «мещанство» по замыслу законодателя является синонимом термина «гражданство». Текстологический анализ документов городских учреждений Тверской губернии, проведенный автором, показал, что в практике делопроизводства эти термины также использовались как синонимы. Вместо них обоих иногда использовались обороты «купцы и мещане», «общество купцов и мещан», «городское общество»¹⁴. Но есть факты, не позволяющие принять эти, казалось бы, очевидные аналогии, в том числе случаи с И. Логуновым и И. Крюковым, о которых уже говорилось.

Изучение делопроизводственной документации городских учреждений Тверской губернии позволило выявить основной критерий принадлежности к городскому обществу. Член городского общества — гражданин города должен был быть внесен в ревизскую сказку данного города как по основному месту своего жительства с уплатой именно по данному городу подушной подати. Следует напомнить, что собственно подушная подать в 1785 г. составляла 70 коп., еще 50 коп. горожане платили за право заниматься торгово-предпринимательской деятельностью — это была так называемая посадская подать. Крестьяне, поселившиеся в городе, должны были подушную подать платить по месту основного жительства, а в городе доплачивать сборы за занятие торгово-промышленной деятельностью — 50 коп. Иногородцы, которые переселялись в какой-либо город для занятий своим бизнесом, лишь тогда становились гражданами данного города, когда и подушную подать, и посадскую (или процентные деньги по купечеству) начинали платить по данному городу. Они при этом, по решению коронной администрации, исключались из оклада по своему старому месту жительства и включались в оклад по новому месту жительства.

Из этого следует, что между терминами «мещанин» и «гражданин» существует серьезное различие. Принадлежность к мещанству обозначала принадлежность к определенному «состоянию» или категории населения Российской империи, имеющей определенные правовые преимущества по сравнению с крестьянством, но уступающей в объеме прав дворянам. Мещанство России с правовой точки зрения полностью отвечало определению «среднего рода людей», занимая промежуточное, между крестьянством и дворянством, положение в русском обществе.

Термин «гражданин» обозначал принадлежность мещанина к городскому обществу определенного города, что фиксировалось положением его в оклад по данному городу. Именно поэтому в делопроизводстве городских учреждений встречаются дела с просьбами о записывании мещан одного города в городское общество другого города.

Объем статьи не позволяет рассмотреть вопрос о том, как следует трактовать знаменитые 55 и 56 статьи ЖГГ об обывательских книгах и правилах их составления. Жалованная грамота городам создала в России особую категорию людей — «мещанство», обеспечила ей определенные правовые привилегии. Мещанство в значительной степени оправдывало определение «людей среднего рода» как промежуточного правового состояния между крестьянством и дворянством, в этом смысле автор статьи совершенно согласен с Д. Гриффитс.

Однако следует отметить, что одновременно ЖГГ закрепила существование в России территориальных образований — городских гражданских обществ, которые ведут свою историю от Петра I. С момента издания Жалованной грамоты городам они становились территориальными объединениями мещан. В основе принадлежности к городскому обществу, как и при Петре I, являлось положение в оклад по данному городу. Принадлежность к мещанскому состоянию обеспечивала лишь принадлежность к гражданству того города, где человек был положен в оклад, т. е. вписан в ревизскую сказку. Переезжая в другой город, мещанин оказывался некоторое время в положении маргинала. В гражданство по месту нового жительства он мог быть включен лишь в ходе ревизии.

Экономические крестьяне, а также крестьяне, получившие вольную, военные, вышедшие в отставку, иммигранты, так называемые «выходцы из Польши», поселившиеся в том или ином городе в промежутке между ревизиями оказывались в аналогичном положении¹⁵. Лишь в ходе следующей после переселения в город ревизии они могли получить права гражданина того города, где пожелали жить. Одновременно с этим они изменяли и свое состояние — становились мещанами Российской им-

перии со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Исследование делопроизводственной документации в комплексе с анализом текста ЖГГ позволяет говорить о том, что мещанство России объединялось в территориальные корпорации, известные из источников как «городские общества», «общества купцов и мещан», «гражданство».

¹ *Серeda Н.В.* Городское гражданство России в законодательстве Петра I // Преподавание и изучение историографии и источниковедения отечественной истории: проблемы, опыт, поиски, решения. Тверь, 1992. С. 96–103; Она же. Петр I и городское гражданство в России // Петр Великий и его время: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 290-летию Полтавской победы. Ораниенбаум, 8–11 июля 1999 г. СПб., 1999. С. 133–136; Она же. Купечество в структуре населения городов России // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI — XIX вв. Сб. мат-лов Второй международной научной конференции (Курск, 2009 г.). Курск, 2009. С. 174–178.

² Полное собрание законов (ПСЗ-1). Т. 22. № 16188.

³ *Плошинский Л.О.* Городское или среднее состояние русского народа в его историческом развитии от начала Руси до новейшего времени. СПб., 1852. С. 256, 260.

Дитятин И.И. Устройство и управление городов России: В 2 т. СПб., 1875. Т. 1. С. 418; Он же. К истории Жалованных грамот дворянству и городам // Дитятин И.И. Статьи по истории русского права. СПб., 1895. С. 120.

⁴ *Кизеветтер А.А.* Городовое положение Екатерины II 1785 г.: Опыт исторического комментария. М., 1909. С. 43.

Подробнее см.: *Серeda Н.В.* Некоторые методологические аспекты и методы изучения массовых источников // Методологическая подготовка студента-историка. Тверь, 1991. С. 118–133; Она же. К изучению терминов «гражданство», «мещанство», «купечество» (по документам магистратов Тверской губернии) // Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994. С. 97–101; Она же. Реформа управления Екатерины Второй: Опыт источниковедческого исследования. М., 2004. С. 379–414.

⁵ ПСЗ. Т. XX. № 14632.

⁶ Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф.172. Оп. 2. Д. 649. Л. 8, 14. Там же. Ф. 170. Оп. 2. Д. 248.

⁷ Там же. Д. 362. Л. 5–8 об.

⁸ *Кизеветтер А.А.* Указ. соч. Гл. 1; *Рындзюнский П.Г.* Городское гражданство России. М., 1958. С. 52–53; *Клокман Ю.Р.* Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII в. М., 1967. С. 119; *Кафенгауз Б.Б.* Город и городская реформа 1785 г. // Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956. С. 160.

⁹ *Кизеветтер А.А.* Указ. соч. С. 73.

¹⁰ Там же.

См. ПСЗ-1. Т. 22. № 16188. Ст. 80–101, 118 и др.

¹¹ Там же. С. 140–145.

¹² ГАТО. Ф. 165. Оп. 2. Д. 1660. Л. 2 об.

¹³ Там же. Д. 1713. Л. 1.

¹⁴Использование этих оборотов обычно сопровождалось уточнением территориальной принадлежности «гражданского общества», «общества купцов и мещан». Например: «новоторжское общество купцов и мещан».

Гриффитс Д. Восприятие отсталости в XVIII веке: проекты создания третьего сословия в екатерининской России // Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М., 2013. С. 267.

¹⁵Подробнее см.: *Серда Н.В.* Реформа управления Екатерины Второй: Историко-ведческое исследование. М., 2004. С. 379–414.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ САЛОННЫХ ПРАКТИК РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА XIX в. В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ

Азерникова Ирина Павловна

Российский государственный
гуманитарный университет,
г. Москва

***Аннотация:** Актуализация исследования салонной культуры российского дворянства в русле междисциплинарного подхода в современной отечественной гуманитаристике. Дворянские салоны XVIII–XIX вв. как перспективная тема для развития новой культурной истории; Междисциплинарный подход в изучении культуры России XVIII–XIX вв.*

***Ключевые слова:** антропологический подход, история культуры, история повседневности, новая культурная история, практики, российское дворянство, салоны, социокультурная история.*

С историей салонов в России связан значительный пласт ее культурного наследия. Само значение салонов в дворянском быту неуклонно возрастало от середины XVIII к середине XIX в. Если во времена Екатерины II и в начале правления Александра I держать свой салон было просто данью моде, то уже в 1820-е гг. салоны становятся не только культурными центрами, в которых проводила время и обсуждала вопросы литературы и философии просвещенная аристократия, но и центрами дворянской коммуникации, где иной раз принимались общественно важные решения. Однако формирование и роль салонной культуры российского дворянства в общественной жизни страны в первой половине XIX в. представляется недостаточно изученной в отечественной историографии, хотя данная проблематика является перспективной исследовательской темой для развития междисциплинарного подхода в современной гуманитаристике.

Для лучшего понимания особенностей салонной культуры в России стоит воспользоваться дефинициями культуры К. Гирца, одно из которых определяет ее как систему, «которая конституируется благодаря сочетанию и взаимосвязи многочисленных частных ”действий”», проигры-

ваемых в обществе на всех уровнях»¹, а другое определяет культуру как социальное действие². Оба этих определения верны в контексте изучения салонных практик российского дворянства. В силу особенностей политического устройства в России, официальные и неофициальные механизмы общественно-политического влияния переплетались, и подчас трудно было определить, где же было принято окончательное решение: в министерском кабинете или в светской гостиной.

Проблема функционирования самодержавной власти имеет и другую сторону: взаимодействие власти с привилегированной частью общества — дворянством. Именно оно в системе российского самодержавия было основным источником формирования политической элиты и имело возможность неформальной коммуникации с властью. Взаимодействие самодержавной власти и дворянства — сложная система, имеющая в том числе скрытые или неявные механизмы взаимодействия. Наряду с жесткой государственной структурой существовала неофициальная корпоративная структура дворянства, которая находила свое внешнее коммуникационное проявление в создании светских салонов. Исследование функционирования великосветского салона представляется важной научной проблемой, поскольку именно салонная структура и салонная коммуникация формировала корпоративную культуру дворянства, представляла собой «площадку» его самоидентификации. Способы и механизмы взаимодействия через «салоны» высшей знати и представителей властных структур также представляют интерес с точки зрения изучения политических механизмов российского самодержавия. В условиях России с ее централизованной, бюрократической системой власти политическое влияние было обусловлено не только номинально занимаемой позицией в государственном аппарате, но и наличием связей определенного уровня, обладанием информацией, а также личными психологическими качествами хозяйки салона. Следовательно, политическое решение не могло быть от начала и до конца единым актом, исходящим от одного лица, оно всегда принималось в результате аккумуляции решений, формулируемых теми или иными группами политической элиты. Таким образом, салонная культура российского дворянства XVIII—XIX вв. полностью подпадает под определение культуры как «серии играемых на разных уровнях игр»³.

После «катастрофы» 1825 г. непосредственное влияние дворянства на общественную и государственную жизнь было несколько дезорганизовано и ослаблено. Главной формой консолидации и коммуникации «высшего света» оказались именно салоны, которые в Николаевскую

эпоху должны были измениться по сравнению с Александровским временем. Вопросам политики и общественным проблемам теперь уделяли здесь больше внимания, нежели прежде. Подобное положение дел сохранялось вплоть до эпохи Великих реформ 1860-х гг., когда обсуждение общественных и политических проблем сместилось в сторону газетных и журнальных публикаций, приобретая тем самым более публичный характер. Однако уже к концу 1890-х гг. салоны вновь становятся важным местом для ведения дискуссий социального характера. Необходимо заметить, что если в первой половине XIX в. можно говорить о некоторых элементах либерализации в светских салонах (особенно на примере салона княгини З. Волконской, на чей уникальный «фрондистский» характер указывал Ю.М. Лотман⁴), то в начале XX в. салоны имели уже ярко консервативный характер. Среди причин данной трансформации необходимо отметить тот факт, что к этому времени «социалисты и либералы не нуждались в салонах, им вполне хватало нелегальных кружков, партийных организаций, ”толстых” журналов и, после 1906 г., думских фракций. Большинство же консервативных деятелей находились на государственной службе, что автоматически означало для них всякий запрет на участие в общественных организациях и членство в партиях»⁵. В данной ситуации салон создавал идеальную площадку для общения, став коммуникативным пространством, в котором функционировали деятели правого толка.

За всю свою историю существования историография изучения салонов условно делится на две группы. Первый подход заключается в признании исключительно литературной составляющей великосветских салонов, которая безусловно имела место быть, однако данный взгляд является весьма упрощенным и ограниченным. В русле второго подхода салоны воспринимаются как социальные институты в контексте эволюционного развития общественно-политической и культурной жизни. Одной из ключевых работ здесь является монография Ю. Хабермаса «Структурная трансформация публичной сферы. Исследование категории буржуазного общества» (*Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: MIT Press, 1991*). По мнению Ю. Хабермаса, в возникновении, функционировании и эволюции «публичной сферы» в середине XVIII в. салоны играли роль центров свободных и критичных дискуссий, противостоящих двору и абсолютизму, а также выступали как пространства, в которых сглаживались социальные различия, вызванные происхождением и привилегиями. Здесь также можно процитировать К. Гирца и его

определение культуры: «Культура публичная, потому что публичны коммуникация и значение»⁶. Концепция Ю. Хабермаса, повышающая статус салонов как важной части «публичной сферы», стала привлекательной для ученых-феминистов, которые начали исследовать салоны с целью демонстрации их важнейшей роли в распространении идей Просвещения в Европе, прокладывании пути для Французской революции и идей равенства, в распространении практик женского лидерства и женской солидарности.

Исследование аспектов влияния светских салонов на общественную и политическую жизнь лежит в рамках антропологического подхода, в контексте современных исследований различных аспектов повседневности.

В основе изучения салонной жизни лежит методология современного понимания истории повседневности. Осмысление вопросов повседневной жизни связано с французской школой «Анналов», возникшей в конце 1920-х гг. Главным замыслом ее основателей М. Блока и Л. Февра было преодоление барьеров между общественными науками, освоение историками методик смежных наук и отношение к истории как науке о людях в историческом измерении. Исследователи этого направления предложили переориентировать исторические исследования и перейти от событийной политической истории, поисков всеобщих закономерностей развития экономики и этнографических описаний к комплексному аналитическому изучению историко-психологических, историко-демографических, историко-культурных аспектов. Ф. Броделем был введен термин «структура повседневности». Содержанием повседневной жизни он считал практики организации и оформления пространства человеческой жизни — ландшафт, архитектуру, организацию интерьера; поведение и общение — обряды, обычаи, традиции, ритуалы, этикет. Броделевский подход к истории повседневности предполагает сосредоточенность на большом хронологическом периоде.

В германской и итальянской историографии история повседневности приобрела несколько иное направление. В 70-х гг. XX в. в Германии возникло течение «историко-критической социальной науки». Крупнейшие представители этого направления — Х.-У. Велер, Ю. Кокка, Х. Медик, А. Людтке, в Италии — К. Гинзбург, Д. Леви и др., являясь приверженцами школы «Анналов», ориентировали ученых на изучение микроистории отдельных рядовых людей или их групп.

Таким образом, история повседневности — отрасль исторического знания, в центре внимания которой находится комплексное исследова-

ние образа жизни и его изменений у представителей разных социальных слоев, их поведения и эмоциональных реакций на жизненные события, возможное при использовании междисциплинарных связей с культурологией, социологией, психологией. Под «повседневностью» в данном случае понимается особая сфера социокультурной реальности, основанная на системной повторяемости смыслов человеческого бытия, имеющая пространственные и временные рамки.

В России изучение культуры с теоретических позиций осуществлялось в рамках философии, эстетики, семиотики, литературоведения, искусствознания. Однако в конце 80-х — начале 90-х годов XX в. возникло осознание необходимости системного подхода к исследованию культуры в целом и выделения культурологии в самостоятельную научную дисциплину. Этому способствовала серьезная теоретическая проработка всего комплекса исследований культуры, как российских, так и западных, анализ идей, концепций, школ, методов исследования культуры. Данный процесс существенно стимулировал исследования в области культуры. Огромное влияние на становление культурологии оказали философия и социология. В работах М. Вебера, А. Вебера, В. Виндельбанда, Н. Гартмана, Г. Риккерта, В. Дильтея, Р. Кронера, Э. Кассирера, Э. Гуссерля, К. Юнга, Г. Зиммеля, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Карсавина, П. Флоренского, С. Франка, Г. Шпета, М. Бахтина, А. Лосева, О. Фрейденберг и многих других мыслителей сформулированы основные идеи этой науки, осмысливаются различные подходы к исследованию культуры и человека, ее творца и носителя, вырабатывается язык этой науки. Особенно плодотворно культура исследовалась в рамках философии культуры — философской дисциплины, ориентированной на постижение культуры как универсального и всеобъемлющего феномена.

В русле вышеобозначенного процесса в культурологии в 80-х гг. XX в. началось развитие методологии истории повседневности в современном ее понимании отечественными историками, что породило поиск новых научных ориентиров, методик. Повседневная жизнь стала предметом научного интереса не только истории, но также философии, социологии, психологии и культурологии. В настоящее время активно развивается такое направление, как «новая социальная история», трактуемая исторический процесс как диалектическое взаимодействие системообразующих факторов. Общетеоретические источники этого направления находятся в трудах А.Я. Гуревича, А.С. Ахиезера, Н.И. Лапина.

За последние тридцать лет произошел постепенный сдвиг в употреблении историками термина культура: ранее им обозначалась высокая

культура, теперь же сюда входит и культура повседневности, то есть быт-чай, жизненные ценности и образ жизни. Иначе говоря, историки приблизились к антропологическому взгляду на культуру⁷.

Однако необходимо отметить, что в данном исследовании история повседневности, о которой говорилось выше, является неотъемлемой частью новой культурной истории.

Выражение новая культурная история вошло в оборот в конце 1980-х гг. <...> Сегодня новая культурная история преобладающая форма культурной истории, а по мнению некоторых, и истории как таковой. Она следует новой парадигме, то есть такой модели нормальной практики, из которой возникает новая исследовательская традиция. <...> Новая культурная история выросла из исторической антропологии, о которой уже шла речь ранее, и некоторые из ее ведущих представителей, такие как Натали З. Дэвис, Жак Ле Гофф или Кит Томас, принадлежат к обоим направлениям⁸.

Современный интерес к деятельности светских салонов также обусловлен чрезвычайно влиятельному в западной исследовательской литературе феминистскому направлению внутри новой культурной истории. «Далеко идущие последствия для культурной истории имела другая борьба за независимость — феминизм, в равной мере стремившийся к обличению мужских предрассудков и к утверждению женского вклада в культуру, который практически игнорировали традиционные метаповествования»⁹. И хотя в России феминистская новая культурная история отстает в своем развитии по сравнению с европейской и североамериканской историографией, тематика влияния хозяек светских салонов на развитие политической и общественной жизни может стать полем активных научных исследовательских проектов для отечественной историографии.

Эксперт по истории культуры новейшего времени П. Берк писал: «Некоторые теоретики, от Хабермаса, занимавшегося кофейнями как средоточием политических споров, до Фуко, изучавшего внутренние планы школ и тюрем как одно из орудий дисциплины, заставили историков обратить внимание на важное значение пространства священного и профанного, публичного и частного, мужского и женского и т. д. Историки науки занимаются теперь пространством лабораторий и анатомических театров, а историки империи — внутренними планами военных лагерей и бунгало. Историки искусства рассматривают галереи и музеи не только в качестве институций, но и как пространства особого рода, историки драмы изучают театральные здания, музыкальные историки —

внутреннее убранство оперных и концертных залов, а историки чтения — пространственную планировку библиотек»¹⁰.

Таким образом, в современной гуманитарной науке именно новая культурная история является новейшей исследовательской парадигмой, которая включает в себя принцип междисциплинарного подхода к научному знанию.

В исследовании великосветских салонов необходимо использовать термин «практики», который все чаще «фигурирует в качестве основной категории в антропологии, философии, истории, социологии, политической теории, теории языка, литературной теории»¹¹.

В современной литературе «практики — один из лозунгов новой культурной истории: история религиозных практик вместо теологии, история речи вместо лингвистики, история экспериментов вместо научной теории. <...> История практик — одна из областей современной историографии, в наибольшей мере подверженная влиянию социальной и культурной теории. С точки зрения практик Норберт Элиас, чей интерес к истории застольных манер когда-то казался эксцентричным, теперь прочно ассоциируется с магистральным движением науки. Целый ряд исследований по истории потребления вдохновлены работами Бурдьё о социальных различиях, а разработанная Фуко концепция дисциплинарного общества, которое использует новые практики ради укрепления системы подчинения, была перенесена на самые разные общества во многих частях света»¹².

В России разработкой концепции теории практик занимается профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге — В. Волков, который много размышляет о социальных и политических практиках. В рамках изучения салонной жизни российского дворянства практики следует воспринимать как привычно повторяющееся социокультурное поведение, своего рода социальный обычай. В. Волков отмечает, что именно практики «раскрывают» основные способы социального существования, возможные в данной культуре в данный момент истории. В этом смысле они понимаются как «различные упорядоченные совокупности навыков целесообразной деятельности (практического искусства), которые в то же время раскрывают человеку возможности состояться в том или ином социальном качестве»¹³. В подтверждение данного тезиса следует отметить, что салоны являлись одной из основных форм социальной коммуникации аристократии во Франции XVII—XVIII вв. и в России XIX в.

Подводя итог всему вышесказанному, можно вновь процитировать П. Берка: «Последняя треть XX в. — это поворот от линейной к социо-

культурной истории»¹⁴ и с уверенностью утверждать, что в ходе исследования общественных практик салонной жизни основным является социокультурный метод, позволяющий раскрыть повседневную жизнь дворянства как результат взаимодействия политических, экономических и культурных факторов.

Таким образом, следуя логике развития современной отечественной гуманитарной науки, в которой наблюдается ажиотаж идеи междисциплинарности исследований, изучение практик салонной жизни российского дворянства выходит из-под влияния устаревшей концепции исключительной литературности и музыкальности собраний, и становится актуальным вопросом в русле новой культурной истории.

¹ *Гирц К.* Интерпретация культур. М., 2004. С. 531–532.

² Там же. С. 20.

³ Там же. С. 530.

⁴ *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992. С. 158.

⁵ *Стогов Д.И.* Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX — начало XX в.). СПб., 2007. С. 4.

⁶ Там же. С. 19.

⁷ *Берк П.* Историческая антропология и новая культурная история // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 15–48. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html> (дата обращения: 17.10.2014).

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Волков В.В.* О концепции практик в социальных науках // Социологические исследования. 1997. № 6. С. 10.

¹² *Берк П.* Указ. соч.

¹³ *Волков В.В.* Указ. соч. С. 16.

¹⁴ *Берк П.* Указ. соч.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.: НА ПРИМЕРЕ ПАРИЖА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЯХ

Захарова Евгения Андреевна

МГУ им. М.В. Ломоносова,

г. Москва

***Аннотация:** В статье на основе метода ментальных карт проведен анализ русскоязычных путеводителей по Парижу конца XIX — начала XX в. Выделяются группы достопримечательностей, характерных для города как туристического центра того времени. Особое внимание уделено сопоставлению характеристик самых популярных объектов, что позволяет выявить общие элементы при конструировании туристических достопримечательностей в путеводителях.*

***Ключевые слова:** достопримечательность, история туризма, ментальные карты, Париж.*

При изучении больших городов как туристических дестинаций на рубеже XIX–XX вв. одним из основных источников являются путеводители, активно развивавшиеся в тот период. Долгое время они использовались историками в качестве дополнительного источника, в основном при воспроизведении образа города в конкретной исторической эпохе. Однако возможности данного типа изданий как исторического источника представляются гораздо более значительными. Продолжая уже существовавшую практику справочных изданий по городу, путеводители эволюционировали как жанр, что отражало изменения, происходящие в новой туристической сфере, а собирая и отбирая для туриста информацию различного характера, посвященную городам, они стали важнейшим средством репрезентации города как туристического центра. Очевидно, что выбор представленных в них объектов для посещения был далеко не случайным¹. В этом плане становятся важны не только те объекты, которые упоминаются путеводителями, но и те, которые опущены

их авторами. Что именно притягивает людей в городе, что является городской туристической достопримечательностью? И почему тот или иной объект становится или не становится ей?

При таком подходе к путеводителям и такой постановке вопросов представляется необходимым использование метода ментальных карт, основывающегося на частоте упоминания объектов, из которой делается вывод об их значимости для респондента. Данный метод, впервые использованный в урбанистике Кевином Линчем, активно применяется представителями различных социальных наук к изучаемому ими пространству, и в последнее время получил распространение и среди исследователей, занимающихся исторической урбанистикой². В своей статье на примере Парижа рубежа XIX–XX вв. я хотела бы показать те возможности, которые открывает данный метод для изучения города как туристического направления. В данном случае было изучено содержание 16 русскоязычных путеводителей в период с 1889 по 1914 г., посвященных конкретно Парижу³. В них были подсчитаны упоминающиеся авторами объекты, а затем был проведен контент-анализ описания наиболее часто встречающихся объектов для выявления общих характеристик, позволяющих считать их достопримечательностями.

В рассматриваемых путеводителях можно выделить несколько групп объектов, обладающих значимостью для туриста: с одной стороны, это материальные объекты, созданные руками человека: триумфальные арки, башни, памятники, научные учреждения, общественные здания, церкви, фонтаны; с другой стороны, городские пространства: улицы, площади, парки, сады, скверы.

Среди первой группы наиболее часто в путеводителях встречались различные общественные здания и монументы, общее количество которых достигает ста восемнадцати. Сюда входили различные дворцы, общественные и научные учреждения, библиотеки, иногда — но очень редко — частные дома. Во всех путеводителях присутствовали: Городская ратуша, Дом инвалидов, Дворец правосудия, Биржа, Бурбонский дворец, Елисейский дворец, Лувр, Люксембургский дворец, Опера, Пале-Ройяль, Пантеон, Сорбонна, Национальная библиотека. Надо отметить, что архитектуре этих зданий путеводители уделяли мало внимания, иногда прямо указывая обратное: «В архитектурном отношении Тюильрийский дворец ничем не замечателен, но ни одно здание в Париже, за исключением городской ратуши, не богато так историческими воспоминаниями и ни одно не имело такой трагической судьбы, как этот дворец»⁴. Главную часть описаний составлял рассказ о современном значе-

нии этих знаний и об исторических событиях, связанных с ними. Половина из этих зданий имела политическое значение: Бурбонский дворец является местом заседания палаты депутатов, Дворец правосудия — главный суд, Елисейский дворец — резиденция французского президента, Люксембургский дворец — место заседания сената; в Пале-Ройяле располагается государственный совет. Кроме того, эти здания, за исключением Дома инвалидов, находились на тех улицах города, которые сами по себе являлись объектами посещения — на улице Риволи, Больших бульварах, Елисейских Полях, бульваре Сен-Мишель.

Также эти здания, кроме Елисейского дворца и Пале-Ройяля, были доступны не только для внешнего обозрения, но и для внутреннего визита, который мог быть интересен как с архитектурной точки зрения (так, рекомендовалось осмотреть залы в Ратуше, Люксембургском дворце, Пантеоне, Дворце правосудия), культурной (Лувр, Сорбонна, Национальная библиотека, Пантеон), а также с целью приобщения к различным сторонам современной жизни Франции, например — политической, как в случае посещения дебатов в Люксембургском дворце, или финансовой — при посещении Биржи в определенные часы. Именно эти объекты, благодаря своему историческому значению, позволяли путешественникам вводить рассказ об истории Франции, т. к. часто они являлись резиденциями королей и важных государственных деятелей (Лувр, Пале-Ройяль, Дворец правосудия), высшей знати (Бурбонский, Люксембургский, Елисейский дворцы) или местом важных исторических событий, как городская Ратуша. Частные же дома, несмотря на свои архитектурные достоинства, практически не упоминались в путеводителях (исключения составляют путеводитель Лагова и «Путеводитель по Парижу, выставке, его окрестностям, Берлину и Вене»), что, с одной стороны, могло быть связано со слабой разработкой маршрутов в путеводителе, а с другой — тем, что архитектурных достоинств было не достаточно для того, чтобы стать городской достопримечательностью.

Следующей многочисленной группой объектов, встречающейся в путеводителях, являлись церкви. Во всех изданиях были представлены три церкви из 57: собор Парижской Богоматери, церковь Святой Магдалены и Сен-Шапель. Затем по количеству упоминаний следовали Сен-Жермен-Л'Оссеруа, Сен-Жермен-де-Пре и Сакре-Кер. Подобно зданиям, все эти церкви сочетали в себе несколько характеристик: четыре из них были самыми древними церквями Парижа, располагались на туристических улицах или в новых туристических районах (Сакре-Кер), а также были связаны с яркими историческими персонажами (Сен-Ша-

пель — часовня, где молился Людовик IX Святой) или событиями (Сен-Жермен-Л'Оссеруа, где был дан сигнал к убийству гугенотов в Варфоломеевскую ночь⁵). Кроме того, все они являлись яркими архитектурными памятниками либо прошлого, либо настоящего (как церковь Святой Магдалины и Сакре-Кер). К тому же церкви могли брать на себя функции и других достопримечательностей, так, колокольни собора Парижской Богоматери и Сакре-Кера (или его паперть) были прекрасной смотровой площадкой для обозрения города.

В отборе путеводителями для туриста башен и колонн, встречающихся в городе, были важны те же признаки, что и у предыдущих достопримечательностей, но к ним добавлялась еще одна специфическая характеристика: они были интересны прежде всего тем, что с них можно обозревать окрестности. Соответственно, здесь решающую роль начинает играть вид на город, открывавшийся с вершины монумента, что во многом определялось его местоположением. В связи с этим во всех рассматриваемых путеводителях были представлены башня Сен-Жак, расположенная на площади Шатле, вид с которой «один из самых красивых в Париже»⁶ благодаря ее центральному положению, Июльская колонна на площади Бастилии и, разумеется, Эйфелева башня, с которой был «виден не только весь Париж, но и горизонт с радиусом почти в 100 метров воздушной линии, потому что это сооружение превосходит высоту все возвышенности, окружающие Париж»⁷.

Интересно, что памятники различным историческим персонажам, в большом количестве представленные в Париже (по замечанию одного из путеводителей, французы обожают ставить памятники своим деятелям), в тот период не представляли собой ярко выраженной достопримечательности. Из 53 упомянутых в путеводителях памятников наиболее часто упоминаются следующие три: Людовику XIV (12 упоминаний), Жанне д'Арк и Леону Гамбетте (встречаются в 11 путеводителях), причем все они находились на пути следования туристического маршрута. Во многом это могло быть связано с тем, что упоминание памятников тому или иному человеку требовало исторических уточнений, на которые путеводители не оставляли места.

Путеводители в большинстве своем стремились к сокращению описания исторических событий, которые порой были представлены в их первоначальном источнике. Так, «Путеводитель по Парижу» издательства товарищества Народная польза пишет: «В настоящем русском издании сделаны, однако, некоторые сокращения ненужного балласта, увеличивавшего без существенной необходимости объем путеводителя

и затруднявшего пользование им: таковы, напр., чересчур подробные исторические сведения»⁸. Помимо сокращения общего количества текста, а следовательно, и объема путеводителя, причиной для уменьшения исторических описаний могло быть, с одной стороны, то, что большинство из них не имели символической ценности для русского туриста, а с другой — необразованность туристов, использующих путеводители. Повышенное внимание к современной стороне городской жизни обусловило то, что в определении туристической достопримечательности превалировала современная составляющая, причем настолько, что объект, являющийся только символом современности, мог стать одной из главных городских достопримечательностей, как было в случае с Эйфелевой башней или городской канализацией. С другой стороны, объект, обладающий только исторической характеристикой, без связи с современностью, достопримечательностью не становился, как, например, в случае с аренами Лютеции, которые, несмотря на их историческую ценность, а также на близость к Пантеону и ботаническому саду, упоминались всего в двух путеводителях.

При анализе второй группы туристических объектов — городских пространств как туристических достопримечательностей необходимо помнить, что они одновременно — и чаще всего — выступали в путеводителях как связующее звено между достопримечательностями, как часть туристического маршрута. Улицы, площади и скверы могли упоминаться в путеводителях не как собственно место повышенного интереса со стороны туриста, а как то место в городском пространстве, где располагалась та или иная достопримечательность. Тем не менее некоторые из них обладали определенными характеристиками, которые делали эти места заслуживавшими посещения вне зависимости от расположенных на них достопримечательностей.

Из 63 площадей, упоминаемых в путеводителях, только четыре встречались во всех 16 путеводителях: это Вандомская площадь, площади Бастилии, Республики и Согласия, однако, несмотря на одинаковую частоту упоминания, их значимость в туристическом отношении была различна. Площадь Согласия, встречающаяся во всех рассмотренных путеводителях, в восьми⁹ из них маркируется тем или иным образом как место, заслуживающее отдельного посещения. С одной стороны, этим она была обязана своему положению между садом Тюльери и Елисейскими Полями, которые также являлись одной из главных достопримечательностей Парижа. С другой — она обладала характеристиками, делавшими ее притягательной в туристическом отношении. В описании

площади Согласия (которое являлось самым пространным среди описанных площадей) путеводители рассказывали об истории площади (наибольшее внимание при этом обращалось на казни, проводившиеся здесь во время Революции)¹⁰, ее современном значении (площадь как место национальных демонстраций к памятнику Страсбурга¹¹), о ее памятниках (фонтаны, Луксорский обелиск, статуи французских городов¹²), а также давали ей оценку с эстетической точки зрения: это была самая красивая, самая большая и самая любопытная площадь¹³ в Париже, с которой к тому же открывался прекрасный вид.

В семи путеводителях площади Бастилии и Республики¹⁴ отмечены как место, на которое туристу стоило обратить особое внимание. Их характеристики во многом были сходны: обе обладали достопримечательностью, которую турист должен был увидеть (Июльская колонна и статуя Республики соответственно), обе были узловыми центрами туристических маршрутов, т. к. через них проходили бульвары. Однако если площадь Республики была значима прежде всего своей статуей, описание которой занимало основное место в рассказе о ней, то площадь Бастилии являлась значимой и сама по себе: ведь именно здесь находилась знаменитая тюрьма. Интересно, что Вандомская площадь, в принципе обладавшая теми же характеристиками (относительно центральное положение и Вандомская колонна), что и предыдущие, выделялась путеводителями как достопримечательность самого высокого ранга всего три раза. Возможно, это объяснялось тем, что, во-первых, несмотря на свое центральное положение в городе, она все же лежала несколько в стороне от туристических маршрутов, во-вторых, она не обладала значимой исторической коннотацией, в-третьих, Вандомская колонна была менее привлекательна в туристическом отношении, чем Июльская, т. к. вид с нее был хуже и возможность подняться на нее была ограничена¹⁵.

Очевидно, что именно сочетание истории и современности, эстетической красоты, наличие памятников и монументов, заслуживающих внимания, а также расположение в центре города или на важном туристическом маршруте, делали площадь туристической достопримечательностью. Этим можно объяснить, например, тот факт, что площадь Вогезов — одна из наиболее старинных площадей Парижа, встречается всего в восьми путеводителях. Она была тесно связана со средневековой французской историей, на ней находился памятник Людовику XIII, но она была расположена в стороне от других туристических достопримечательностей и мало связана с современной жизнью города. При этом достопримечательность, находящаяся на площади, не должна была пре-

восходить ее по своему значению, как это было, например, в случае с площадью Городской думы (упомянута в семи путеводителях, тогда как Ратуша есть во всех), собора Парижской Богоматери (в восьми путеводителях, собор Парижской Богоматери — во всех) или Оперы (в девяти путеводителях, Опера — во всех).

В путеводителях упоминается 172 улицы, которые прежде всего были связующим звеном между монументами. Однако некоторые из них выделялись путеводителями как достопримечательности прежде всего благодаря тому, что улицы служили тем пространством, где турист мог познакомиться с современной городской жизнью. Такими пространствами были Большие бульвары от площади Республики до площади Мадлен (бульвары Сен-Мартен, Сен-Дени, Бон-Нуviel, Пуасонньер, Монмартр, Итальянский, Капуцинов, Мадлен, которые часто объединялись в один под названием Бульвар), бульвар Сен-Мишель, Елисейские Поля, улица Риволи и стоящая немного особняком улица Мира. На этих улицах, во-первых, располагались основные достопримечательности, во-вторых, здесь был центр светской жизни, в-третьих, здесь находились крупнейшие магазины, которые заслуживали посещения. Елисейские Поля и Большие бульвары — это место, где каждый турист должен был непременно побывать, ведь здесь «открывалась пестрая панорама шумной столичной жизни»¹⁶.

Другим местом, где турист мог увидеть городскую жизнь, были парки и сады. Из 14 парков и садов Парижа, во всех путеводителях представлена половина. Как и улицы, они являлись средоточием светской жизни города, здесь можно было увидеть высшее общество, как в Булонском лесу, или, напротив, познакомиться с тем, как проводили свой досуг рабочие, как в парке Бютт-Шомон¹⁷. Подобное внимание к паркам может быть также объяснено тем, что они воспринимались путеводителями как место отдыха для туриста от чисто городских достопримечательностей. Кроме того, в описании парков путеводители обращали внимание на то, как они устроены и в каком порядке содержатся, часто сопоставляя их с отечественными аналогами¹⁸.

Подводя краткий итог, можно выделить следующие критерии отбора туристических достопримечательностей на рубеже XIX–XX вв.: их современное значение, историческая ценность, топографическое положение и связь с другими объектами туризма. В определенной степени туристическую достопримечательность можно рассматривать как одну из разновидностей понятия *lieu* («место»), введенного в научный оборот французским антропологом Марком Оже¹⁹. *Lieu*, по определению Оже,

дополненным Бертраном Леви, обладает четырьмя основными характеристиками, а именно: оно должно быть историческим, идентифицирующим, должно обладать символическим смыслом и должно быть связано с человеком²⁰. Кроме того, lieu, как правило, связано с историей и памятью. Однако для иностранных туристов в заграничном городе практически не существовало памятных мест, поэтому для обоснования туристической ценности объекта путеводители были вынуждены все больше обращаться к современности, которая, в отличие от истории чужой страны, знакома и понятна всем.

Таким образом, подобный анализ путеводителей, основанный на методе ментальных карт, позволяет не только понять, что именно являлось достопримечательностью в рассматриваемый исторический период, но и выявить основные характеристики, необходимые для конструирования городской достопримечательности, что делает более перспективным изучение проблем, связанных с историей городского туризма.

¹ *Lévy B., Matos R. L'image comparée de Genève dans les sources littéraires et touristique au XX siècle. Un regard epistemologique. P. 183 // La Suisse comme ville. Itinera. Bâle, 1999. P. 183–192.*

² О ментальных картах см.: *Lynch K. The Image of City. Cambridge, 1960.* О применении в исторической науке см.: *Лазарев А.В. Городское пространство Парижа XV — первой половины XVII вв. глазами современников: дис. ... канд. ист. наук. М., 2011.*

³ *Биншток В.Л. Париж в 1900 г. Полный путеводитель по Парижу. М., 1900; В Париж на выставку! Практический иллюстрированный Путеводитель по Парижу и всемирной выставке 1900 г., с приложением двух планов, русско-французского словаря и календаря. Варшава, 1900; Горлов К. Париж в 14 дней: С прил. плана Парижа и словаря необходимых слов и фраз на трех яз. СПб., 1906; Лагов Н.М. Париж, его обычаи и порядки, развлечения и прогулки, достопримечательности, окрестности и др. места. СПб., 1911; Леонард Н.В. В Париж на выставку! Путеводитель по Парижу, его окрестностям и парижской всемирной выставке 1889 года. СПб., 1889; Ненашев А.Г. Путеводитель по Западной Европе, Парижу и всемирной выставке. СПб., 1900; Париж в кармане: Полный, подробный путеводитель по Парижу и окрестностям, с планами на русском и французском языке и кратким словарем. Выставка 1900 г. СПб., 1900; Париж и его окрестности. Полный русский путеводитель для едущих на всемирную выставку 1889 года. М., 1889; Париж и окрестности. Краткий путеводитель для русских. Издание И.С. Швейцера. Париж, 1900; Путеводитель по Парижу. Описание всемирной выставки 1900 г. СПб., 1900; Путеводитель по Парижу и всемирной выставке. СПб., 1889; Путеводитель по Парижу, выставке, его окрестностям, Берлину и Вене. СПб., 1900; Редкин А.П. Путеводитель на выставку в Париж через Берлин и Кельн. СПб., 1900; Париж. Описание города и его окрестностей и путеводитель по музеям. «Русский Бедкер». СПб., б.г.; Русский турист. Путеводитель по Западной Европе. Париж.*

М., 1894; *Туношенский В.В.* Спутник русского туриста по всемирной выставке 1900 года и Парижу. СПб., 1900.

⁴ *Туношенский В.В.* Указ. соч. С. 173.

⁵ *Леонард Н.В.* Указ. соч. С. 153.

⁶ Там же. С. 154.

⁷ *Горлов К.* Указ. соч. С. 84–85.

⁸ Путеводитель по Парижу. СПб., 1900. С. V. См. также: *Биниток В.Л.* Указ. соч. С. 4; Париж и его окрестности. М., 1889. С. 1.

⁹ Путеводитель по Парижу и всемирной выставке; *Леонард Н.В., Ненашев А.Г.* Париж в кармане. Путеводитель по Парижу, выставке, его окрестностям...; *Редкин А.П., Горлов К.* Париж. Описание города и его окрестностей...

¹⁰ Париж в кармане. С. 66.

¹¹ Париж. Русский Бедкер. С. 46.

¹² Путеводитель по Парижу. СПб., 1900. С. 94.

¹³ *Ненашев А.Г.* Указ. соч. С. 223; В Париж на выставку! С. 36.

¹⁴ *Леонард Н.В.* В Париж на выставку! *Ненашев А.Г.* Путеводитель по Парижу, выставке...; *Редкин А.П., Горлов К.* «Русский Бедкер».

¹⁵ Путеводитель по Парижу. СПб., 1900. С. 96.

¹⁶ Париж и окрестности. Издание И. С. Швейцера. С. 13.

¹⁷ См., напр.: *Редкин А.П.* Указ. соч. С. 84.

¹⁸ Там же. Также см., напр.: Русский турист. С. 70.

¹⁹ *Augé M.* Non-lieux. Paris, 1992.

²⁰ *Lévy B.* La place urbaine en Europe comme lieu idéal. P. 2.

ИСТОРИЯ ДЕТСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ: ИЗ ПРАКТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лярский Александр Борисович

Северо-Западный институт печати СПГУТД,
г. Санкт-Петербург

***Аннотация:** Целью статьи является описание возможностей применения междисциплинарного подхода для освещения определенных сюжетов истории детства в России. В истории детства, хотя она и провозглашается полем, в котором априори необходимы междисциплинарные исследования, наиболее активно применяется антропологический подход. Основываясь на собственном опыте исследования истории детства в России конца XIX — начала XX в., автор демонстрирует возможности междисциплинарного подхода в исследовании экономической ценности ребенка и некоторых аспектов молодежного активизма.*

***Ключевые слова:** история детства, междисциплинарность, антропология.*

История детства (а под детством мы будем понимать, согласно декларации прав ребенка ООН возраст до 18 лет) с точки зрения применения междисциплинарного подхода привлекает внимание в силу культурной и социальной многозначности детства, психологической неустойчивости «состояния детства», а также его определяющего значения для формирования и вызревания человека («мальчик — отец мужчины»). И здесь — то как раз в междисциплинарных исследованиях недостатка нет. Мы все признаем, что детство — сложный феномен, что изучать его нужно именно междисциплинарно, но как это делать конкретно — не очень ясно. На мой взгляд, сейчас ситуация в изучении истории детства обстоит следующим образом: историки, антропологи, социологи и психологи активно ссылаются друг на друга и используют наработки друг друга при выстраивании объяснительных схем или заполнения концептуальных пробелов. Сложнее с настройкой взгляда — т. е. с тем, как междисциплинарный подход влияет на выбор объектов изучения и методов, соответствующих этим объектам. Тут, правда, у историков детства сложился очень хороший

альянс с антропологами, об издержках и пользе которого я бы и хотел поговорить.

Издержки очевидны: они, как говорится, являются продолжением достоинств этого метода — антропологический подход часто плохо различает исторические периоды и тяготеет к описанию нерасчлененных массивов: точнее, расчленение идет не по тем точкам, к которым привыкли историки. С одной стороны, это позволяет видеть взаимосвязи там, где историки довольно часто эти взаимосвязи не видят (например, для антрополога удобнее увидеть вырастающее поколение людей в истории (например, людей 30-х гг. XX в. как тех, кто родился в 1900-х гг., с идеями и нормами еще дореволюционной формации), проще преодолеть зачарованность датами и т. д.). С другой стороны, именно это позволяет антропологу говорить обо всем феномене «позднесоветского детства» 1953—1991 гг., в то время как для историка такое построение часто является неприемлемым. Очевидно, что элементарная рефлексия способствует минимизации подобных издержек.

Что касается плюсов, то, по моему мнению, без антропологии история детства в принципе невозможна, причем здесь речь идет именно о настройке взгляда. Детский фольклор, изучение ритуалов, описание субкультур — все это изучается в рамках истории детства только потому, что это изучает антропология. Возникает закономерный вопрос — почему же автор предпочитает различать историю и антропологию детства или не склонен говорить об истории детства как о явлении исторической антропологии, благо это вполне закономерный подход?

Дело в том, что, на мой взгляд, это дисциплинарное различие еще не исчерпало своей эвристической ценности. Для разъяснения своей позиции приведу примеры из собственных исследований. При изучении истории детства начала XX в. — до 1917 г. — я заинтересовался вопросом об экономической ценности ребенка. Что представляет собой ребенок как экономическая единица, как с точки зрения больших экономических процессов, так и с точки зрения экономики конкретной семьи? На первый взгляд эта тема лежит вне рамок проводимой конференции, но как исследовательское поле представляет несомненный интерес именно в связи с особенностями и границами междисциплинарности в истории детства. Приведу некоторые конкретные данные. Получается небезынтересная картина, связанная с положением ребенка в модернизирующейся промышленности России конца XIX — начала XX в. Схема, унаследованная нами от советской историографии, сводится к тому, что жестокая эксплуатация детского труда являлась неотъемлемой чертой

развивающегося капитализма, ситуация менялась только под воздействием обостряющейся социальной обстановки и борьбы рабочих за свои права, что заставляло правительство вводить законодательные ограничения на эксплуатацию детей¹. Несмотря на то что исследования последнего времени способствуют изменению нашего взгляда на положение рабочего класса в России², эти изменения не коснулись истории детского труда. Я думаю, что дело не в том, чтобы требовать от исследователей пересмотра всех взглядов светской историографии, а в том, чтобы снять некий налет морального подхода к проблеме (в духе раннего Ницше). Когда современные исследователи вообще говорят о детском труде (даже минуя вопросы собственно промышленного труда), они часто находятся в плену наших собственных представлений о гуманности и месте ребенка в доходно-расходном балансе семьи³. На мой взгляд, мы крайне нуждаемся в неморальной истории детства. Речь, конечно, идет не об истории аморального поведения детей или их родителей, не об истории жестокости по отношению к подрастающему поколению — это, собственно, и есть моральный подход к проблеме. Он связан с осуждением подобных практик; возможно, именно поэтому подобные факты и бросаются нам в глаза. Дело в другом: именно потому, что наше отношение к детству слишком морально, оно отрицает нормы и практики других эпох. Мы нуждаемся в истории детства, исходящей из того, что ребенок может быть нежелательной неизбежностью, что ребенок был рабочей силой и экономическим ресурсом, и это — вовсе не «эксплуатируемое» или не «незамеченное» детство, а единственное детство, которое было. В связи с этим очень любопытно наблюдать, как двоятся не отрегулированный рефлексией взгляд некоторых современных исследователей крестьянского детства: детский труд у крестьян, необыкновенно тяжелый и по нашим меркам несоразмерный, рассматривается как трудовое воспитание или часть народной педагогики — т. е. рассматривается иначе, чем детский труд на фабриках и заводах⁴. Но это пасторальное описание входит часто в противоречие с утверждениями о тяжести крестьянской жизни, зато вполне находит свое объяснение в привычном для нас противопоставлении города и деревни как миров культуры и природы, где город обладает самыми отрицательными коннотациями.

Но что же мы получим, если откажемся от морального взгляда на детство? Мы получим понимание того, что труд ребенка поощрялся родителями, в поисках дохода для семьи пытавшихся пристроить детей на фабрики любыми путями; что фабриканты не лгали, когда говорили, что родители приводят детей сами (конечно, умалчивая при этом о соб-

ственной выгоде). В случае нужды никакие законы, ограничивающие детский труд не могли остановить семью: давались взятки и «любой пристав в городе или урядник в деревне, а то и просто поп, с удовольствием за три рубля увеличивал годы рождения»⁵. Учитывая крестьянские корни российского пролетариата, значимость детского труда на фабриках достаточно ярко обрисовал еще министр финансов Вышнеградский, считавший фабричную инспекцию не чем иным, как «сентиментальностью»: «Фабрикантам надо помогать, а не мешать. Малолетние служат для уплаты податей»⁶. Если же представить себе не крестьянскую, а городскую рабочую семью, то самый абстрактный арифметический подсчет показывает, что, если в семье по каким-то причинам работал только отец, то выход на фабричную работу малолетнего сына увеличивает доход семьи на четверть, а подростковый заработок добавляет к доходной части половину прежнего дохода. Неудивительно поэтому, что некоторые забастовки подростков на фабриках прекращались самими родителями: «Первая неделя прошла очень организованно. <...> Вторая неделя была просто кошмарная. Началось с того, что родители некоторых из подростков избили их за отказ идти работать, других насильно приводили к директору фабрики и умоляли, чтобы он их принял обратно»⁷.

В этом случае динамика отношения к детскому труду, а значит, и положение ребенка в России может быть представлена несколько иначе, чем обычно. Эксплуатация детей на фабриках должна восприниматься не только как гнусное свойство русского капитализма, а как продолжение их — детей — низкого статуса и их эксплуатации в доиндустриальном обществе, в непромышленной, прежде всего в крестьянской среде, чем и будет беззастенчиво пользоваться промышленник. Несправедливое, неравноправное, но вполне привычное отношение к ребенку в рамках традиционного половозрастного разделения труда было терпимо до тех пор, пока новая экономическая реальность не дала возможность проявиться такому архаичному отношению в наиболее бесчеловечной — индустриальной — форме, в виде беспощадной эксплуатации труда малолетних вне семьи, а это, в свою очередь, сначала порождает общественную реакцию и законодательные ограничения, что уже, в свою очередь, начинает изменять и отношение к детскому труду, и сам статус ребенка. Более того, это изменяет и саму портившую жизнь ребенку капиталистическую среду, заставляя ее модернизироваться вопреки желаниям промышленников. Недаром еще В.Ю. Гессен сделал вывод, что «ограничительные правила об использовании труда малолетних рабо-

чих» повысили цену на труд в некоторых районах и заставили интенсифицировать производство, что повлекло за собой и повышение прибыли, а следовательно, и зарплат⁸.

Но что же дает это рассуждение для понимания границ и возможностей междисциплинарного подхода? Возможно, выводы мои будут звучать несколько банально, но представляются мне важными с точки зрения практики исследования. Во-первых, совершенно очевидно, что несмотря на популярность самой идеи междисциплинарности и даже название нашей конференции, есть вещи, которые возможны только в рамках жестких дисциплинарных рамок. В частности — выбор предмета. Всего вышесказанного российская антропология детства, как правило, не улавливает, поскольку этим не интересуется, а история детства уловить может, поскольку обладает и соответствующими привычками, и традициями, а также соответствующим аппаратом именно как часть исторической науки. Разумеется, это связано с традициями, сложившимися как в науке вообще, так и в истории детства в частности. Во-вторых, также очевидно, что в данном случае неприменимость антропологии касается в основном сюжета, зато навыки антропологической рефлексии могут быть с успехом применены как метод, очищающий взгляд исследователя от норм и правил его собственной социальной, исторической сложившейся среды.

Точно так же мы можем с помощью некоторой антропологической настройки взгляда избавиться от некоторой абстрактности и схематизма в объяснении революционного поведения людей. Любые самоочевидные конструкции, такие как борьба за свободу, за экономические блага или влияние пропаганды, являясь формулами, некими эссенциями реальности, далеко не всегда позволяют понять, а что конкретно имеется в виду в конкретном случае. И тут на помощь приходит антропологический подход, ибо, как гласит известная максима К. Гирца «...помещение людей в контекст их собственных банальностей рассеивает туман таинственности»⁹. В частности, в рамках истории детства мне представляется весьма перспективной создание истории революционного движения как истории родственных и социальных связей или истории специфических субкультур. Кто вовлек в революционное движение будущего царевича рабочего Петра Ермакова? Старшие братья¹⁰. Своим «первым революционным впечатлением» младший брат Ю. Мартова называл обыск в их доме, учиненный полицией при аресте старшего брата: «Обыск и арест брата произвели полный переворот в повседневном обиходе нашей семьи и, в частности, нарушили безмятежно протекавшие дни на-

шей детской жизни»¹¹. И так далее — вплоть до хрестоматийного «Мы пойдем другим путем!».

Путь революционера также может быть представлен как специфическая сеть социальных связей, в которые попадает ребенок на производстве. Эти связи складываются на основании общего дела, общего времяпрепровождения и, соответственно, общих взглядов. Вот как, по мнению исследователя А.И. Ацаркина, выглядел путь в партию типичного большевика: «В 1907 году, когда мальчику исполнилось 13 лет, родители привезли его в Петербург и <...> устроили на завод. <...> Спосособный мальчик быстро овладел профессией, но спустя два года, хотя и выполнял работу взрослого, получал всего 50–60 коп. в день. Как-то незаметно он стал все чаще беседовать с рабочими Яковлевым, Ивановым о порядках на заводе, в стране, о рабочей доле, получать от них книжки, в которых говорилось о задачах рабочего класса. В 1910 году Яковлев и Иванов пригласили его в небольшой кружок. <...> Стал приходиться и специальный пропагандист»¹².

Очень похожий путь пройдет на заводе и будущий маршал советского союза Мерецков. Поступив в 15 лет на фабрику, Кирилл практически сразу же попадает в руки к агитатору: «Этот дядя Вася, уже пожилой рабочий, с первых дней взял надо мной «шефство»: показал, как обращаться с инструментом и как беречь его, учил с толком тратить деньги. Ведь в деревне у меня их никогда не было... И вот я у него дома. Дядя Вася наливает чай, расспрашивает меня о деревенской жизни, о семье, и постепенно сам начинает рассказывать. Подбирая нужные слова и взвешивая каждую фразу, просто и доступно описывает он порядки на небе и на земле... Сначала Лапшин заставил меня самого дойти до мысли о том, что помещик мужику не товарищ и добром свою землю не отдаст. Потом перешли к жизни рабочего человека и выяснили, что фабрикант ничем не лучше помещика. А месяца через три постепенно добрались и до царя. Я и не догадывался тогда, конечно, что со мной беседует и меня прощупывает опытный агитатор, член РСДРП»¹³.

Или вот пример, в котором влияние семьи объединяется с общекультурными установками. В 1912 г. из Смоленска в Витебск пришло письмо. Пятнадцатилетний подросток Лазарь Вайнштейн писал пятнадцатилетней же Але Рисиной. Это было любовное послание, и первую — личную — его часть в жандармском отчете не цитировали, указав, что «начало письма частного характера, с любовными объяснениями». Зато следующая часть письма цитировалась очень подробно:

«И ты тоже мечтаешь, но мечтать о том, о чем мечтаешь ты, не должно мечтать в то время, когда мы все готовы встать в ряды и отмстить за павших братьев. Ты мечтаешь о другом. Я человек с твердой волей...

Новостей у меня много. У нас в Смоленске забастовка. Мы, ученики, подняли ее с целью ослабления внешкольного надзора... 22 товарища исключены. Вероятно, и меня исключат. У нас сильное оживление. Устраивают митинги. Если нам не дадут, чего мы просим, то пойдем по городу и каждого встречного учительшуку и надзирашку будем дуть... Забастовали все гимназии, мужские и женские. Если меня исключат, то я буду в Витебске для агитации товарищей. Ожидаю сегодня обыска, но я приготовлен...»¹⁴

Прелесть этого текста заключается в том, что здесь практически все — вранье. Дело в том, что письмо Лазаря Вайнштейна является частью комплекса документов, описывавших ситуацию в среднеучебных заведениях Смоленска зимой 1911/1912 г. — там произошел обычный для того времени конфликт между учащимися и директором одного из учебных заведений. Из этих документов следует, что никакой всеобщей забастовки средних учебных заведений не было. Митинги (тем более во множественном числе) существовали только в воображении автора. Фантазии об избиении учителей, если и обсуждались разгоряченными учениками, то в реальность не воплотились. Исключения из учебного заведения было, но временное и не 22 человек. И — самое главное — даже то, что происходило в реальности, совершенно не требовало от Лазаря Вайнштейна никакого героизма, поскольку, как комментирует полицейский чин, «в ученических беспорядках гимназия Воронина (в ней учился Вайнштейн — А. Л.) никакого участия не принимала и никто из ее питомцев исключен не был». И, судя по всему, об участии Вайнштейна в забастовке полиция ничего не знала, иначе бы об этом не забыли упомянуть — о его родне, по крайней мере, собрали всю имеющуюся информацию. Во всяком случае, в самом жандармском управлении это письмо охарактеризовали как «ложную хвастливую выходку юного еврейчика»¹⁵. В общем, жандармы исходили из того, что сам Вайнштейн никакого участия в описываемых событиях не принимал.

Существование подобного текста открывает нам путь к пониманию повседневности молодежного активизма, вводит в банальность революции нач. XX в. Как известно, человек может говорить неправду, и каждое его слово будет ложью. Но правила, по которым он врет, — чистая правда. Как замечал М. Мамардашвили, «еще Аристотель говорил, что гораздо важнее причины, по которым я люблю, чем предмет любви». Причи-

ны вранья бесценны для историка, потому что в каждую эпоху правила вранья специфичны. Если в рамках одной эпохи молодой человек пытается произвести впечатление на девушку, выдумывая истории о дяде — банкире или об успешном собственном бизнесе, а правила другого времени предписывают врать о своем участии в революции, то понимание этих правил позволяет лучше понять те среды и ситуации, в которых в принципе возможна та или иная ложь.

Перед нами предстает бытовая часть революции, при которой она банализируется, становится модой, кругом общения или языком любви. Более того, этот уровень активизма, при котором культурная и семейная среда подсказывает мысли и практики, должен быть описан не столько как низовой, сколько как базовый. Именно здесь начинается развилка, проявляется вариативность поведения: исходя из одних и тех же посылок можно стать революционером в реальности, можно расстаться с жизнью из-за невозможности осуществить свою мечту, а можно обольщать витебских девиц. И это последнее также будет одним из вариантов революционного поведения. Подобный взгляд способен придать революционной ситуации человеческий оттенок, способен не только показать особенности революционной пропаганды, но и продемонстрировать механизмы порождения революционного активизма из непосредственных человеческих отношений, а значит, сделать его, этот активизм, из очевидного — понятным. Чему, собственно, и может поспособствовать антропология.

Но, подводя итоги, я бы настаивал и на двух указанных ранее аспектах междисциплинарности: во-первых, на ее влиянии на самого исследователя. Наука создается людьми, для которых важно понимание человеческой и культурной подоплеку собственных научных взглядов. Антропологическая рефлексия с этой точки зрения чрезвычайно важна — в конце концов она является одним из способов изгнания тех демонов, которых пытался изгнать еще Бэкон. Во-вторых, мой опыт исследователя безусловно показывает, что междисциплинарность особенно эффективна при некотором сохранении дисциплинарных границ.

¹ *Ацаркин А.Н.* Жизнь и борьба рабочей молодежи в России (1901 — октябрь 1917 г.). М., 1965; *Ацаркин А.Н.* Пролетарская революция и молодежь. Рождение комсомола. М., 1981; *Гессен В.Ю.* История законодательства о труде рабочей молодежи в России. Л., 1927; *Гессен В.Ю.* Труд детей и подростков в России с XVII века до Октябрьской революции. Т. 1. 1927; *Крузе Э.Э.* Петербургские рабочие в 1912—1914 гг. М.; Л., 1961; *Крузе Э.Э.* Положение рабочего класса России в 1900—1914 гг.

Л., 1976; Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. М., 1989; *Рашин А.Г.* Формирование промышленного пролетариата в России. М., 1940.

² *Бородин Л., Валетов Т., Смирнова Ю., Шильникова И.* «Не рублем единым»: трудовые стимулы рабочих текстильщиков дореволюционной России. М., 2010; *Маркевич А.М., Соколов А.К.* Магнитка близ Садового кольца: стимулы к работе на московском заводе «Серп и молот» 1883–2001 гг. М., 2005; *Миронов Б.Н.* Благосостояние населения и революции в имперской России. XVIII — начало XX в. М., 2012; *Поткина И.В.* На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых, 1797–1917. М., 2004; Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX — XX вв. СПб., 2011.

³ *Илюха О.П.* Котя, котя, продай дитя... (детская трудовая миграция в Карелии в конце XIX — начале XX в.) // Родина. 2004. № 11. С. 79–82; *Илюха О.П.* Школа и детство в карельской деревне в конце XIX — начале XX в. СПб., 2007; *Сальникова А.А.* Российское детство в XX в.: История, теория и практика исследования. Казань, 2007; *Синова И.В.* Арендное пользование детьми (об эксплуатации детей в повседневной жизни России во второй половине XIX — начале XX в.) // Патриотизм и гражданственность в повседневной жизни российского общества: материалы международной научной конференции. СПб., 2013. С. 15–20; *Синова И.В.* Дети в городском российском социуме во второй половине XIX — начале XX в.: проблема социализации, девиантности и жестокого обращения. СПб., 2014.

⁴ *Мухина З.З.* Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: традиции и динамика перемен в пореформенной России. М., 2012.

⁵ *Дрязгов Г.* В годы войны // Юношеское движение в России. Вып. 1. М.; Л., 1925. С. 97.

⁶ *Гессен В.Ю.* История законодательства о труде рабочей молодежи в России. Л., 1927. С. 106.

⁷ *Менис Я.* Забастовка мальчиков // Юношеское движение в России. Вып. 1. М.; Л., 1925. С. 107.

⁸ *Гессен В.Ю.* Труд детей и подростков в России с XVII века до Октябрьской революции. Т. 1. 1927. С. 259.

⁹ *Гириц К.* Интерпретация культур. М., 2004. С. 22.

¹⁰ *Жук Ю.* Цареубийца. Маузер Ермакова. М., 2013. С. 3.

¹¹ *Левицкий В.* За четверть века. Революционные воспоминания. Т. 1. Ч. 1. М., 1926. С. 12–14.

¹² *Ацаркин А.Н.* Жизнь и борьба рабочей молодежи в России (1901 — октябрь 1917 г.). М., 1965. С. 95.

¹³ *Мерецков К.А.* Моя юность. М., 1975. С. 28.

¹⁴ ГАРФ. Ф. ДПОО. Оп. 1912. Ед. хр. 25. Ч. 71 (Об ученических организациях и беспорядках по Смоленской губернии). Л. 7 об.

¹⁵ Там же. Л. 16.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ «ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Стоюхина Наталья Юрьевна

Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород

***Аннотация.** Автор обращается к малоизученному явлению культуры — российской истории психологии в провинции на примере Нижнего Новгорода. Очерчен круг значимых проблем, к которым относятся: неясность термина «провинциальная психология»; поиск источников для изучения; периодизация культурного феномена «провинциальная психология»; стремление к объективному изображению картины прошлого. Отдельно автор говорит об источниках историко-психологического знания, которыми могут быть документы на бывшем месте работы искомого персонажа, документы из семейного и государственного архива, книги по педагогике, истории, науке региона, периодические издания интересующего нас периода, картины.*

***Ключевые слова:** история российской психологии, провинциальная психология, периодизация историко-психологического явления, объективное изображение прошлого.*

Возрастающее внимание к истории психологии в последние два десятилетия открывает множество новых возможностей для исследователей. В первую очередь это связано с открытием забытых имен в отечественной психологии. Российская психологическая классика нуждается в монографическом анализе своего подлинного многообразия, когда история российской психологии — история голосов, откликающихся в гулком мировом пространстве отечественной науки и памяти, не привязанной намертво к своему ландшафту.

Вышедшие в печать «Антология российской истории» А.Н. Ждан, словарь «История психологии в лицах», материалы международных конференций по истории психологии «Московские встречи...», материалы семинара по истории психологии в Арзамасе Нижегородской области заставляют внимательного читателя обратить внимание на тот

факт, что в понятие «российская психология» более чем скромно входит информация: а) о психологах, работавших и живших в провинции, никогда не работавших в столицах; б) о психологах русского зарубежья. Если по истории психологии русского зарубежья уже проводятся целостные исследования¹, то по истории «провинциальной психологии», где был бы осмыслен этот культурный и научный феномен, ничего не издано. Отдельные исследования о В.М. Экземплярском², И.В. Страхове³, С.М. Василейском и А.А. Гайворовском⁴, М.М. Рубинштейне⁵, Н.В. Петровском⁶ и других ученых-психологах, работавших в разное время своей жизни в провинциальных вузах, — всего лишь исключения из общего правила: в центре массового изучения по-прежнему являются немногочисленные фигуры психологического советского «столичного генералитета»: Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и пр. Представление о так называемой российской провинциальной психологии как отдельной теме для изучения только наметилось у В.А. Кольцовой⁷.

Что касается историко-психологического знания в курсе изучения истории психологии на психологических факультетах, то ни в одном учебнике и учебном пособии по истории психологии нет даже упоминания об этом научном и культурном феномене, присущем нашей, российской истории. Возникают определенные трудности с переводом понятия на английский язык, ведь, например, в США нет такого понятия, как «провинциальная наука», наука развивается в университетах различных штатов страны, будь то небольшая Айова или огромные штаты Калифорния и Техас. Как объяснить иностранным коллегам, что наука в провинции — это в первую очередь материальные трудности, традиционно испытываемые отдаленными от столицы научными работниками, распространяющиеся на оборудование, командировки, печать. Мы предложили бы такое словосочетание — *local scientific schools*.

Преподаватели курса истории психологии (из них же зачастую формируется немногочисленный отряд российских историков психологии) не занимаются исследованием истории психологии «на местах». Попробуем разобраться, с чем это связано.

Известно, что одним из методов историко-научного исследования является изучение биографий тех, чей вклад в науку оказал влияние на ее развитие. Как пишет Б.З. Докторов, традиционно «биографические исследования трактуются лишь как дополнение к последним, иллюстрация к ним. Подобная практика, с одной стороны, не стимулирует расширение разработок собственно биографической направленности,

с другой — обедняет взгляд на прошлое анализируемой области деятельности: по существу, из нее оказываются убранными ее создатели. Таких “безлюдных” картин прошлого-настоящего множество»⁸. Однако история науки, показанная через биографию конкретного ученого, позволяет показать историю как непрерывно развивающиеся идеи, созданные конкретными людьми. Жизнеописания провинциальных ученых — яркие, но при этом — типичные случаи, раскрывающие типы ментальностей эпохи как значительный фактор истории науки, что очень важно для психологии, находящейся в состоянии смены парадигм, переживающей серьезные внутринаучные конфликты.

В современном научном психологическом сообществе отсутствует адекватное представление о роли и месте в истории науки провинциальных психологов, что, на наш взгляд, связано с тем, что их судьбы остаются не обозначенным и не осмысленным явлением в истории психологии. До сих пор провинциальная психология не осознается как равноправная часть российской психологической науки. Образ провинциальной психологии в России в той немногочисленной части опубликованных материалов состоит из редких фрагментов, осколков некоторых биографий и описаний достижений отдельных ученых-психологов, хотя историком психологии В.А. Кольцовой признается бесспорность интеллектуального потенциала и роль российской провинции, проявившейся «в становлении ключевых процессов в психологической жизни» начала XX в.⁹

К проблеме изучения провинциальной российской культуры еще в начале 1920-х гг. привлек внимание российский ученый-литературовед Н.К. Пиксанов, вводя понятие «культурного гнезда» — «тесного единения, органического слияния культурных явлений и деятелей» (на основе литературного кружка, театра, гимназии)¹⁰, в связи с появлением общего интереса к областному принципу в культуроведении. «В движениях и поворотах “русской”, т. е. общерусской, столичной литературы мы многого не поймем, если не изучим областных культурных гнезд»¹¹. По его представлению, именно в областях есть свой пласт культуры, в частности «литературные гнезда», изучение которых необходимо для последующего использования в описании истории науки и культуры в целом. «Провинция глубоко вдвинулась в столицу и всюду воздвигала в ней свои форпосты»¹². Ввиду глубокой ассимиляции этих двух культурных явлений он предлагал изучать «сплошное» культурное наследие без нарочитого отбора. Центральную и областную культуру нельзя разделять, т. к. «существует непрерывный обмен, два постоянных встречных тока,

сплошное массовое движение между центром и периферией, столицей и провинцией»¹³.

Выделим особенности и трудности исследования этой малоизученной составляющей российской психологии — провинциальной психологии: определение понятия «провинциальная психология»; поиск источников для изучения; периодизация культурного феномена «провинциальная психология»; стремление к объективному изображению картины прошлого. Очевидно, здесь не обойтись без междисциплинарных исследований.

Существует понятийная неоднозначность термина «провинциальная психология». Кого мы можем считать «провинциальным психологом»? Институционализация психологического знания в России произошла на рубеже XIX—XX вв., когда границы психологии только начинали формироваться. К категории психологов российской провинции, работавших на ниве психологии с конца XIX в., относятся богословы, педагоги, врачи.

Так, например, участниками практически всех первых Всероссийских съездов по педагогической (1906, 1909 гг.) и экспериментальной психологии (1911, 1913, 1916 гг.) от образовательной среды Нижнего Новгорода были преподаватели коммерческого и епархиального училища, женской и мужской гимназии, кадетского корпуса. В начале XX в. психология как учебная дисциплина преподавалась в мужской гимназии и в Дворянском институте бывшими выпускниками историко-филологических факультетов столичных императорских университетов. Одному из них — Б.В. Лаврову — принадлежит авторство учебника по психологии для гимназий. Тогда же в Нижнем Новгороде начал свою деятельность психолог религиозно-богословского направления богослов и священнослужитель Н.Н. Боголюбов¹⁴.

В 1920—30-е гг. провинциальная психология обогатилась трудом учителей, врачей и инженеров, пополнивших ряды педологов и психотехников, например, в Нижегородском краевом институте по изучению профзаболеваний, Нижегородском психоневрологическом институте, в психофизиологической лаборатории Нижегородского автомобильного завода им. Молотова. Собственно психотехников и психологов было мало. Судьбы многих участников и деятелей психотехнического и педологического движения после Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях...» (1936 г.) трудно проследить.

Итак, в первой трети XX в. врачи-гигиенисты, психиатры, богословы, литераторы, педагоги, врачи уделяли большое внимание психологи-

ческим проблемам в своих трудах, поэтому нам кажется справедливым, говоря о провинциальной психологии, учитывать разнообразных специалистов, работавших на ниве российской психологии.

Понятие «российская провинциальная психология» объединяет всю совокупность всех специалистов, имевших печатные труды и принимавших участие в деятельности становящегося и развивающегося российского психологического сообщества.

Следующая проблема — «определение соотношения между закономерностями роста культуры в целом и внутренней логикой развития психологического знания. Вплоть до недавнего времени культура изучалась по отраслевому принципу, т. е. как некие параллельные линии исследовались отдельно искусство, религия, философия, наука, образование и т. д.»¹⁵, в результате раздельно осмыслялись культурный процесс и эмпирическое описание его составляющих. Пытаясь ответить на эти вопросы, психолог в качестве источников использует как традиционные, так и нетрадиционные виды источников. Куда же обращаться за материалом и что там может ждать исследователя?

А) *На место работы искомого персонажа истории*, каким чаще всего является кафедра психологии в областном педагогическом вузе. Как представлены ключевые фигуры истории «местной» психологии «на местах» — в учебных заведениях, где аккумулировалась научная жизнь в провинции? Зачастую о предшественниках нынешних ученых можно прочесть скудную справочную информацию только в юбилейных сборниках, посвященных круглой дате создания областного вуза. Зачастую на кафедре, основанной известным когда-то ученым, почти не знают о его научном творчестве, даже не описана его библиография, не говоря о биографии.

Б) *В архив*. Увы, немногие историки психологии работают в архивах, гораздо удобнее остановиться и ограничиться на изучении и пересказе ранее изданных работ, пренебрегая изучением биографических данных. Почему? — не любят? считают трудоемким делом? лишним? Действительно, нет надежды, что в архиве будет ждать папка с надписью «Имярек — психолог/педолог/психотехник», сведения буквально рассыпаны по разным фондам, порой их нахождение неожиданно.

В) *В областную библиотеку*. К сожалению, приходится говорить о неудовлетворительном состоянии наших библиотек, где так трудно порой бывает найти тексты — они не сохранились, а порой до сих пор что-то хранится в спецфондах. О технических возможностях отечественных библиотек вообще говорить не приходится... Но все самые интересные

историко-психологические исследования — малотиражные, они, как правило, есть в библиотеках тех городов, где изданы¹⁶.

Г) *В вузовскую библиотеку*, где хранятся издания, выпущенные к юбилейным датам вуза, где обычно упоминаются фамилии психологов, работавших здесь.

Д) *К родственникам* (если таковые известны). Приходится отметить из собственного опыта трудность поиска таковых. Даже если потомки найдены, они: могут иметь самое приблизительное представление о своем предке, не сохранили никаких материалов, кроме нескольких фото; могут с неохотой и непониманием говорить о своем родственнике; могут не хотеть общаться.

Е) *К книгам по педагогике, истории, науке региона*¹⁷. Наше невнимание, порой откровенное игнорирование исторических исследований, которые, казалось бы, не связаны напрямую с психологией. Например, в Самаре издали книгу о земском деятеле второй половины XIX в. — враче В.О. Португалове¹⁸, который был известен как просветитель и врач, но еще в его большой семье среди шести детей был хорошо известный в Самаре в 1920–1930-х гг. психиатр, психолог, педолог Ю.В. Португалов (1876–1936). О нем упоминает Л.С. Выготский в работе «Исторический смысл психологического кризиса».

Ж) *К произведениям живописи* (так художник П.И. Котов пишет цикл живописных работ заводе Красное Сормово, художник Ф.С. Богородский талантливо отображает характеры беспризорников в портретной галерее, хороши его виды строящегося Нижнего Новгорода).

З) *К художественной литературе как историческим источникам*, когда литературные произведения, написанные современниками изучаемого времени, передают особенности времени (например, роман Н. Кочина «Нижегородский откос» дает сведения о повседневной жизни студентов-гуманитариев начала 1920-х гг., роман А. Патреева «Инженеры» и очерк Р.К. Остина «Строя утопию», очерки А. Серафимовича, Б. Пильняка, А. Коптяевой об индустриализации нижегородского края).

Говоря об историческом контексте психологии, исследователи нуждаются в периодизации. На сегодняшний день В.А. Кольцова предлагает периодизацию развития интеллектуального потенциала российской провинции, основанной на отношении «власть — наука»¹⁹.

Есть проблема в обозначении мест пребывания ученых психологов, например,

— провинциальные города временного, но вынужденного пребывания (так, во время эвакуации из столичных вузов множество пси-

- хологов оказались в российской глубинке или месте ссылок столичных ученых, как, например, В.Н. Эземплярский (Челябинский государственный педагогический институт), А.П. Нечаев (Семипалатинский государственный педагогический институт);
- провинциальные города постоянного пребывания российских психологов, которые стали местом жительства и реализацией научного потенциала, культурной средой с имеющейся в них образовательной инфраструктурой, научной периодической печатью.

Следующую трудность обозначила Р.М. Фрумкина: «Ученый, которого современные историки и писатели представляют как культурного героя нашего времени, редко изучается как герой своего времени»²⁰. Сложно нарисовать корректную картину психологических воззрений отдельного ученого на фоне внешней истории с учетом его личной истории, даже бытовой истории. Множество исторических ситуаций, например, в 1930-е гг. XX в. (индустриализация страны, компания по ликвидации неграмотности, «павловская сессия» и пр.) сплетаются в сложнейший узор фона, который активно проецирует свое содержание на собственно психологический ряд, отражающийся в понятиях, теориях. Нельзя не учитывать культурный контекст, а это область то ли социологии культуры, то ли исторической культурологии, на которых расположилась история психологии как конгломерат безусловных проблем культуры на материале психологических контекстов.

Еще сложнее обстоит дело с изучением наследия психологов русского зарубежья, тех, которые до отъезда работали в провинции.

Знакомясь с биографическим и научным историко-психологическим материалом провинции (даже на примере Нижегородской области), возвращая незаслуженно забытые имена психологов, живших в губернских и областных городах, мы разрушаем образ российской провинции как второстепенной составляющей российской науки. Позиционируя себя как активную часть психологического сообщества, сложного по структуре, с нечеткими границами (из-за перемещений из столицы на периферию и обратно), объединенного внутренними профессиональными связями, психологи из губернских/областных городов распространяли и пропагандировали достижения науки психологии, формировали ее образ.

Неоформленность научной проблемы, условно названной нами «провинциальная психология», показывает «белое пятно» в истории и методологии отечественной психологии, сказывается на отсутствии мотивации к изучению истории психологии студентами, на снижении

интереса к развитию науки в родном вузе, т. к. перед их глазами нет достойных исторических образцов.

¹ *Сорокина М.Ю.* Российское научное зарубежье versus русская научная эмиграция: к определению объема и содержания понятия «российское научное зарубежье» / Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., 2010. С. 75–95.

² Альманах Научного архива Психологического института: Челпановские чтения 2009. Вып. 3. М., 2009.

³ *Богданчиков С.А.* История советской психологии: 1920–1930-е годы. Саратов, 2011.

⁴ *Стоюхина Н.Ю.* Судьба и научное творчество Серафима Михайловича Васильевского // Методология и история психологии. М., 2010. Т. 5. Вып. 2. С. 115–131; *Кандыбович Л.А., Стоюхина Н.Ю.* Александр Александрович Гайворовский: психолог, педагог, психотехник // Проблемы выхавання. М., 2009. № 6. С. 27–34.

⁵ Первый ректор Иркутского государственного университета: к 130-летию со дня рождения М.М. Рубинштейна (1880–1953) / Сост. В.К. Пешкова. Иркутск, 2010.

⁶ *Стоюхина Н.Ю.* Становление гуманитарного образования в Нижегородском университете: 1919–1921 гг. // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. М., 2009. № 3. С. 294–301.

⁷ *Кольцова В.А.* Интеллектуальный ресурс провинциальной психологии: историко-психологический экскурс // История отечественной и мировой психологической мысли: Постигая прошлое, помнить настоящее, предвидеть будущее: Мат-лы международной конф. по истории психологии «IV Московские встречи» / Отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник. М., 2006. С. 486–489.

⁸ *Докторов Б.З.* Реклама и опросы общественного мнения в США. История зарождения. Судьбы творцов. М., 2008. С. 18.

⁹ *Кольцова В.А.* Интеллектуальный ресурс провинциальной психологии: историко-психологический экскурс. С. 486.

¹⁰ *Пиксанов Н.К.* Областные культурные гнезда. М., 1928. С. 60.

¹¹ Там же. С. 20.

¹² Там же. С. 56.

¹³ Там же.

¹⁴ *Стоюхина Н.Ю.* Религиозно-философская психология в творчестве Н.М. Боголюбова [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. № 1. URL: http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n1/68064.shtml (дата обращения: 06.05.2014).

¹⁵ *Кольцова В.А., Медведев А.М.* Об изучении истории психологии в системе культуры // Психологический журнал. Т. 13. 1992. № 5. С. 3–11.

¹⁶ Общее дело. Жизнь и деятельность известных врачей Забайкалья Е.В. и А.Н. Бек / Авт.-сост. Е.А. Андруевич. Новосибирск, 1996; Первый ректор Иркутского государственного университета.

¹⁷ *Берельковский И.В.* Власть и научно-педагогическая интеллигенция: идеологический диктат в СССР конца 1920-х — начала 1950-х гг. (По материалам

Нижегородской губернии Горьковской области). М.; Н. Новгород, 2006. Образование — Наука — Идеология (опыт отечественной истории): монография / А.А. Касьян, А.В. Грехов, С.Л. Ивашевский и др.; под ред. А.А. Касьян. Н. Новгород, 2012.

¹⁸ *Кабытов П., Стегунин С., Кузьмин В.* Земский врач Вениамин Осипович Португалов (1835–1896 гг.). Самара, 2006.

¹⁹ *Кольцова В.А.* Интеллектуальный ресурс провинциальной психологии: историко-психологический экскурс. С. 486–489.

²⁰ *Фрумкина Р.М.* Культурно-историческая психология Выготского–Лурия // Человек. 1999. № 3. [Электронный ресурс — режим доступа: <http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/LURIA.HTM>].

«ПЕРМЬ КАК СТИЛЬ»: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Лысенко Олег Владиславович

Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
г. Пермь

***Аннотация:** Цель статьи — междисциплинарное изучение механизмов формирования стиля современного городского, производного от презентации идентичностей городских сообществ, исторической памяти и культурной политики региональных и городских властей.*

***Ключевые слова:** Стиль города, локальная идентичность, городские сообщества, историческая память, брендинг территорий, Пермский культурный проект.*

В основе данной статьи лежит опыт работы исследовательского коллектива, поставившего перед собой цель и простую, и сложную одновременно: изучить на примере Перми механизмы влияния культурной политики на формирование территориальной (локальной) идентичности, и, как следствие, на создание бренда города. Эта тема была выбрана по многим мотивам, не последним из которых стало наблюдение и прямое участие многих членов исследовательской группы в реализации так называемого «Пермского культурного проекта», или «Пермской культурной революции»¹. Сам по себе этот кейс показался нам достаточно любопытным, чтобы посвятить ему несколько лет работы. Актуальность исследования обусловлена несколькими важными обстоятельствами:

- с одной стороны, темы имиджа города, маркетинга территорий и брендинга городов в условиях глобализации становятся злободневными как для региональных и муниципальных властей, так и для местных сообществ;
- с другой стороны, как показал пермский опыт, любые попытки сформировать имидж города усилиями властей «сверху» сталкиваются с сопротивлением разных групп городского населения, либо

несогласных с предлагаемым образом, либо обиженных и игнорированием их интересов, либо вообще не видящих в таких попытках смысла; в результате усилия, направленные на развитие территории, провоцируют социальные и политические конфликты;

- достижения и промахи Пермского культурного проекта, ставшего очередной попыткой перенести на российскую почву западный опыт, могут послужить делу адаптации популярных ныне концепций брендинга территорий, креативной экономики и культуры в новом понимании к отечественным реалиям.

В составе исследовательской группы объединились исследователи, представляющие разные науки: историю, социологию, антропологию, культурологию, экономику, лингвистику. Всех их объединила тема современного города, позволившая в рамках одного исследования сопоставить такие понятия, как городские сообщества, историческая память, городское культурное и социальное пространство, локальная идентичность, городские диалекты и социолекты, экономическое поведение и т. д. Во многом это стало возможным благодаря разработке теоретического концепта «городской стиль», под которым мы понимаем форму презентации городского сообщества (см. далее), причем как для «внутреннего» потребления, так и для внешнего мира. При этом стиль города, городской стиль складывается из двух основных компонентов: самообраза (самоописания) городского сообщества и образов, конструируемых властью и отдельными экспертными группами.

Исходя из этого методологического допущения, целью исследования стало изучение механизмов формирования городского стиля, производного от презентации идентичностей городских сообществ, исторической памяти и культурной политики региональных и городских властей. Задачи этого исследования были сформулированы следующим образом:

1. Формулировка методологической основы исследования, сочетающей элементы конструктивизма, социологических теорий стиля, теории презентации, теории идентичности и теории социального пространства.
2. Изучение социокультурных и социально-исторических факторов формирования современных российских городских сообществ.
3. Выявление стихийно складывающихся самообразов современного горожанина и механизмов формирования городской идентичности.
4. Изучение влияния культурной политики властей города и региона на процессы формирования городской идентичности и городского стиля.

В рамках одной статьи трудно представить весь материал, накопленный и проанализированный в ходе исследования. Поэтому ограничимся

здесь изложением логической схемы исследования, подкрепленной наиболее яркими примерами и полученными фактами.

Гуманитарная традиция на сегодняшний день накопила достаточно большой опыт интерпретации и использования понятия «стиль». Как отмечает Е.Н. Устюгова, «стиль — одна из самых многозначных и противоречивых категорий гуманитарного знания»². Этот автор подробно анализирует опыт интерпретации стиля в риторике, лингвистике, психологии, философии, культурологии, искусствознании и эстетике. Но многообразие трактовок понятия «стиль» из недостатка легко может стать преимуществом: накопленный опыт его интерпретации в разных науках и отраслях знаний позволяет перекинуть мостик между разными науками. В качестве основной методологии, позволяющей это сделать, нами была выбрана социология культуры, в рамках которой стиль определяется как обозначение способа ведения жизни или способа организации жизни³. Само понятие стиля возникло в социологии достаточно рано, в трудах М. Вебера и Г. Зиммеля. Из определения Г. Зиммеля, для которого жизненный стиль есть «таинственное тождество формы внешних и внутренних проявлений»⁴, возникающее из человеческого стремления к обретению идентичности, можно сделать два вывода. Во-первых, очевидно, что понятие жизненного стиля может быть определено только в рамках такого подхода в гуманитарных науках, который понимает под культурой любые модели поведения людей, вне зависимости от той ценности, которую им приписывает сам исследователь. Если угодно, это социологический и антропологический подход. Во-вторых, понятие жизненного стиля предполагает *рассмотрение взаимосвязи между смыслом и способами его презентации, между пресловутыми содержанием и формой*, а точнее, между социальным и культурным. Стиль есть способ выражения, способ презентации. Но в этой презентации форма определяется содержанием, а содержание — формой. Культура предопределяет взгляд человека на окружающий мир, а окружающий мир (в первую очередь, общество) вырабатывает культуру. С нашей точки зрения, стиль есть не «отражение», но способ выстраивания презентаций индивида, группы или сообщества в адрес окружающего социального мира. И этот способ сам играет роль самостоятельного фактора социальной и культурной жизни. То есть понятие стиля имеет смысл только тогда, когда мы, вслед за М. Вебером и представителями интерпретативного (конструктивистского) подхода в социологии (У. Томаса, А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гофмана, П. Бурдьё), признаем, что социальный мир таков, каким его видят люди, а культура есть инструмент конструирования этого социального мира.

XX век дал немало примеров (к сожалению, страшных), когда тот или иной стиль становился инструментом «переработки» целых обществ. К стилям, созданным идеологией и сформировавшим новые человеческие сообщества, можно отнести и советский стиль (что убедительно показал Б. Гройс), и стиль Третьего рейха.

Применительно к городам понятие стиля до сих пор применялось скорее как поэтическая метафора либо как фигура возвышенной, но ненаучной речи, выражающая особенности либо городской архитектуры, либо городского поведения. Действительно, в урбанистике классического образца, например, Чикагской школы или Ф. Тенниса, город предстает не как единое символическое пространство, но как мешанина смыслов, знаков, культур. Да и более поздние авторы, рассуждающие о городе, предпочитали подчеркивать скорее городские противоречия и конфликты, нежели черты единства.

Между тем в массовом сознании образ (стиль) города — вещь достаточно обычная, хотя и воспринимаемая как естественное (не сконструированное) свойство. За примерами далеко ходить не надо. В российской культуре это, безусловно, Санкт-Петербург и Одесса. Можно сказать, что стили этих городов оформились стихийно, без участия отдельных авторов, по крайней мере, осознанного. Так, уже в позднее советское время сложился миф об «истинных» петербуржцах, носителях высокой культуры и благородства, противопоставленных как «наглым москвичам», так и диким «провинциалам». Этот миф жив до сих пор⁵, подпитываемый, с одной стороны, творчеством питерских музыкантов, литераторов, кинематографистов, а с другой стороны — некоторой частью самого петербургского городского сообщества. Одесский стиль тоже не нуждается в особом пояснении. Одесский говор, колорит, юмор, воспетые И. Бабелем и М. Жванецким, стали настолько узнаваемыми, что без труда воспроизводятся как героями современных сериалов («Ликвидация»), так и самими жителями.

Оба эти примера наглядно показывают саму возможность существования стиля города как социально-культурного феномена. Более того, они демонстрируют сам механизм складывания такого стиля, когда некие местные особенности (присутствующие на самом деле в любом локальном сообществе) сперва становятся предметом эстетизации, затем клишируются в массовом сознании, а затем становятся темой игры какого-то заметного числа жителей. Опираясь на концепцию стиля Л.Г. Ионина, мы можем констатировать, что городской стиль складывается из следующих компонентов:

1. Невербальный образ обобщенного горожанина, носителя типизированных черт местного жителя, существующий скорее на уровне спонтанного узнавания, нежели на уровне рефлексивного сознания (таковы обобщенные образы «типичного» москвича, петербуржца, сибиряка; во многом они формируются по образу и подобию национальных стереотипных типажей);

2. Вербальное оформление идентичности (народная топонимика, самоназвания, городской диалект и сленг), выполняющее отчасти роль городского габитуса (в духе теории П. Бурдьё) и отражающее представления сообщества о самом себе;

3. Доктрина, то есть городская мифология как на уровне городского фольклора, так и на уровне литературных изложений, лежащая в основе презентации.

Но возникает справедливый вопрос: а каждый ли город может воспроизвести нечто подобное, отыскать свой собственный стиль? Или подобные стилизации результат стечения обстоятельств или, что еще хуже — отражение редких объективных особенностей локальной культуры?

Мы считаем, что каждое локальное сообщество способно в современных условиях выработать и позиционировать собственный стиль. В пользу этого утверждения можно привести ряд аргументов. Прежде всего локальная (региональная, географическая, городская) идентичность есть факт, регистрируемый эмпирически. Результаты социологических опросов показали, что около 80% жителей Перми считают себя пермяками, причем для 46% опрошенных эта территориальная идентичность важнее, чем региональная, географическая, национальная или даже гражданская⁶. Далее, как показывают работы И. Гофмана⁷, любая идентичность требует своего представления, своей презентации. Вслед за Б. Андерсоном и по аналогии с нациями мы можем сказать, что городские сообщества являются разновидностью «воображаемого сообщества» и, следовательно, нуждаются в конструировании идентичности⁸. Наконец, аргумент в пользу самой возможности такого конструирования. Будем рассуждать опять-таки по аналогии: если еще во времена М. Вебера харизма лидера выглядела как нечто уникальное и искусственно не воспроизводимое, то уже к 30-м гг., как показывает советский опыт, любого, самого косноязычного и вялого руководителя можно было сделать харизматиком средствами СМИ. Последующая история развития маркетинга, рекламы и PR-технологий вообще превратило подобное конструирование в коммерческую технологию.

Другое дело, что если орудием конструирования национальной идентичности или харизматического лидера выступало чаще всего государство, то городские сообщества, в особенности в России, такового инструмента зачастую не имеют, ввиду традиционной слабости муниципалитетов. Да и авторы-мифотворцы необходимой мощи и таланта находятся не у каждого города. Как следствие, в российских городских сообществах преобладают достаточно негативные самообразы, особенно среди средних слоев городского населения, освоивших современные интернет-средства коммуникации⁹. Анализ блогов, народной топонимики, ментальных карт города показывает, что в культурно-символическом городском пространстве сегодня преобладают скорее негативные образы, заставляющие воспринимать место жительства через призму хаоса, разложения, унылости, пессимизма. «Монументальная пропаганда», как доставшаяся в наследство от Советского Союза, так и создаваемая сегодня городскими властями в виде памятников, арт-объектов, топонимов и прочих мест памяти, заставляет воспринимать город либо в ключе разрушающегося советского прошлого, окрашенного в милитаристские и имперские тона, либо как сосредоточие высокой культуры, скучной и неактуальной. Так, судя по проведенным опросам, одним из самых популярных символов города у пермяков являются «Танк» — памятник Уральскому Добровольческому корпусу, то есть Великой Отечественной войне, и Пермский балет, само появление которого связано опять-таки с войной и эвакуацией. Постепенную деградацию смыслов, заключенных в этих символах, выявляет анализ «народной топонимики». В ней четко прослеживается отторжение жителей от официальных символов города. В неофициальных названиях преобладают уничижительные, сниженные, смеховые названия. Так, в Перми бытуют «Зоокамск» вместо Закамска и «Штат О'Гайва» вместо «Гайва» (речь идет о двух районах города), «Огород» вместо Парка им. Горького, не говоря уже о «Шанхаях» и «Коммунках»¹⁰, встречающихся едва ли не во всех городах. А изобилие улиц, названных в честь уже забытых, а то и развенчанных героев советского прошлого, придает городской среде иррациональный окрас.

За всем этим стоит драматичная история российских городов. Не будем забывать, что города в России сформировались в своих современных границах примерно в 1940—60-е гг. и до сих пор несут на себе отпечаток как деревенского наследия (миграционные потоки из села продолжают до сих пор), так и индустриальной модернизации (город как конгломерат рабочих поселков). Поэтому для современного российского города характерно значительное культурное расслоение. Можно выделить как мини-

мум три условных социальных слоя, различающихся по своим моделям поведения. Первые два появились еще в позднем советском городском сообществе: это более и менее освоившие городскую культуру «интеллигентные люди», если пользоваться советским языком, и «новые городские варвары»¹¹. Для «интеллигентных людей» (вероятно, находившихся в численном меньшинстве) город представлял собой единое символическое и социальное пространство, в основном освоенное и присвоенное. Их социальные контакты строились уже не по принципу «двора» и микрорайона, а по принципам общности профессии, увлечений, общности взглядов. Этот город принадлежал им. Возникавшие социальные связи, социальные сети, сходство ожиданий, предпочтений, способов адаптации/социализации и позволяют говорить о них как о настоящих горожанах.

Третью значительную часть городского населения можно назвать «новыми горожанами». Опираясь на работы З. Баумана, Н. Элиаса, П. Вирно, Э. Гидденса, М. Яцино и некоторых других авторов, говорящих и пишущих о том же, можно дать беглый (но достаточный здесь и сейчас) образ «нового горожанина». Прежде всего это тот слой городских жителей, который сочетает в себе высшее образование и более или менее глубокое усвоение культуры и прагматические жизненные устремления (в первую очередь — консюмеризм), гибкие стратегии поведения на рынке занятости (склонность к проектной деятельности, готовность менять профиль деятельности, стремление к продолжению обучения) и приверженность к независимости, (к свободному графику и фрилансерству), стремление к творчеству и плюрализм в культурном потреблении. Но помимо набора этих общих качеств, следовало бы указать еще на два важных обстоятельства. Первое — «новые горожане» явно выпадают из традиционной социально-классовой структуры, как она виделась социологам еще в 60—70-х гг. прошлого века, поскольку перестают ценить раз и навсегда достигнутый социальный статус. В разных работах не раз было высказано мнение о том, что сегодня в западном обществе не социальные и материальные позиции определяют стиль практикуемой культуры, а выбранный стиль приводит человека в рамки определенного сообщества¹². Второе — «новые горожане» все чаще отказываются от эссенциалистской трактовки своей идентичности, в первую очередь — этнической, территориальной и гражданской. Увеличение возможностей менять свое место жительства и работы, информационная доступность и, смеем предположить, убежденность в том, что все есть «общество спектакля», все есть продукт PR-технологий, рекламы и манипуляции (а немалая часть этого нового слоя так или иначе сама задействована в рекламе, формировании корпоративной культуры, в продвижении идей,

товаров или самой себя на рынках), только без надрыва и особых негативных коннотаций, свойственных «интеллигентным людям».

Теперь самое время вернуться к главной теме пермских баталий последних лет — к Пермскому культурному проекту, или к Пермской культурной революции. В его основе лежал тезис, неоднократно высказанный двумя главными его идеологами М. Гельманом и Б. Мильграмом, а также инициатором проекта, губернатором региона О. Чиркуновым о необходимости перехода к постиндустриальной экономике. Точкой концентрации ресурсов при этом была объявлена культура, понимаемая как «способ поиска человеческой идентичности и формирование особого образа жизни и стиля жизни на территории» [9; С. 13]. То есть именно культура как формируемый стиль территории должна была стать главным ресурсом развития региона, запустить необходимые процессы, позволяющие региону или городу перейти к новой, постиндустриальной эпохе. Были объявлены и четыре главных индикатора успеха Пермского культурного проекта:

- изменение качества жизни в Пермском крае;
- снижение оттока населения и повышение индекса развития человеческого капитала;
- изменение структуры экономики в крае — создание новых рабочих мест в секторе культуры и творчества, развитие малого бизнеса, развитие сферы услуг и туризма;
- изменение в других экономических и социальных системах — создание точек постиндустриального развития¹³.

Эта новая культурная политика разворачивалась по нескольким важным направлениям. Во-первых, была предпринята попытка изменения институциональной среды всей отрасли культуры, что подразумевало (1) изменение принципов работы традиционных культурных институций (музеев, театров, библиотек, дворцов культуры) с отраслевого на проектный; (2) создание новых культурных институций (автономных учреждений, новых музеев, центров дизайна и т. д.), (3) создание благоприятной среды для формирования негосударственных культурных институций (творческих индустрий). Во-вторых, произошла «прививка» столичных и европейских образцов культуры, начиная с отдельных выставок и спектаклей и заканчивая мастер-классами и открытием специальностей по культурному менеджменту. В-третьих, были приложены значительные усилия для изменения самой городской среды, вплоть до принятия мастер-плана города, создания многочисленных арт-объектов и элементов городской инфраструктуры и изменения формата городских праздников.

Однако предпринятая ими попытка преобразования среды оказалась дискредитированной в глазах значительной части населения. После уxo-

да О. Чиркунова с поста губернатора весной 2012 г. Пермский культурный проект оказался, по сути, свернутым, а его достижения на сегодняшний день постепенно уходят из жизни города. Стиль, заданный «сверху», оказался невостребованным ни элитами города, ни его жителями.

Но есть основания полагать, что некоторые последствия этой культурной революции все же останутся. Возможно, главным последствием пермского культурного проекта станет феномен возрождения культурного проекта уже силами самой общественности, без неизбежного ранее диктата смыслов сверху, а городской стиль из идеологического концепта превратится в реальный образ, существующий в двух взаимно пересекающихся ипостасях: как стихийно сложившиеся представления и презентации городских сообществ и как образ, формируемый средствами политики, бизнеса и рекламы.

¹ См.: Пермский культурный проект. Концепция культурной политики Пермского края. URL: <http://www.kulturaperm.ru/content/file/Konsept%20polnyi.pdf> (дата обращения: 01.10.2013).

² Устюгова Е.Н. Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля. СПб., 2006. С. 3.

³ Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учеб. пособие для студентов вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 2000. С. 189.

⁴ Зиммель Г. Избранное: В 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 453.

⁵ Лысенко О.В. Образ пермяка в представлении пермяка // Пермь как стиль: презентации пермской городской идентичности / под ред. О.В. Лысенко, Е.Г. Трегубовой. Пермь, 2013. С. 81–100.

⁶ Лысенко О.В., Шишигин А.В. Пермская городская идентичность в зеркале социологических опросов // Там же. С. 44–46.

⁷ Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. С. 54–58.

⁸ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 5.

⁹ Дюкин С.Г. Мрачный и неудобный город (оценка пермских реалий в блогосфере) // Пермь как стиль... С. 162–175.

¹⁰ Подюков И.А. Особенности неофициальной топонимики Перми // Там же. С. 224–232.

¹¹ Подробнее: Игнатьева О.В., Лысенко О.В. Анализ одного проекта: «пермская культурная революция» глазами социолога // Лабиринт. 2013. № 5. URL: http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2013/12/ignatieva_lysenko.pdf (дата обращения: 12.02.2014).

¹² Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 14.

¹³ Пермский культурный проект. Концепция культурной политики Пермского края. С. 45. URL: <http://www.kulturaperm.ru/content/file/Konsept%20polnyi.pdf> (дата обращения: 01.10.2013).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЗЕРНИКОВА Ирина Павловна — кандидат исторических наук, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

АФИАНИ Виталий Юрьевич (директор архива Российской академии наук) — кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета.

БАКШУТОВА Екатерина Валерьевна — кандидат психологических наук, доцент Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

БРАТОЛЮБОВА Мария Викторовна — кандидат исторических наук, доцент Южного федерального университета.

ВОЛОДИН Андрей Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

ГАЙДУК Владислава Леонидовна — аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ДОЛГОВ Александр Юрьевич — аспирант, младший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук, редактор информационного портала pitirim.org.

ДОЛГОВА Евгения Андреевна — кандидат исторических наук, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

ЗАХАРОВА Евгения Андреевна — соискатель Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России.

КАЛАШНИКОВ Михаил Васильевич — старший преподаватель Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

КАРАЧКОВА Елена Юрьевна — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.

КИРИДОН Алла Николаевна — доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом исследований теоретических и прикладных проблем национальной памяти Украинского института национальной памяти.

КЛЯГИН Сергей Вячеславович — доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

КОЛЕСНИК Александра Сергеевна — аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

КРОМ Михаил Маркович — доктор исторических наук, профессор исторической компаративистики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

ЛЫСЕНКО Олег Владиславович — кандидат социологических наук, доцент Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

ЛЯРСКИЙ Александр Борисович — кандидат исторических наук, доцент Северо-Западного института печати Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.

МИРОНОВ Борис Николаевич — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

МУХИН Олег Николаевич — кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета.

РАГУНШТЕЙН Ольга Викторовна — кандидат исторических наук, доцент Курского государственного университета.

РОСТИСЛАВЛЕВА Наталия Васильевна — доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

САВЕЛЬЕВА Ирина Максимовна — доктор исторических наук, профессор, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

СЕРЕДА Надежда Владимировна — доктор исторических наук, профессор Тверского государственного университета.

СИДОРЧУК Илья Викторович — кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

СТОЮХИНА Наталья Юрьевна — кандидат психологических наук, доцент Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

СУКИНА Людмила Борисовна — доктор исторических наук, кандидат культурологии, доцент Института программных систем университета города Переславля-Залесского им. А.К. Айламазяна.

ТИХОНОВ Виталий Витальевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.

ФОКИН Александр Александрович — кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного университета.

ШЕСЕНЬЯ Александр — старший научный сотрудник гуманитарного факультета Университета Сьенсиас и Артес де Чиापас (UNICACH), Мексика.

ШКУРАТОВ Владимир Александрович — доктор философских наук, профессор Южного федерального университета в г. Ростов-на-Дону.

**«Стены и мосты» – III:
история возникновения и развития идеи междисциплинарности**

(научное издание)

Корректор: Моргун Л.В.,
группа допечатной подготовки изданий:
Злаина М.В.,
Исакова Т.В.,
Коновалова Т.Ю.,
Крылов К.А.

Подписано в печать 23.01.2015. Формат 60 × 90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,25. Тираж 300 экз. Заказ №

Издательство «Академический проект»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 111399, г. Москва, ул. Марتنеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «Профи-сертификат».

«Гаудеамус»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 107352, г. Москва, ул. Просторная, 9, офис 34.

Отпечатано в ФГУП Издательство «Известия» УД ПРФ,
адрес: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6.
Контактный телефон: (495) 650-38-80

**По вопросам приобретения книги
просим обращаться в издательство:**

телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
факс: +7 495 305 6088,
e-mail: info@aproject.ru, zakaz@aproject.ru,
интернет-магазин: www.academ-pro.ru.